

ДЭВИД СОЛОЙ

Каков есть мужчина



”

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННЫЙ БРИТАНСКИЙ АВТОР,
ЗА ЧЬИМИ КНИГАМИ СТОИТ СЛЕДИТЬ.

– *London Review of Books*



Annotation

Девять историй, девять мужчин – один цельный портрет современной жизни.

Европейский ландшафт полон трагикомических взлетов и падений. Бывший военный, избалованный папенькин сынок, университетский профессор, застенчивый студент – каждый из них ищет себя в глобализированном мире, продираясь сквозь липкую вязь бытия, то разочаровываясь в себе, то адаптируясь к окружающему. Солой мастерски проникает в мироустройство человека, раскрывая многогранность нашего бытия.

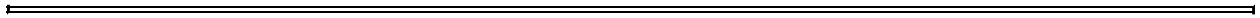
- [Дэвид Солой](#)
 -
 -
 - [Часть 1](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Часть 2](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Часть 3](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Часть 4](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)

- [Часть 5](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
- [Часть 6](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
- [Часть 7](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
- [Часть 8](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
- [Часть 9](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)

- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)

- [84](#)
- [85](#)



Дэвид Солой

Каков есть мужчина

David Szalay
ALL THAT MAN IS

Copyright © 2016 by David Szalay
This edition published by arrangement with United Agents LLP and The
Van Lear Agency LLC.

© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»,
2018

* * *

*Всему свое время,
и все на свете имеет причину.*

Часть 1

Семнадцать, я влюбился...

Глава 1

Берлин. Центральный вокзал.

Сюда приходят поезда из Польши, и здесь оказались два молодых англичанина, прибывших из Кракова. Вид у них жуткий, у этих подростков, они устали, осунулись и пропылились после десяти дней путешествия по железной дороге. Один из них, Саймон, вперил пустой взгляд в никуда. У него приятная внешность: высокие скулы, импозантное, хоть и невыразительное, нервное лицо. Вокзальный буфет в семь утра полон шума и дыма, и Саймон слышит с неудовольствием разговор двух мужчин за соседним столиком – один, кажется, американец, а другой, постарше, немец. Именно он говорит с улыбкой:

– Вы потеряли только четыреста тысяч солдат. Мы потеряли шесть миллионов.

Ответ американца не разобрать из-за шума.

– Русские потеряли двенадцать миллионов^[1] – мы убили шесть миллионов.

Саймон закуривает польскую сигарету, видит в меню слово Spiegelei^[2] и кладет на стол в ожидании официанта деньги – евро, приятные на вид, современные деньги. Ему нравится, какой дизайнеры подобрали шрифт, простой, без всяких завитушек.

– Только в Ленинграде умер миллион человек. Миллион!

Люди пьют пиво.

На улице начинает накрапывать дождик, увлажняя серые окрестности вокзала.

С официантом вышло препирательство насчет того, можно ли получить один Kaffeeekänchen^[3] и две чашки. Ответ был отрицательным. Им придется пить из одной чашки – Саймону и его другу, который стоит сейчас у таксофона (их мобильники здесь не действуют), полускрытый дымчатым пластиком, и пытается связаться с Отто.

Саймон подумал, что официант в своем засаленном алом фартуке вел себя с ними по-хамски. А вот другим угождал – Саймон мрачно следил, как он движется между столиками, сквозь дым и шум, – мужчинам в костюмах и с газетами, а еще тому типу, который быстро поднял взгляд, натянул улыбку и посмотрел на часы, пока официант разгружал поднос.

Голос из динамиков начинает вещать о прибывающих/отправляющихся поездах. Резкий, сухой голос откуда-то извне, оттуда, где

суровый ветер атакует пространство вокзала. Этот голос словно заслонка на звуковой трубе – лает, умолкает и снова лает.

Саймон уже знаком с плавным тональным мотивом, предваряющим каждое вторжение голоса.

этого голоса и его эха

И этот плавный тональный мотив, звучащий снова и снова, уже, кажется, стал продолжением его усталости, чем-то, находящимся у него, внутри, субъективным.

Официант прямо-таки отвешивает поклон человеку в костюме.

Жизнь вокзала бурлит и клокочет, словно грязевой поток. Люди. Люди движутся через вокзал, как грязевой поток.

И снова этот вопрос:

Что я здесь делаю?

Он видит, как его друг Фердинанд вешает трубку.

Они уже не первый день пытаются связаться с Отто – молодым немцем, с которым Фердинанд познакомился в Лондоне несколько недель назад, сказавшим, возможно, находясь под градусом, возможно, даже не ожидая такого стечения обстоятельств, что они могут запросто зависнуть у него, случись им быть в Берлине.

Фердинанд возвращается к столику с выражением озабоченности на лице.

– Опять без ответа, – говорит он.

Саймон курит и ничего не отвечает. Он тайно надеется, что Отто так никогда и не объявится. Его никогда не грела мысль пожить у Отто. Он не встречался с ним в Лондоне, а все, что он слышал о нем, не внушало симпатии.

Он говорит:

– Ну и что мы будем делать?

– Я не знаю, – отвечает его друг. – Просто поедem к нему на квартиру?

У него есть адрес Отто – Отто *ожидает* их где-то в апреле, примерно так они условились, отправляя сообщения из Лондона по фэйсбуку.

Они едут две остановки на Эс-бане^[4], и потом еще долго ищут эту квартиру, и когда, наконец, неожиданно ее находят, к полному своему удивлению, – на зачуханной улочке на задворках квартала, – поблизости нет никого, кроме полиция в зеленой форме. Он ждет на лестничном пролете, одним пролетом ниже этой самой квартиры, в тусклом свете из

высокого окошка.

Непонятно, что он здесь делает...

Может, Отто убили?

Они в нерешительности.

– Tag^[5], – говорит мужчина, и по его интонации они понимают, что никакого убийства тут не было.

Они объясняют, что ищут Отто, и полицейский, очевидно знающий, кто такой Отто, говорит, что его здесь нет. Здесь никого нет.

Они ждут.

Они ждут больше часа, Фердинанд несколько раз наведывается к таксофону на улице, пытаясь дозвониться людям, могущим знать, куда подевался Отто, а Саймон тем временем сидит на кафе в огромном пространстве холла и пытается одолеть «Послов»^[6] в потрепанном «пингвиновском» издании – книжка обычно обитает у него в рюкзаке, в одном из карманов на молнии. Его уставшие глаза читают строчки:

Живите в полную силу; жить иначе – ошибка. Не столь уж важно, чем именно вы занимаетесь, пока ваша жизнь в ваших руках. Если же нет, что тогда у вас есть? Я слишком стар – по любой мерке для таких мыслей. Что потеряно, то потеряно; в этом не сомневайтесь. Однако у нас есть иллюзия свободы; так что не забывайте, как я сейчас, об этой иллюзии. В нужное время я был либо слишком глуп, либо слишком рассудителен для этого, и теперь эта ошибка вызывает у меня такую реакцию. Занимайтесь тем, что вам нравится, до тех пор, пока не достигнете цели. Ибо это была ошибка. Живите, живите!

Он вынимает ручку из того же кармана, в котором лежал роман, и отчеркивает сбоку эти слова. А за чертой, на полях, пишет: **ГЛАВНАЯ ТЕМА.**

Фердинанд возвращается с улицы, увлажненный игривым дождиком.

– Что же нам делать? – спрашивает он.

Снова Эс-бан.

Дождь кончился. Они многое видят из окон вагона. Мемориальный кусок Стены, густо разрисованный психоделическим граффити. Они не помнят того мира. Они слишком молоды. Там солнце, на пустой земле, светит через пространства, где раньше стояла Стена. Солнечный свет. Через окна вагона Эс-бана, сквозь разводы пленки грязи, он касается прикрытых глаз Саймона.

Что я здесь делаю?

Что я здесь делаю?

Поезд стучит колесами, переходя через стрелку.

Что я

Поезд замедляет ход

здесь делаю?

и подходит к станции под открытым небом – Варшауэрштрассе. На платформе ветрено, а кругом – пустырь.

Пустошь^[7].

Апрель, беспощадный месяц...

Они влюблены в Элиота, в его мелодический пессимизм. Они благоговеют перед Джойсом. Он тот, кем они хотят стать, – колоссом, подобным ему. Именно писатели и их книги сделали парней друзьями. И еще трагедии Шекспира. И L'Étranger^[8]. И проблемы Владимира и Эстрагона^[9], которые им нравится воображать своими собственными проблемами. В ожидании Отто.

Варшауэрштрассе. Поезда идут мимо бурно разросшейся сорной травы. Весенние ливни лупят наотмашь по облупленным рекламным щитам, эстакады наполняют окрестности звуком невидимого движения.

В Кройцберге, совсем выбившись из сил, они садятся пообедать.

Кройцберг их разочаровал. Предполагалось, что это хипстерский район, Alternativ^[10] квартал. Фердинанд особенно разочарован. Саймон спокойно ест – рот у него прекрасной формы. Он ничего не ждал от Кройцберга. Не испытывал к нему никакого интереса и считает своего друга наивным (хотя ничего такого не говорит) за одну мысль о том, что тут интересно.

За едой разговор заходит о том, насколько здесь все дороже, чем в Польше (они побывали в Варшаве, Кракове, Аушвице), хотя они считают, что повышение цен оправданно, ведь в Берлине все – лучшего качества. Еда, к примеру. Они едят с аппетитом.

Потом вдруг вспоминают школьных товарищей. Они в последнем классе, этим летом сдают экзамены на аттестат о среднем образовании и надеются осенью начать учебу в Оксфорде. (Именно поэтому Саймон безрадостно прочесывает труды Генри Джеймса в поисках материала, относящегося к «Международной теме».)

И вот, когда они обсуждают разных людей – всяких мудаков по большей части, – Фердинанд неожиданно упоминает Карен Филдинг.

Он и не подозревает, запросто бросая это имя среди прочих, что Карен

Филдинг – предмет мечтаний его друга, и в этих мечтах они говорят о чем-то, их взгляды скрещиваются, а руки внезапно соприкасаются, и после этих грез он словно еще чувствует прикосновение ее руки, переживая моменты поглощающего восторга. Эти мечты он заносит в свой дневник, очень добросовестно, исписывая страницу за страницей об их возможном значении и о самой природе такого процесса, как мечтание.

В реальном же мире он и Карен Филдинг едва ли обменялись парой слов, и чувства его ей неведомы – если только она не заметила, как его взгляд неотступно следует за ней, – когда она идет с подносом по столовой или когда выполняет обратное сальто, играя в лакросс в своем запачканном костюме. На самом деле единственное, что Саймон знает о ней, – это что ее семья живет в Дидкоте – он слышал, как она говорила об этом кому-то, – и с того самого момента слово «Дидкот» обрело в его сознании значение особенного, таинственного обещания. Как и ее имя, это слово кажется ему слишком значительным, чтобы его можно было записать, но однажды вечером в молодежном общежитии в Варшаве, пока Фердинанд принимал душ, он все же написал его, и от этого его сердце забилося чаще: *Кажется бессмысленным путешествовать по Европе, когда единственное место, где я хочу быть, – это тихий, провинциальный английский.*

Его ручка зависла над страницей.

А затем он написал это слово.

Дидкот.

Однако ее имя, обладавшее еще большей силой, он так и не осмеливался доверить бумаге.

А сейчас, когда Фердинанд произносит его, Саймон просто кивает и добавляет сахару в свой кофе.

Он жаждет говорить о ней.

Больше всего на свете он хотел бы посвятить весь вечер разговорам о ней или тому, чтобы слышать, как ее имя произносится вновь и вновь, эти четыре слога, заключающие, казалось бы, все, ради чего стоит жить. Но вместо этого он уже не в первый раз заводит разговор о незавидной участи туриста.

Фердинанд тем временем помешивает кофе, глядя в стол, и слушает, как его друг с нездоровой горячностью муссирует эту тему.

Что пытается делать турист? Повидать всяких вещей? Повидать жизнь? Но жизнь повсюду – тебе не нужно скитаться по Европе, чтобы увидеть ее...

единственное место, где я хочу быть

Перестав притворяться, что слушает его, Фердинанд начинает

подписывать открытку. Открытка с видом краковского кафедрального собора, черного и зубчатого. Она предназначена одной девчонке в Англии, с которой он вроде как флиртует, но которая ему даже не слишком нравится, однако все равно он считает, что игра стоит свеч. Он улыбается, поглаживая массивный подбородок, поросший щетиной. *Мы оба отпускаем бороды* – это звучит так по-мужски. Закончив, он вслух читает написанное, надеясь на одобрение друга. А затем встает и идет в сортир.

Пока его нет какое-то время, Саймон сидит в залитом солнцем ресторане и смотрит, как от его сигареты вьется струйка дыма.

Возможно, это усталость вызывает в нем желание завопить:

Что я здесь делаю?

Его охватывает чувство одиночества, неукротимое, как ураган. Его друг после десяти дней пути большую часть времени кажется ему источником раздражения. Он пытался изобразить улыбку, когда тот читал ему открытку и показывал рисуночек бородача, сделанный зелеными чернилами. А как он пшикался своим «Джупом»! А затем убирал его в ячейку камеры хранения на вокзале. И как он напоказ задирает футболку для этого пшиканья! Чтобы весь мир лицезрел растительность на его груди... В такой момент... И такой вот персонаж оказывается его *другом*, попутчиком. Неукротимое, как ураган, чувство одиночества, охватывает его.

Пока он смотрит, как дым поднимается от его сигареты.

В залитом солнцем ресторане.

Вечером они снова навещают квартиру Отто и видят там его сестру с двумя друзьями в кожаном прикиде: у одного, пониже, все лицо в пирсинге – это Лутц, а другой, намного выше и с моржовыми усами, – это Вилли. Сестра Отто знать не знает, кто такие Саймон и Фердинанд, но после их объяснений говорит, что они могут чувствовать себя здесь как дома, дожидаясь Отто, – когда-нибудь он должен объявиться. А затем говорит, что она как раз уходит с друзьями.

Оставшись одни, Саймон и Фердинанд чувствуют себя как дома. Квартира на удивление большая, и они бродят по ней, постепенно входя во вкус, наливая себе явно недешевый виски и осматривая содержимое шкафов. В одном Саймон находит стопку необычных карт. Должно быть, это Таро, думает он. Перевернув карту, видит картинку с рукой, держащей какой-то посох. As der Stäbe^[11], написано на ней. Туз жезлов? Похоже, фаллический символ. Не особо тонко. Без разницы. Чушь. Он закрывает шкаф.

Около двух ночи вваливается Отто – они спят в спальных мешках на полу гостиной.

Он включает свет и вопит.

Затем он замечает Фердинанда, который поднимает голову. Отто, моргая, смотрит на него и кричит:

– Бля, чувак, ты это *сделал*!

– Отто...

– Бля-а!

– Надеюсь, ты не против... – начинает Фердинанд.

– О чем ты, мать твою, вообще? – кричит Отто.

– Я надеюсь, ты не против, что мы здесь...

– Ты думаешь, я против? – вопит Отто.

– Я не знаю...

– Я тебя ждал.

Кто-то еще стоит позади Отто, выглядывая из-за плеча.

– Слушай, мы пытались дозвониться тебе...

– Да?

– Тебя тут не было.

– Меня тут не было! – все еще кричит Отто.

– И по мобильнику ты не отвечал...

– Я его потерял!

– О...

– Ага, потерял, – говорит Отто неожиданно тихим, грустным голосом. – Потерял.

Присев на диван, он начинает сворачивать самокрутку, к разочарованию Саймона, который надеялся, что он просто выключит свет и уйдет.

На Отто смешная шляпа, а рукава его куртки сильно не достают до запястий. Его кадык ходит вверх-вниз, когда он клеит косяк. Выясняется, что он и его друг всю неделю работали официантами на каком-то мероприятии в пригороде Берлина. Пока он готовит косяк, Фердинанд не устает благодарить его за то, что позволил им остановиться у него.

– Слушай, спасибо тебе *еще раз*, – говорит Фердинанд, усаживаясь в своем спальном мешке.

– Да ну, бля, забудь, – отмахивается Отто, по-хозяйски восседая на диване, не сняв шляпы.

– А что там, э-э... насчет полиция? – спрашивает Фердинанд.

Отто как будто не слышит вопроса.

– Что?

– Полицейский. Ну, понимаешь. – Фердинанд показывает на почти готовый косяк в руках Отто.

Тот не реагирует.

– Да хуй с ним! – говорит он. – Ему все равно.

– А что он тут делал вообще?

– Мой отец, – говорит Отто. – Херня это все.

– Твой отец?

– Ага, отстой. – Доделывая косяк, проглаживая его мизинцем по краю, смоченному слюной, Отто говорит: – Он в правительстве, ну, знаешь...

– В правительстве? – спрашивает Саймон с подозрением. Это его первые слова, обращенные к Отто.

Отто, игнорируя его, закуривает косяк.

Саймону он сразу не понравился. И ему хочется, чтобы Фердинанд перестал благодарить Отто. Сам же он почти не говорит, и когда после первого косяка Отто предлагает ему сделать новый, берет у него все необходимое молча. Отто тем временем говорит ему не жалеть «дерьма». Они с Фердинандом возбужденно трещат об общих знакомых по Лондону. Потом Отто говорит Саймону сделать очередной косяк, и опять советует класть побольше «дерьма». Они уже торчат в полный рост. Кто-то включил телик и нашел порнушку – каких-то голых телок на пшеничном поле или типа того. Саймон не смотрит. Другие смотрят и хихикают. Саймон замечает, что друг Отто куда-то исчез. Но он не видел, чтобы тот уходил. И у него возникает неприятное чувство, что он его просто выдумал, что никого здесь больше не было. А остальные тем временем смеются, глядя на телок на пшеничном поле. Отто жадно уставился в экран, глаза его горят, язык наполовину высунулся изо рта.

Саймон ощущает слабость. Ничего не говоря, он встает и пытается дойти до ванной. А там он забывает, зачем шел, и долго стоит, разглядывая бутылочки с шампунями и заводную пластиковую лягушку на кафельном краю ванной. И так он стоит и глазееет довольно долго. Глазееет на заводную лягушку, на ее невинную зеленую рожицу. Звук вентилятора все больше напоминает ему всхлипы.

Когда он снова усаживается на полу в гостиной, примерно двадцать минут спустя, Отто его спрашивает:

– Сколько этой херни осталось?

– Нисколько, – говорит Саймон.

Гостиная – вся в бежево-кремовых тонах и восточных побрякушках –

кажется незнакомой, словно он видит ее впервые.

– Ты *прикончил* всю дурь?

Фердинанд против воли начинает хихикать и все время повторяет:

– Ой, прости, прости...

– Вы прикончили всю дурь? – повторяет Отто, не в силах принять этот факт.

Фердинанд хихикает и просит прощения.

– Да, – говорит Саймон. Он также прожег светлый гляцевый коврик, но решает не говорить об этом сейчас.

– От блядь, – говорит Отто. А затем, словно надеясь, что это шутка: – Че, правда все?

– Правда.

– Мне так жаль, – говорит Фердинанд с неожиданно серьезной миной. Отто вздыхает.

– Ладно, – говорит он, хотя еще не свыкся с потерей. – Мать вашу, – произносит он через несколько секунд, – вы прикончили всю дурь...

Саймон медленно залезает в свой спальный мешок и отворачивается от них. Они все еще говорят, когда он засыпает.

На следующий день они с Фердинандом отправляются в Потсдам. И одно из мест, которые Саймон как будто хочет увидеть, пока они в Берлине, – дворец Сан-Суси.

Вокзал Потсдама они покидают через изысканно оформленные зеленые ворота. Затем проходят по аллее из низкорослых деревьев и видят дворец на вершине холма с террасами. У подножия холма высоко бьет фонтан, а по парку расставлены здесь и там белокаменные статуи мужчин, ублажающих женщин, сражающихся друг с другом или благородно хмурых на что-то вдаль, и каждая статуя охвачена неким возвышенным безумием, застыв среди живых изгородей или вблизи гладкой поверхности декоративных прудов.

Саймон пробирается по этим красотам долгими прямыми переходами, обсаженными деревьями, с фонтанами на перекрестках и фасадами по сторонам с чувством приятного возбуждения.

Дойдя до летнего кафе, они присаживаются на металлическую скамейку, и он говорит о том, как весь этот ландшафт, подобно музыке И. С. Баха, выражает естественный порядок человеческого разума.

Фердинанд ест пирожное и жалуется на гнойники на спине, которые пачкают его рубашку.

У Саймона та же проблема, но он о ней не говорит. (Помимо прочего,

щепетильность заставляет его скрывать свое тело от друга). Так что он откладывает «Послов» и рассказывает Фердинанду о Фридрихе Вильгельме, отце Фридриха Великого, и о его одержимости своими гвардейцами: он требовал, чтобы все они были очень высокими, уделял повышенное внимание их форме, а при плохом самочувствии очень любил смотреть, как они маршируют. Все это вызывает смех у Фердинанда.

– Просто блеск, – говорит он, вытирая пальцем остатки масла со своей тарелки.

Саймон умиротворенно допивает чай и снова принимается за книгу. Наступает вечер, и они с трудом находят дорогу назад. По гладким лужайкам пролегли тени статуй.

– Что будем делать вечером? – спрашивает Фердинанд.

Саймон, не поднимая глаз от книги, чуть заметно пожимает плечами.

Сестра Отто, которая была в квартире утром, когда они проснулись, предложила им составить компанию ей и Лутцу с Вилли, чтобы прошвырнуться по городу. И Фердинанд теперь вспоминает об этом. Саймон же опять нарочито уклончив. Перспектива провести вечер с сестрой Отто и ее друзьями наполняет его чем-то сродни страху, каким-то смутным беспокойством.

– Они же мудаки, – говорит он, не отрываясь от книги, – или нет?

Большую часть дня они с Фердинандом потешались над Лутцем и Вилли – над их кожаным прикидом, их пирсингом, визгливым смехом Лутца и обвислыми усами Вилли.

– Они вроде ничего, – говорит Фердинанд задумчиво. Последние десять дней он не общался ни с кем, кроме Саймона. – И сестра Отто прикольная.

– Серьезно?

– А что – нет?

– Ну, ничего, – произносит Саймон, переворачивая страницу, – пожалуй.

– Все равно, что нам еще делать? – спрашивает Фердинанд и фыркает.

– Не знаю.

– Так я и говорю – давай просто выпьем с ними, – напирает Фердинанд. – Не так уж они плохи.

– Который час?

– Время двигать назад.

– Правда? – говорит Саймон, поднимая голову и оглядывая парк, заполненный тенями. – Мне тут нравится.

В итоге они проводят часть вечера с сестрой Отто, Лутцем и Вилли. Но Саймон, похоже, твердо решил не участвовать в общем веселье. Он просто сидит с кислой физиономией, пока другие вовсю болтают, и наконец Фердинанду становится просто неловко за него – за этого отстраненного, сутулого субъекта, тихо пьющего домашнее вино. Они сидят в хипповом месте в Кройцберге, на террасе, под цветущими деревьями, источающими запах спермы.

– Что не так с твоим другом? – спрашивает Фердинанда Лутц, наклоняясь к нему, и его серьги звякают. – Он в порядке?

У Лутца рыжие волосы и вся рожа в пирсинге.

– Я не знаю, – говорит Фердинанд как бы вполголоса, но достаточно громко, чтобы Саймон услышал. – Он всегда такой.

– Тогда, наверно, с ним прикольно путешествовать.

Фердинанд в ответ смеется.

Лутц говорит:

– Он просто такой стеснительный, да?

– Может быть.

– Я уверен, он в порядке.

– Да, конечно, – кивает Фердинанд. – Он очень умный.

– Вижу.

– И бывает очень смешным.

– Да?

– Ага.

– Не могу представить, – говорит Лутц.

Его друг, Вилли, однако, почти такой же молчун, как Саймон, и так же скуп на улыбки, так что большую часть вечера слышно Фердинанда, Лутца и сестру Отто. И разговор, естественно, заходит о том, где Фердинанд и Саймон побывали и что они там делали – то есть о достопримечательностях, по большей части культовых сооружениях. Лутца это бесит.

– Вы еще успеете увидеть все это дерьмо, когда будете старше! – заявляет он. – *Сейчас* вам это ни к чему! Что вам делать в этих церквях? Когда песок посыплется, тогда – пожалуйста. Сколько вам лет, мальчики?

Они говорят ему – семнадцать.

– Вы еще такие молодые, – произносит Лутц с чувством, хотя он старше их не больше чем на десять лет. – Веселитесь, хорошо? Хорошо?

Глава 2

Веселитесь.

Ночной поезд в Прагу. Ни одного свободного места, и ночью они лежат на полу возле туалета, где их то и дело задевают чьи-то ноги.

Едва рассвело, они поднимаются и бредут в вагон-ресторан.

За окошками в нежном утреннем свете проплывают холмы.

Сосновые леса, окутанные дымкой.

Саймон все думает о сне, увиденном в минуту забытья на полу. Что-то там было о чем-то под озером, о чем-то, что принадлежало ему. Затем он говорил с кем-то из школы, говорил о Карен Филдинг. Человек, с которым он говорил, произнес странное слово, возможно, даже не существующее. А затем он сам прошел мимо Карен Филдинг, разминувшись с ней в узком дверном проеме, опустив при этом глаза, а когда поднял взгляд, она улыбалась ему, и он проснулся, пережив момент неопишуемого восторга.

– Видок у тебя хуевенький, приятель, – говорит Фердинанд, когда они садятся за столик в вагоне-ресторане.

– Да?

– Я в плане – ты в порядке? Выглядишь херово.

Похоже, Фердинанд пытается в такой манере снять возникшее между ними напряжение.

Вчера у них случился разлад насчет дальнейшего маршрута.

Саймон хотел ехать утренним поездом в Прагу. Фердинанд этого не хотел. Он хотел принять предложение Отто показать им правильный Берлин.

Саймон же, как обычно, тупо настаивал на своем, и выяснилось, что он еще собирается по пути сделать остановку в Лейпциге, чтобы навестить могилу И. С. Баха.

В общем, он втянул Фердинанда в эту авантюру с Лейпцигом, и все вышло хуже некуда. Десять часов шатания по платформе и окрестным улицам, провонявшим дизельным топливом, – следующий поезд на Прагу отходил ночью, и все это ради нескольких минут в холодной Thomaskirche^[12], которую сам Саймон описал словами «объективно посредственная».

И наконец, где-то в полночь, уже не разговаривая друг с другом, они сидели в ожидании поезда на платформе, рядом с молодыми немцами из какой-то христианской общины, распевавшими песни вроде «Пусть будет

так» и «Ответ знает только ветер», под дождем, поливавшим в свете фонарей и платформу, и невидимые рельсы.

Саймон как будто не помнит разлада, не говоря уж об утренних попытках друга ослабить напряжение.

Он выглядывает из окна, низкое солнце высвечивает его красивый профиль, а его руки чуть дрожат после жуткой ночи.

– Прибудем в Прагу где-то через час, – говорит Фердинанд.

– Да?

В сознании Саймона вдруг возникает образ человеческой жизни в виде пузырьков, поднимающихся сквозь воду. Пузырьки поднимаются струйками и пучками, соприкасаясь и перемешиваясь, и все же каждый остается сам по себе до тех пор, пока все они не поднимутся из глубин на поверхность, к свету, где они перестают существовать как отдельные сущности. В воде они существовали физически, лично – в воздухе они стали частью воздуха, частью бесконечного целого, неотделимого ни от чего другого.

«Да, – думает он, щурясь в туманном утреннем свете и чувствуя, как в глазах собираются слезы, – вот как оно все устроено – жизнь и смерть».

– Где, по-твоему, мы остановимся? – спрашивает Фердинанд.

– Я не знаю.

– В хостеле?

– Хорошо, – говорит Саймон, не отводя взгляда от пейзажа, подернутого дымкой.

Все происходит очень быстро. Когда поезд прибывает, на платформе уже толкуются люди отчаянного вида. Их поднятые лица проплывают за окнами, пока поезд замедляет ход. Английские тинейджеры создают толкотню на выходе, неловко спускаясь по крутым ступенькам лестницы, и через пару минут они уже сидят в «шкоде», старше их самих, гудящей точно осиный рой и выпускающей тучи синеватого выхлопа. Этот газ имеет дурманящий, сладковатый запах. Как и цветущие деревья. Их водитель, помимо родного чешского, знает всего несколько слов на немецком.

– Zimmer frei, Zimmer frei^[13], – упорно повторял он на станции, хватая их сумки и проталкиваясь к своей машине.

Они едут минут двадцать, почти все время в гору (очень, очень медленно), через зеленый пригород с гравийными дорогами, мимо старых жилых домов на маленьких участках, пока, наконец, не останавливаются около одноэтажного дома с деревом у крыльца и подъездной дорожкой,

засыпанной опавшими лепестками цветов. Здесь живет водитель со своей женой, которая немного знает английский.

Они выходят из «шкоды» под птичьи трели, и жена водителя проворно, как будто даже с нетерпением, открывает скрипучие ворота. Ей, вероятно, около сорока, и кажется, что она только поднялась с постели. Волосы у нее золотисто-русые, они не убраны и рассыпаны по плечам, а одета она в желтый хлопковый халат и голубые резиновые сандалии. Она ступает в этих сандалиях по усыпанной лепестками дорожке, и сетчатая тень от дерева ложится на нее, играя на гладкой коже улыбчивого лица, и она уверенно целует молодых гостей. Она поспешно проводит их в дом и показывает им их комнату – с одной кроватью, и пенопластовым матрасом в пятнах на полу, и окном, облепленным листьями. Она улыбается, глядя, как они, уставшие после дороги, проходят в комнату.

– Хорошо? – спрашивает она.

Она говорит им оставить вещи здесь и идти за ней завтракать, так что они проходят за ней по длинному коридору, огибая стиральную машину и минуя комнату, похожую на захламленную ванную, и оказываются на кухне.

Саймон продолжает прокручивать в голове сон, приснившийся ему в поезде, пока идет вместе с другом за хозяйкой на кухню. Сон кажется ему более реальным, чем этот коридор со стиральной машиной и залитая солнцем кухня, где его приглашают присесть.

единственное место, где я хочу быть

Она занята сейчас чем-то, в этот самый момент, она занята чем-то сейчас, пока он садится за небольшой квадратный стол на солнечной кухне. И ее улыбка, обращенная к нему во сне, кажется ему реальнее, чем эта женщина, вынимающая что-то из холодильника и объясняющая им, почему, решив остановиться у нее, они сделали правильный выбор.

Ее улыбка, обращенная к нему во сне. Возможно, он просто додумал ее. На самом деле она не улыбалась. Лицо было серьезным. Бледное, в обрамлении темных волос, оно было серьезным. Однако ее кукольные голубые глаза лучились нежностью, и он почему-то знал, что она улыбалась ему. А затем он проснулся в первом свете утра, наполнявшем вагон, и услышал частый перестук колес.

Она говорит, что деньги ее не интересуют – она не поэтому принимает людей. Просто ей нравятся люди, говорит она, и она хочет помогать им. Она сделает все, что в ее силах, чтобы помочь им.

– Я помогу вам, – говорит она им.

Дом расположен, признает она, не совсем в центре города, но она

уверяет их, что добраться туда не сложно. Она покажет им, как это сделать, и, пока они едят, она разворачивает на столе карту и проводит пальцем путь до станции метро, и кажется, что большая часть пути проходит по сгибу карты, где она совершенно истерта.

Они пьют сливовицу из маленьких чашек, похожих на желуди, а воздух все сильнее наполняется сигаретным дымом. Халат одет на ней весьма свободно, и когда она наклоняется над потертой картой Праги, расцвеченной разными цветами, возникает ощущение, что под халатом она ничего не носит, что отмечает Фердинанд и дает это понять другу, улыбаясь ему и многозначительно кивая, когда вдруг входит ее муж и, вынув сигарету из своего маленького рта, говорит что-то по-чешски.

Она пытается отмахнуться от него, даже не поднимая глаз от карты, по которой отмечает пальцем с обгрызенным ногтем извилистую улицу – и между ними происходит быстрая перебранка.

Фердинанд все это время улыбается с намеком.

А она все так же склоняется над картой.

Ее муж стоит на месте какое-то время, излучая недовольство. А затем уходит, и она говорит, что ему нужно работать. Она объясняет, что он бывший профессиональный футболист, а теперь учитель физкультуры.

Она садится, закуривает очередную сигарету и кладет руку на колено Саймону. (Похоже, она, несмотря на его молчание, прониклась к нему.)

– Мой муж, – говорит она, – не знает *нич-чо*, кроме футбол.

Возникает пауза. Ее рука лежит на его колене.

– Вы понимаете меня?

– Да, – говорит он.

От алкоголя в столь ранний час и после такой жуткой ночи его сильно развозит. Он не вполне уверен, что вообще происходит и о чем она говорит. Все кажется непривычно ярким – интерьер кухни, залитой солнцем, картинки с котятками на стенах, голубые глаза жены футболиста, ее тонкая, словно пергамент, кожа. Она смотрит на него в упор. Он опускает глаза и невольно смотрит на ее голые колени.

И снова ее глаза.

– Он не знает *нич-чо*, кроме футбол, – говорит она. Пока она произносит это, он смотрит на ее рот. – Вы понимаете меня. – На этот раз это не похоже на вопрос. Это звучит как указание. – А вы, молодые мальчики, – говорит она со счастливой улыбкой, поднимая бутылку бренди, – вам нравится спорт?

– Мне – да, – отвечает Фердинанд.

– Да?

– А Саймону – нет.

– Это неправда, – говорит Саймон раздраженно.

Но она как будто этого не слышит. И говорит, повернувшись к нему:

– Не нравится? А что нравится? Что нравится? Думаю, я знаю, что тебе нравится! – И, снова кладя руку ему на колено, она начинает смеяться.

– Саймону нравятся книги, – говорит Фердинанд.

– О, вам нравятся книги! Это *мило*. Мне нравятся книги! О... – произносит она и кладет ладонь на сердце, – я *люблю* книги. Мой муж, он не любит книги. Ему не интересно искусство. Вам интересно искусство, я думаю?

– Ему интересно искусство, – отвечает Фердинанд.

– О, как *мило*! – говорит она и вздыхает, переводя взгляд на Саймона. – Красота, – говорит она. – Красота, красота. Я живу для красоты. Смотрите, я вам покажу.

Вся в возбуждении, она подводит их к картине, висящей в холле. Плоский, безжизненный, аляповатый пейзаж. Эту картину, говорит она им, она купила в Венеции.

– Мило, – говорит он.

С минуту они стоят молча.

И пока они стоят и рассматривают эту жуткую мазню, он чувствует ее теплую тяжелую руку у себя на плече и близость ее тела.

– Ваш друг, – говорит она Фердинанду, прикуривая очередную сигарету, – он понимает.

Они снова на кухне.

– Он очень умный, – говорит Фердинанд.

– Он понимает красоту.

– Определенно.

– Он *живет* для красоты. Он как я. – И она снова повторяет, откручивая крышку с бутылки бренди: – Мой муж, он не знает ничего, кроме футбол.

– Прекрасная игра, – шутит Фердинанд.

Она смеется, хотя не ясно, поняла ли она шутку.

– Вы нравится футбол? – спрашивает она.

– Вообще-то я больше по регби, – говорит Фердинанд.

И затем он пытается ей объяснить, что такое регби, а она курит и слушает, время от времени задавая вопросы, из которых становится ясно, что она ничего не поняла.

– Так это как футбол? – спрашивает она, разгоняя дым, после нескольких минут подробных разъяснений.

– Э... Типа того, – говорит Фердинанд. – Да.

– А девочки? – спрашивает она. – Вам нравятся девочки?

Фердинанда вопрос смущает меньше, чем Саймона, и он отвечает после небольшой заминки:

– Конечно, нам нравятся девочки.

И она снова смеется:

– Конечно!

Она смотрит на Саймона, который уставился в стол, и говорит:

– Вы найдете много девочек в Праге.

Стоя на Карловом мосту с его почерневшими статуями и туристами, то и дело указывающими пальцами, Саймон нарекает это место бездушным аналогом Диснейленда.

Расхаживая по собору Святого Вита в рассеянном свете и вдыхая легкий аромат полированного дерева, он видит афишу, сообщающую об исполнении Большой мессы Моцарта до минор здесь этим же вечером, что слегка оживляет его, и, купив билеты, они садятся на террасе паба, кишашей туристами, позади собора, собираясь пробыть там до пяти часов.

Фердинанд, вопреки обыкновению, закуривает сигарету, «Филип Моррис» Саймона. Пока друг говорит ему, как он ненавидит Прагу, Фердинанд замечает двух молодых женщин за ближайшим столиком. Возможно, они не те милашки, о которых говорила им хозяйка дома, но вполне ничего. Особенно одна. Он пытается уловить, о чем они говорят, а точнее, понять, на каком языке. Очевидно, они не местные.

– Как турист может быть *счастливым*? – рассуждает Саймон. – Вечно скитается где-то, вечно неприкаянный, вечно ищет чего-то...

– Ты в хорошем настроении.

– Не в *плохом* точно, я просто говорю...

Похоже, обе девушки – англичанки.

– Как насчет *их*? – говорит Фердинанд тихо.

– Что *насчет* их? – переспрашивает Саймон.

– Ну?

Саймон смотрит на него так, будто у него свело живот.

– Да ладно тебе! – говорит Фердинанд. – Не так уж они плохи. В самый раз. Получше тех, что были в Варшаве.

– Ну, это не показатель...

– Ты как хочешь, – говорит Фердинанд сквозь смех, – а я их приглашу за наш столик.

Саймон вздыхает с неудовольствием, руки его слегка дрожат, и он

закуривает очередную сигарету. Он смотрит, как Фердинанд в своей неподражаемой манере подруливает к девушкам и заговаривает с ними. Он указывает на столик, за которым сидит Саймон, и Саймон сразу же отводит взгляд и смотрит в окно на внушительную черную громаду Святого Витта, шедевр готики. Он еще рассматривает собор или делает вид, что рассматривает, когда слышит голос Фердинанда:

– Это мой друг, Саймон.

Он поворачивает голову, солнце слепит его, и он щурится. Вот они стоят перед ним, со стаканами в руках. На одной летняя шляпка. Фердинанд приглашает их присесть, и они неуверенно присаживаются.

– Ну, – говорит Фердинанд, занимая свое место, и голос его обретает особую глубину и бархатистость, – как вам нравится Прага? Давно вы здесь? Мы только утром прибыли – еще почти ничего не посмотрели. Так ведь, Саймон?

Саймон качает головой:

– Ну, в общем, да.

– Мы заглянули туда, – говорит Фердинанд, кивая за окно. – Саймон любит соборы.

Девушки переводят взгляд на него, как бы ожидая, что он на это скажет, но он молчит.

– А вы там были? – спрашивает Фердинанд, обращаясь непосредственно к девушке в летней шляпке, ведь она гораздо привлекательнее.

– Ага, вчера, – говорит девушка.

– Правда, впечатляет?

Она смеется.

– Ну, так, – говорит она, словно ожидая, что Фердинанд хочет подшутить над ней.

– Я в смысле, они же все типа одинаковые, – говорит он. – Мы побывали чуть не во всех в этой части Европы, так что могу ответственно заявить об этом.

– Да?

– Ну, то есть, понимаете, о чем я.

– Так где вы еще побывали? – спрашивает она.

И пошла беседа – где вы были, что вы видели. Саймона коробит манера Фердинанда. Это словно маска, которую тот надевает, общаясь с незнакомками, и в этом чувствуется какая-то фальшь, особенно на фоне его демонстративного молчания. В противовес всей этой показухе и занудству. А когда пышнотелая подруга девушки в шляпке спрашивает его, какую

музыку он любит, он пожимает плечами и говорит, что не знает.

Фердинанд рассказывает о японской паре, которую они видели: на нем льняной костюм и панама, на ней бирюзовое платье с блестками, и они танцуют на главной площади Кракова. Затем он рассказывает, как их с Саймоном сняли с поезда на польско-немецкой границе и обыскали усатые немецкие служаки.

– Думаю, они особенно в чем-то подозревали Саймона, – сообщает он с улыбкой, заразительной для дам, и Саймон тоже улыбается, пусть и сдержанно, как бы принимая навязанную ему роль.

– Обоих заставили раздеться догола, – говорит Фердинанд.

Шляпка сдавленно смеется.

– Что, серьезно?

– Нет, – говорит Саймон, не глядя на нее. А затем он объявляет, глядя прямо на Фердинанда, словно они тут одни: – Почти пять.

– Уже? – говорит Фердинанд непонимающе.

– Да, – говорит Саймон, и повисает пауза. – Ну, понял...

– А, да, – говорит Фердинанд. Он как будто задумывается на секунду, и все смотрят на него, а затем он обращается к девушке в шляпке: – Знаете, здесь концерт в пять. Должно быть что-то с чем-то. Давайте с нами, а?

Она смотрит на подругу, та пожимает плечами.

– А где это?

– Да вон там!

Он указывает на каменную твердыню, закрывающую полнеба.

– Там. Моцарт или типа того. Моцарт же, да?

– Да, – говорит Саймон бесцветным голосом.

– Саймон балдеет от этой фигни, – поясняет Фердинанд.

Девушки еще раз переглядываются – слов им не нужно. А потом говорят, что у них нет денег.

– Ну, – говорит Фердинанд, – тогда давайте увидимся после? – На лице его широкая улыбка. – Это будет недолго, я думаю. Сколько это продлится? – спрашивает он Саймона, словно своего секретаря.

– Я не знаю, – говорит Саймон. – Не больше часа, полагаю.

– Мы же можем тут встретиться после, – говорит Фердинанд.

– Где-то через час?

Они соглашаются, и Фердинанд с Саймоном уходят.

– Она милашка, та, что в шляпке, а? – говорит Фердинанд.

– Ничего так.

– Да ладно тебе – самый сок. А как насчет второй?

– Что насчет второй?

Фердинанд смеется в упоении.

– Да, я тебя понимаю, – говорит он.

Он что-то бормочет, пока они занимают места на скамье.

– Так, что это у них? – спрашивает он.

– Месса Моцарта, – говорит Саймон, не глядя на него, – до минор.

– А, ну да.

И, словно желая насладиться музыкой в полной мере, Фердинанд складывает руки на коленях и закрывает глаза. Звучит музыка.

Музыка.

Когда они возвращаются в паб, на который теперь ложится тяжелая тень собора, то видят, что девушки ушли. Саймон как будто все еще слышит музыку, а его друг, разочарованный таким поворотом, спрашивает официанта, не оставил ли кто-нибудь для него записки, он все еще слышит чистое сопрано, где-то в пустоте над головой, возносящееся под высокие каменные своды. И пока они ждут на террасе на случай, если девушки вдруг вернутся, Фердинанд стоит у самых перил, пристально вглядываясь в кишачие туристами сумерки, а Саймон сидит, курит, продолжая слышать неземной голос. Нечто божественное.

Когда Фердинанд оборачивается, на лице у него мировая скорбь.

Нечто божественное.

– Мать твою! – говорит Фердинанд.

Неизреченная святость под сводами собора, эта светоносная музыка.

– Они не вернутся.

Светоносная музыка, неосязаемое сопрано.

Наполняющее своды собора.

– Нет, – говорит Саймон.

Друг его садится и, не спрашивая, берет из пачки «Филип Моррис» сигарету.

– Что будем делать? – говорит он, стараясь казаться спокойным.

Они идут по улицам в поисках подходящего места, чтобы поесть.

И довольно скоро понимают, что заблудились.

Фердинанд подходит к журнальному лотку и пытается спросить дорогу у продавца.

Пока его друг добивается разъяснений, Саймон замечает, что среди журналов есть порнографические – он видит набухшие соски, голое тело, открытые рты. Вообще-то, ничего, кроме порнографии, здесь нет. Продавец, уставший коротышка, совсем не знает английского и, жестом

попросив Фердинанда подождать, исчезает в дверях ближайшего магазина с пустой витриной.

Вскоре он появляется с женщиной средних лет в простом синем платье. Саймон сочувствует ей, тому, что ей приходится терпеть рядом с собой всю эту грязь.

– Да? – говорит она по-английски, приближаясь к ним с улыбкой.

Фердинанд объясняет, что они заблудились и ищут, где бы поесть.

Она советует им, как выйти на знакомые улицы, и добавляет, извиняясь, что не знает подходящего заведения поблизости, открытого в такое время.

– Ну, что вы, что вы, – говорит Фердинанд, – спасибо, не беспокойтесь.

– А журналы вы покупаете? – спрашивает она.

Вопрос, как будто, обращен по большей части к Саймону, который стоит у лотка и курит. Он смотрит на нее, словно не понимая.

– Секс, – говорит она, обводя рукой лоток.

И начинает улыбаться – и от этого ее лицо вдруг кажется Саймону мордочкой злобного хищного зверька.

– Нет, – говорит он быстро.

– Вы смотрите, – говорит она, продолжая улыбаться, вынимая один из журналов из-под резинки и протягивая Саймону. – Смотрите!

– Нам это не интересно, спасибо, – говорит Фердинанд.

– Но почему? – спрашивает она со смешком.

– Просто, – отвечает он и устремляется за своим другом, который уже отшагал пол-улицы, – спасибо.

Они едят пиццу в «Пицца хат», а потом едут на метро до конечной станции.

Улегшись на жестком матрасе на полу их комнаты и укрывшись простыней в рыжевато-бурый цветочек, Саймон пытается записать что-нибудь в дневник. Фердинанд тем временем принимает душ. Саймон улавливает шум льющейся воды, и, пока его слышит, он понимает, что друг не потревожит его. Он также слышит перебранку в кухне между хозяйкой и ее мужем. У него есть время – как раз достаточно. Уже почти неделю он этого не делал... После того раза в качающемся туалете в поезде, под перестук колес, по пути из Варшавы в Краков. Его пальцы едва сомкнулись на горячей твердой плоти под простыней, когда смолк звук льющейся воды и заскулили трубы, и он быстро натянул шорты и уткнулся в дневник, сжав ручку, чтобы Фердинанд, появившийся из ванной с одним маленьким полотенцем на бедрах, ничего не заподозрил.

– Все никак не успокоятся? – спрашивает он, имея в виду перебранку на кухне.

Раздается звук бьющейся посуды.

Саймон ничего не отвечает, лишь крепче сжимает ручку.

– Зайке не повезло, – говорит Фердинанд.

Он встает перед маленьким зеркалом и поворачивается, пытаясь разглядеть шрам у себя на спине.

– Хуже стало, – говорит он. – Посмотри. Хуже, а?

Саймон сразу вскидывается и говорит:

– Я не знаю.

– Хуже, – говорит Фердинанд.

С тяжелым вздохом он ложится на кровать и открывает томик Йейтса с комментариями. После пары строк –

*Юнцы,
В объятиях друг друга^[14]*

он снова вздыхает и с минуту смотрит в грязно-белый потолок.

*Юнцы,
В объятиях друг друга*

Положив книгу на гладкий желтый паркет, он натягивает повыше тонкое ватное одеяло и поворачивается к стене.

Саймон, так ничего и не написав, убирает дневник и гасит свет – настольную лампу, стоящую на полу рядом с его матрасом.

Глава 3

– Мой муж, – говорит она наутро, доставая что-то из холодильника и ставя перед ними на столе – сейчас в Брно. Футбол. Он будет в Брно три дня.

– Какой-нибудь чемпионат? – спрашивает Фердинанд.

– Что?

– Он в Брно из-за чемпионата?

Она, похоже, не знает такого слова.

– Из-за матча? – уточняет Фердинанд.

– Матч, да, – говорит она. – Важный матч. Футбол.

Сливовицы больше нет. Есть кофе и сигареты. И черствый хлеб, к которому никто не прикасается. У хозяйки явное похмелье. Она присаживается рядом с Саймоном в своем коротком желтом халатике и спрашивает:

– Вы найти девушек?

Вопрос смущает его, и он мнетя, не зная, что сказать.

– Нет? – удивляется она. – Вам это должно быть легко, я думаю.

– Ну, вообще мы встретили одних, – говорит Фердинанд.

– Вам нравятся девушки?

Хотя вопрос обращен к Саймону, отвечает на него Фердинанд:

– Да. Очень даже.

– А вам?

Прежде чем ответить, Саймон нервно затягивается сигаретой.

– Да, – говорит он.

Она изучает его хмурый профиль, а он тем временем напряженно смотрит на стол, словно стараясь запомнить все, что на нем находится.

Пакет молока – *mléko* – очень простого дизайна.

Его «Филип Моррис» с надписью о вреде для здоровья на немецком.

Ее «Петра» в бумажной пачке с красной полоской.

Зажигалка «Крикет».

– Вы очень симпатичный мальчик, – говорит она.

Стеклянная пепельница, полная окурков.

Пластиковая миска с ломтиками черствого хлеба.

– Когда я была молодая, – говорит она, – мне бы очень хотелось встретить такого симпатичного мальчика.

Тарелочка с желтоватым маслом.

«Когда я была молодая...»

И она рассказывает им о своей молодости.

Оказывается, она вовсе не чешка. Она родилась в Сербии. Они с мужем познакомились в Югославии, как тогда называлась эта страна, куда он приехал в составе футбольной команды. Она работала на высокой должности в местном спортивном клубе, который занимался этой командой. Светловолосая, голубоглазая, говорливая, живая, она провожала его команду в столовую и ездила с ними на матчи в одном автобусе.

С гордостью она говорит, что ее муж был одним из лучших игроков в команде. Первый раз они занимались любовью в парке ночью. Ведь она в то время еще жила у родителей. А он – в общежитии со своей командой. Куда еще им было пойти?

– Мы были молоды, – говорит она. – А когда вы молоды... Да. – Она закуривает, вздыхает и говорит отрывисто: – Я была молода, но это не был первый раз для меня.

– Не первый? – Фердинанд, похоже, заинтересовался.

И она рассказывает им, как потеряла девственность с инструктором по плаванию в молодежном лагере в Италии, когда ей было пятнадцать.

– Он был старше меня, – говорит она. – Это было приятно, вы понимаете.

Саймон сидит, ссутулившись, и курит, как будто не слушая.

– Это приятно, – говорит она ему, – первый раз с тем, кто старше.

И Фердинанд рассказывает ей, как его в том же возрасте соблазнила няня сестры, старше на десять лет, и как это было приятно.

– Да, – говорит она, и ее глубоко посаженные глаза серьезны. – Приятно.

– Это было приятно, – поправляет ее Фердинанд, довольный собой.

– Так всегда лучше всего, – говорит она. – С тем, кто старше, кто опытней. С тем, кто приятный.

Саймон сидит, ссутулившись, и курит, как будто не слушая.

– Вы понимаете меня?

Вопрос обращен к нему. Она хочет знать, понял ли он, что она сказала.

Они ждут, пока он скажет что-то – покажет, что понял, что услышал ее слова.

И тут где-то звонит телефон, в какой-то другой комнате. Она поднимается и устремляется туда в своем коротком желтом халатике, разгоняя облако сигаретного дыма. И они слышат, как она говорит с кем-то по телефону.

Утро они проводят, бродя по городу в поисках Шляпки. В поисках Шляпки от солнца под солнцем. Фердинанд прикидывает, где сейчас она может быть, в каких местах им лучше посмотреть, и готовится разыграть удивление, если она их увидит. Но вскоре затея уже кажется безнадежной. Город огромен, и достопримечательности ужасно рассыпаны по разным мощенным булыжником аллеям и незаметным маленьким паркам. Он пытается думать, как могла бы думать она, пытается поставить себя на место молодой женщины одного с ним возраста или на пару лет старше, не блещущей умом, которой часто докучают мужчины, женщины с бирюзовыми ногтями на ногах, собирающейся поступать на курсы секретарей... Австралийский паб? Они проводят там два часа, потягивая легкое пиво и почти не разговаривая.

Саймон, кажется, тоже поглощен мыслями.

Сидя в этом австралийском пабе, он представляет отношения людей в виде двух жидкостей, наливаемых в одну емкость. Страшные взрывы, думает он, довольный тем, какую аллегорию нашел для выражения своей первичной идеи, или мгновенное замораживание – это наихудшие формы реакции. А неспособность к смешению – самая обыкновенная. А любовь?

Карен Филдинг

Что ж, любовь, думает он, это вот что такое: вспышка в глубине двух жидкостей, смешивающихся так, что они кажутся одной прозрачной жидкостью.

Карен Филдинг

Вспышка, становящаяся огоньком, медленно растущим до тех пор, пока вся жидкость не начинает испускать мягкое, ровное сияние.

Карен Филдинг

Да, думает он, это любовь.

А день тем временем ускользает.

И вот уже ранний вечер.

Фердинанд стоит на Карловом мосту, где дует сильный ветер, и окидывает взглядом широко раскинувшиеся берега, крыши зданий и шпили, громоздящиеся по обеим сторонам реки. Шляпка, Шляпка, где-то ты сейчас... А может, она уже покинула город. И тогда как глупо он разменял день, размышляет он, пока Саймон ждет неподалеку, повернувшись в другую сторону.

В следующем пабе, на этот раз расположенном в подвале с готическими сводами, Саймон опять заводит разговор о бесплодности туризма.

– Зачем тогда ты это затеял? – спрашивает Фердинанд через несколько

минут с раздражением.

– Что затеял?

– Эту поездку?

– Я думал, получится здорово, – говорит Саймон.

– А сейчас, по-твоему, не здорово?

– Нормально.

– А на что ты рассчитывал?

Саймон задумывается и говорит:

– Я не знаю.

И все же он рассчитывал на что-то. Он сел на поезд на вокзале Сент-Панкрас две недели назад с какой-то смутной надеждой.

Когда в ранних сумерках они идут по проспекту к метро, повсюду видят проституток.

Ему почти приятно снова оказаться у нее на кухне, в неоновом свете. Почти как дома. Она смеется в клубах дыма, пока Фердинанд рассказывает, как они искали Шляпку, рассказывает все с самого начала, с момента их знакомства вчера под стенами собора Святого Вита.

– Так вы нашли девушку? – улыбается ему она.

– И снова потерял.

– А она была чешкой?

– Нет, англичанкой.

– Англичанка! Вы должны найти чешская девушка – она от вас не убежит.

– Да ну!

– Не убежит. Она думать, вы богатый.

– Я не богатый.

– Но она так думать. И она была красивая, эта англичанка?

– Ну... Вообще-то ничего.

– Вы найдете красивую чешскую девушку. А вы? – Она обращается к Саймону и сразу почему-то кажется серьезной. – Вы найти девушку?

Саймон опускает глаза.

– Нет, – говорит он и сует в рот сигарету.

Когда он поднимает взгляд, то видит, что она смотрит ему в глаза.

Смотрит пристально и немного печально.

– А вы такой симпатичный мальчик, – говорит она.

Саймон пожимает плечами.

Повисает тишина.

Она продолжает смотреть на него, он это чувствует, даже уставившись

на свои колени.

И тогда Фердинанд встает и говорит, что идет спать.

– А, вы устали, – кивает она с пониманием. – Хорошо. Вы спите.

Через секунду Саймон также встает, с нервной поспешностью, но она берет его за запястье.

Он невольно отдергивает руку, и она отпускает ее.

– Я тоже устал, – говорит он.

– Вы оставляете меня одну? – смеется она. – Вы оставляете леди одну?

– Я устал.

– Но вы молоды – вы должны быть на ногах всю ночь.

– Останься и допей пиво, – беспомощно произносит Фердинанд.

– Да, – говорит она, – останься.

– Я не хочу. Правда, я устал.

Саймон пытается протиснуться мимо стола к двери, когда она опять берет его за руку. Ее пальцы смыкаются бережно, без нажима. И, держа его руку в своей, она говорит:

– Останься и поговори со мной. – И смотрит ему в глаза.

– Завтра, – обещает он и высвобождает руку из ее теплых пальцев. – Хорошо? Поговорим завтра.

– Сегодня – это сегодня, – говорит она загадочно, словно произносит поговорку. И кладет руку ему на бедро, он чувствует ее ладонь через джинсы.

– Я устал, – почти умоляет он.

Фердинанд уходит.

– Останься со мной, – повторяет она тихо, лицо ее серьезно, а ладонь перемещается к его паху.

– Пожалуйста, – чуть не плачет он. – Мне жаль, но я устал.

И он уходит вслед за своим другом, по темному коридору, мимо стиральной машины.

– Она тебя хочет, приятель, – говорит ему Фердинанд.

Они сидят за кованым столиком в парке, где по траве расхаживают павлины, время от времени оглашая окрестности криками. Фердинанд, конечно же, имеет в виду хозяйку квартиры.

Саймон нервно курит.

– Давай же, – говорит Фердинанд, – трахни ее.

Мысль о том, что Саймон может это сделать, не приходила ему на ум, и вместо ответа он лишь хмурится.

– Почему нет? – говорит Фердинанд.

Саймон хмурится сильнее и, наконец, выдавлиывает:

– Ей, наверное, уже сорок.

– И что? – Фердинанд быстро оглядывается, желая убедиться, что рядом нет чужих ушей, и говорит: – Она наверняка знает пару интересных штучек. И, знаешь, она вообще не так уж плоха. Очень красивые ноги. Ты заметил?

Саймон ничего не отвечает.

– Она вполне себе *секси*, – говорит Фердинанд. – То есть в молодости она, наверно, была огонь.

– Ну, может, *в молодости*, – бормочет Саймон.

– Кем она была тогда?

Саймон молчит несколько секунд, прежде чем сказать:

– Она говорила, что была почти чемпионкой по плаванию...

– Только формы у нее не соответствовали. Забавно. – Фердинанд улыбается. – Эти пловчихи все без груди. Так почему ты не трахнешь ее?

– А ты почему?

– Она *хочет* не меня, – говорит Фердинанд с нажимом. – А тебя.

– Она была пьяной.

– Она всегда пьяная.

– Что ты думаешь делать вечером? – спрашивает Саймон.

– Я думаю, ты должен ее трахнуть, – говорит Фердинанд.

– Серьезно...

– Я серьезно...

– Нет, я в смысле, какие планы на вечер?

– Она тебе не нравится? Совсем?

– Нет, – говорит Саймон. – Не вполне.

– Не вполне?

– Нет.

– А по-моему, она что надо, – говорит Фердинанд. – Серьезно. Я думаю, ты должен ее сделать.

Саймон закуривает новую сигарету. Он курит с самого утра, даже больше обычного.

– А знаешь, – говорит Фердинанд, – по бровям женщины можно точно сказать, какой у нее кустик на лобке.

Саймон смеется – смешок вырывается сам собой. И он опять собирается спросить о планах на вечер, но друг его опережает:

– Ты что, совсем не хочешь трахнуться?

Саймон пожимает плечами, сует в рот сигарету и принимается рассматривать черную, жирно крашенную поверхность кованого стола.

– В этом ничего такого, – говорит Фердинанд. – Я просто думаю, ты должен завалить ее. И тебе наверняка понравится, вот и все.

Они сидят молча с минуту, Саймон продолжает изучать кованые извивы стола, а Фердинанд разглядывает людей в парке. Затем он спрашивает:

– Так чем займемся вечером?

Саймон снова обретает голос и предлагает посетить выставку, посвященную Кафке.

– Ну что ж, ладно, – говорит Фердинанд.

Но несмотря на многочасовые поиски, они так и не находят эту выставку и в итоге проводят еще один вечер, слоняясь по историческому центру столицы Старой Европы, запруженному трамваями и туристами.

– Ты правда не хочешь ее? – спрашивает Фердинанд.

Они сидят друг напротив друга на скамьях пивной, среди шквала голосов, литровая кружка пражского светлого перед каждым, и уже порядком набрались.

– Она далеко не дурнушка, – говорит Фердинанд. – Мне даже интересно, какая она без одежды. То есть тебе что – совсем не интересно увидеть ее голой?

Саймон будто не слышит. Он глазеет по сторонам. Но на щеках у него выступает румянец.

Наконец он поворачивается к Фердинанду:

– Я думаю, завтра нам надо поехать дальше, – говорит он. – То есть уехать из Праги.

– Правда? – Фердинанд явно удивлен.

– Ты хочешь остаться?

– Не так чтобы...

– Я – нет, – говорит Саймон.

– Ладно.

– Значит, уезжаем завтра?

– Если хочешь.

Они заглядывают на вокзал – посмотреть расписание. И решают, что их следующей остановкой будет Вена, – Саймона, кажется, интересуется тамошнее Kunst^[15]. Поезд отходит около десяти утра.

Затем они снова возвращаются на метро, до конечной станции.

Они проходят на кухню, где она курит в своем желтом халатике и ждет их.

Саймон надеялся весь день, что ее муж вернется из Брно и таким образом эта ситуация разрешится сама собой.

Муж не вернулся из Брно.

Она ждет их одна, и они садятся рядом с ней за стол. Саймон едва может смотреть на нее. Как и утром – он испытал испуг, выходя из комнаты, еще не обсохнув после долгого-долгого душа. Тем не менее на этот раз она как будто не проявляет к нему особого интереса. Она говорит с Фердинандом, который, похоже, рад выручить друга в неловкой ситуации и с увлечением болтает с ней, отвлекая внимание от Саймона, который совсем не участвует в разговоре, и примерно через полчаса Фердинанд говорит:

– Что ж, думаю, мы реально устали, да, приятель?

– Да, – говорит Саймон и тут же встает.

Фердинанд тоже встает и говорит:

– Ну, пожалуй, пойдём спать.

Она наливает им еще по рюмке сливовицы и отпускает.

Следующим утром Саймон просыпается и видит, что Фердинанда в комнате нет. Это необычно. Обычно Саймон встает первым. Он прислушивается, пытаясь уловить голоса на кухне или шум душа. Ничего. Только на стене колыхается тень от дерева за окном. Он натягивает джинсы и футболку. Наведывается в зловонный туалет с хлипкой дверцей и окошком вентиляции у самого пола, выходящим в коридор без окон, в котором стоит стиральная машина.

Фердинанда он видит на кухне – тот сидит за столом и доедает приготовленную хозяйкой кашу, похожую на кислый йогурт. Саймон не стал бы есть такое даже с джемом. Фердинанд на кухне один.

– Доброе, – говорит он.

– Где она? – спрашивает Саймон.

– Где-то поблизости, – говорит Фердинанд, наворачивая кашу.

– Ты видел ее?

Фердинанд кивает. И делает он это как-то странно.

– Ты рано встал сегодня, да? – спрашивает Саймон.

– Не так чтобы...

– Давно ты тут?

– М-м... – Фердинанд подчищает чайной ложечкой остатки каши и говорит: – С полчаса.

– Кофе есть?

– Она сварила. Посмотри там, на столике.

Саймон подходит к столику и наливает себе кофе. Повернувшись, он вдруг видит что-то на полу. Что-то знакомое, но он никак не может понять,

что же это. И только когда он садится за стол, его осеняет – ведь это ее желтый халатик. Ее халатик на кухонном полу.

– Как спалось? – спрашивает Фердинанд.

– Нормально.

– Ты все еще хочешь уехать сегодня? – спрашивает Фердинанд.

– Да, – говорит Саймон.

Ее халатик на кухонном полу.

И вот они снова в поезде, едут в Вену. Едва они выезжают из Праги, Фердинанд засыпает, откинувшись на спинку сиденья, покачиваясь и похрапывая, когда поезд громыкает на переездах, а за окном безмятежно проплывают окраины города. Саймон стоит в коридоре у окна и провожает взглядом последние строения.

Странное чувство потери овладевает им, чувство потери неизвестно чего. Он заходит в купе и садится на свое место.

Он смотрит на друга, спящего напротив, и впервые испытывает к нему что-то вроде зависти. К тому, что он мог бы... С ней... Если Фердинанд захотел... И увидел ее...

Ее халатик на кухонном полу.

Он пробует читать «Послов», и его клонит в сон.

Он откладывает книгу.

Смотрит в окно – и городские окраины исчезают из вида.

Часть 2

Глава 1

Офис, выставочный зал и склад занимают соседние помещения в промышленном комплексе на окраине Лилля, откуда слышно шоссе Е 42. Этой весной Бернар проводит здесь день за днем, работая на дядю Кловиса, который занимается продажей окон. Более унылого места, чем этот офис, представить невозможно – ламинированный пол, запах освежителя воздуха, слегка засаленная мебель.

Среда, пять пятнадцать вечера.

За большими окнами безучастный свет весны и звуки промышленного комплекса. Бернар ждет, когда дядя придет закрываться. Он уже в пиджаке и сидит, разглядывая вещи на подоконнике: рядом с депрессивного вида растением стоит под склонившимся цветком фигурка ангелочка с меланхоличной улыбкой на личике в форме сердечка.

Появляется Кловис и проверяет, все ли шкафы заперты.

– Выше нос, – говорит он, тщетно подбадривая племянника.

И Бернар идет за ним по пустым, пахнущим хлоркой лестницам.

Выйдя на улицу, они садятся в «БМВ», припаркованный, как всегда, у самого входа.

Кловис ни за что не взял бы Бернара, не будь он сыном его сестры. Он считает его туповатым и медлительным – весь в отца, машиниста поезда. Нетребовательным. Склонным глазеть часами на всякую ерунду, вроде капель дождя, текущих по стеклу. Как типично для такого, думает Кловис, *вылететь* из университета. У Кловиса отношение к университету двойственное. С одной стороны, ему кажется, что это просто такой способ отлынивать несколько лет от работы для папенькиных сынков. Но с другой, там их должны *чему-то* учить. Ведь кто-то же становится хирургом или адвокатом. Так что, *вылететь* из университета после двух лет, как Бернар, оставшись ни с чем, представляется Кловису наихудшим вариантом. Непростительной растратой времени.

Они покидают промышленный комплекс и въезжают на шоссе Е 42.

Этот соплик курит травку и даже не скрывает этого. Курит в своей комнате, в доме родителей, в типовом кирпичном доме тихого рабочего квартала. И не думает о том, чтобы съехать от них. Еду ему готовят, ему стирают. А ему уже сколько? Двадцать один? Двадцать два? И это мужчина?..

Как-то раз Кловис попробовал поговорить с ним с одобрения сестры. (Отец мальчика, очевидно, не собирался этого делать.) Он усадил его в баре, взял пиво и сказал коротко и ясно:

– Тебе пора повзрослеть.

И этот мальчишка взглянул на него своими туманными голубыми глазами из-под блондинистых лохм и спросил коротко и ясно:

– Вы о чем?

И Кловис ответил ему коротко и ясно:

– Ты неудачник, приятель.

И мальчишка – если можно называть мальчишкой детину, чей подбородок порос рыжеватой щетиной – продолжал пить пиво и не произнес больше ни слова.

С этим Кловис его и оставил.

Но затем, после этого разговора, когда он попытался дать понять Матильде, что думает о ее сыне, она сказала ему:

– Что ж, Кловис, если ты так хочешь помочь ему, может, возьмешь к себе на работу?

Так и получилось, что он взял его к себе на фирму. Сначала на склад, но потом, когда Бернар отправил окна не тому заказчику, перевел в офис, где у него было меньше возможностей напортачить. Подходить к телефону ему было строго запрещено. И так же строго-настрого запрещено было участвовать в любых денежных операциях. Так что вариантов для него оставалось, прямо сказать, немного. Он принимал почту. И за эту смехотворную работу, выполняемую кое-как, он получал двести пятьдесят евро в неделю.

Кловис вздыхает в голос, пока они стоят на светофоре по дороге в город. Пальцы его постукивают по рулю.

На авеню де Дюнкерк они заезжают заправиться на бензоколонку «Шелл», которая нравится Кловису.

Бернар тем временем глазеет в окно с пассажирского места.

Кловис платит за бензин, V-Power Nitro+^[16], покупает какую-то жидкость для протирания широких ветровых стекол в летнее время, решив, что она ему пригодится, и снова занимает место за рулем «БМВ».

Он пристегивается, когда его племянник произносит первые слова за время поездки:

– Ничего, если я возьму отпуск?

Бесцеремонная прямота вопроса при полном отсутствии какой-либо преамбулы шокирует Кловиса.

– Отпуск? – переспрашивает он почти саркастически.

– Да.

– Но ты ведь только начал.

На это Бернар ничего не отвечает, и Кловис какое-то время тоже молчит, выезжая с заправки. Затем он повторяет:

– Ты ведь только начал.

– Но мне полагается отпуск, разве нет? – настаивает Бернар.

Кловис смеется.

– Меня тревожит твое отношение, – говорит он.

Это замечание Бернар также оставляет без ответа.

Кловис сжимает руль, борясь с накатившей волной возмущения.

Ирония ситуации заключается в том, что он был бы более чем счастлив отпустить племянника куда подальше на неделю или две. А то и – как знать – навсегда?

– Ты уже куда-то собираешься? – спрашивает он.

– На Кипр.

– А, Кипр, – говорит Кловис. – И долго думаешь пробыть на Кипре?

– Неделю.

– Понятно.

Они проезжают в молчании около километра, потом Кловис говорит:

– Я подумаю об этом, ладно?

Бернар ничего не отвечает.

Кловис чуть наклоняется к нему и говорит:

– Ладно?

Бернар, кажется, впервые демонстрирует некоторое смущение.

– Ну, я уже оплатил, понимаете? Путешествие. Такие дела.

Новая волна возмущения, еще сильнее прежней, окатывает Кловиса.

– Что ж, это было довольно глупо.

– В общем, мне нужно ехать, – объясняет Бернар.

– И когда этот твой отпуск?

– Через неделю.

– Через неделю? – произносит Кловис с театральным возмущением.

– Ага.

– Но ты должен был сообщить об этом как минимум за месяц.

– Правда? Вы этого мне не говорили.

– Это написано в твоём трудовом договоре.

– Ну... Я не знал.

– Ты должен читать документы, – говорит Кловис, – прежде чем подписывать.

– Я не думал, что вы этим воспользуетесь...

– Это я, *значит*, пользуюсь?

– Слушайте, – говорит Бернар, – я уже оплатил поездку.

Кловис молчит.

– Вы же не собираетесь всерьез меня останавливать? – спрашивает Бернар.

– Меня тревожит твое отношение, Бернар.

Они приехали на улицу родителей Бернара, безликую улицу, застроенную рядом узких кирпичных домов.

«БМВ» останавливается у одного из них, и сначала выходит Бернар, а затем неспешно появляется Кловис.

Против обыкновения он тоже заходит в дом.

Они застают обоих родители Бернара. Его отец, в рабочем жилете, пьет пиво. Он только недавно пришел. Коренастый, светловолосый, уса́тый – прямо вылитый Астерикс. Он сидит за столом посреди комнаты с одним окном, куда входят непосредственно с улицы, и в тусклом свете читает газету. Мама Бернара в том же помещении у дальней стены, где располагается кухня, моет посуду.

Увидев Бернара, никто не отрывается от своего занятия.

– *Салют*, – говорит он.

Они что-то бормочут в ответ. Отец отхлебывает пиво из коричневой бутылки.

– Андре, – приветствует его Кловис.

Андре поднимает глаза от газеты. Матильда тоже смотрит на него через пространство кухни, залитое неоновым светом, и улыбается. Она рада видеть брата.

Андре не улыбается.

Если счастье в том, чтобы иметь на один евро больше, чем твой зять, то Кловис счастливее, чем Андре, в миллион раз.

А Андре – в жопе.

Кловис входит в комнату.

– Чем обязаны такой чести? – спрашивает Андре.

Матильда интересуется, не хочет ли он чего-нибудь.

– Нет, спасибо, – отказывается Кловис.

Она подходит к нему, щурясь после яркого света кухни, и целует.

– Я оказался в затруднительном положении, – говорит Кловис.

Сестра предлагает ему сесть, но он опять отказывается.

– Я хотел помочь, – говорит он, – я пытался помочь. Но Бернар дал ясно понять, что не нуждается в той помощи, которую я в состоянии

оказать ему.

Услышав свое имя, Бернар, который изучал содержимое холодильника, переводит взгляд на дядю.

– Боюсь, это так, – говорит печально Кловис.

– В чем дело? – спрашивает Андре.

Кловис, глядя на него, отвечает:

– Я увольняю вашего сына. – Чуть повернув голову в сторону кухни, он добавляет: – Да, Бернар, все верно – теперь ты можешь отправляться на все четыре стороны.

Бернар, все так же освещаемый лампочкой открытого холодильника, продолжает смотреть на дядю.

Матильда сразу обращает на Кловиса свои просящие глаза, но тот непреклонен.

– Нет, нет, – говорит он. – Я уже принял решение.

– Я так и знал, – бормочет Андре сурово.

– Что? – обращается к нему Кловис. – Что ты знал?

Через своего знакомого в Торгово-промышленной палате он подыскал для Андре несколько лет назад работу машиниста в «Евростар» – собеседование было чистой формальностью. Но Андре чем-то не устроил график, и он отклонил предложение, чтобы и дальше продолжать валандаться день за днем на линиях между Лиллем и Дюнкерком, Лиллем и Амьеном. Со всеми остановками. По местным веткам. Даже не заезжая в Париж.

– Что ты знал? – спрашивает его Кловис, нависая над столом, где Андре сидит с газетой.

Тот отвечает, прикладываясь к пиву:

– Ты не очень-то хотел помочь, скажешь – нет?

– О, я хотел, – говорит Кловис. – Еще как хотел. Но ваш сын – лентяй. – Он поворачивает голову в сторону кухни и произносит, чуть повысив голос: – Да, Бернар, мне жаль говорить это, но ты лентяй. Ты лишен амбиций. У тебя нет желания совершенствоваться, продвигаться в этом мире...

– Прошу тебя, Кловис, прошу, – продолжает говорить Матильда.

Он кладет руку ей на плечо, призывая к спокойствию:

– Мне жаль, мне правда жаль. Несмотря на то, что говорит твой муж, я действительно хотел помочь. И я пытался. Я делал все, что мог. И я заплачу ему, – эти слова звучат как жест монаршей милости, – за месяц, вместо уведомления.

– Кловис...

– Это все, что я могу сделать, – говорит он. – Что еще я могу? Что вы от меня хотите?

– Дай ему еще один шанс.

– Если бы я думал, что это будет на пользу ему, я бы дал.

Андре что-то бормочет.

– Что?

– Херня, – повторяет Андре отчетливо.

– Нет. Нет, Андре, не *херня*, – говорит Кловис тихо, и его голос дрожит от гнева. – Какая мне-то была выгода от того, что я принял Бернара? Скажи, какая мне в том выгода?

Повисает напряженное молчание.

Затем Кловис говорит с печалью в голосе:

– Мне жаль, Бернар.

Бернар ест йогурт и просто кивает. Он далеко не так расстроен, как его родители.

Вообще-то он ничуть не расстроен. Все, что он понимает, это: 1) ему больше не нужно выходить завтра на работу или вообще когда-либо; 2) он получит тысячу евро ни за что.

А слезы его матери, вот-вот готовые пролиться, и затаенный гнев отца – это давно знакомые ему приметы семейного быта.

Он знает, что между его отцом и дядей существует какое-то ужасное противоречие, какая-то глубинная вражда, однако природа этой вражды за пределами его понимания. Ему кажется, так было всегда. Это просто часть жизни.

Как вечные споры его родителей.

Как раз сейчас начинается такой спор.

Он слышит из своей комнаты под крышей, как они спорят внизу.

Для споров у них есть две темы: деньги (это постоянная проблема) и Бернар.

Они беспокоятся за него, это он понимает. И сейчас они спорят, доходя до криков, из-за этого беспокойства.

Он о себе не беспокоится. Однако *их* беспокойство о нем вызывает у него смутное раздражение; вроде пронзительного воя сирены где-нибудь на улице, прорезающего ночную тишину. Вот так же примерно сейчас слышатся их голоса через два этажа. Они спорят о нем, о том, что он теперь «будет делать в своей жизни».

Для него этот вопрос – полная абстракция.

Он включает видеоигру – стрелялку от первого лица, и косит без числа вражеских монстров.

Через час-полтора ему это надоедает, и он решает пойти к Бодуэну.

Бодуэн также играет в стрелялку от первого лица, только экран у него гораздо больше и дороже, здоровый экран в оправе мощнецких колонок. Его отец, тоже по имени Бодуэн, работает дантистом, а Бодуэн-младший учится на дантиста в университете. Он единственный друг Бернара из университета, с кем он еще поддерживает связь.

Как у всякого зачетного мажора, у него всегда есть нычка первосортной травки – прямо из Голландии, – и Бернар, знающий, где взять, скручивает косяк, пока Бодуэн завершает уровень.

Он говорит:

– Меня уволили.

Бодуэн, будущий дантист, изничтожает полдюжины зомби.

– Я думал, ты работаешь на дядю, – говорит он.

– Ага. Он и уволил меня.

– Вот мудила.

– Мудила.

Бодуэн, не отворачиваясь от экрана, протягивает свою белую руку, чтобы Бернар дал ему косяк. Бернар повинует.

– А мне насрать, – говорит он на случай, если друг думал, что ему не насрать.

Бодуэн делает затяжку и мычит.

– Я получу за месяц, – говорит Бернар не без гордости. – Выходное пособие или что там...

Бодуэна это не впечатляет.

– Да? – произносит он.

– И теперь я точно полечу на Кипр.

Бодуэн передает ему косяк и, не глядя, говорит:

– Я должен тебе сказать насчет этой поездки.

– Что?

– Я не полечу.

– Как это?

– Я не сдал биохимию-два, – говорит Бодуэн. – Нужно пересдать.

– Когда экзамен? – спрашивает Бернар.

– Через две недели.

– Так почему ты не можешь лететь?

– Отец не разрешит.

– Ну и хрен с ним.

Бодуэн смеется, словно одобряя. А затем говорит:

– Нет. Он говорит, это важно – чтобы я не провалил опять.

Бернар, сидящий позади него на одном из татами, разбросанных по всему полу, затягивается косяком. Он чувствует, что его подвели.

– Ты что, серьезно не летишь? – спрашивает он, и голос выдает его обиду.

И что самое паршивое – эту поездку затеял Бодуэн.

Это он нашел где-то в Сети нереально экономный горящий тур с перелетом из аэропорта Шарлеруа на семь ночей в отеле «Посейдон» в поселке Протарас. И это он убедил Бернара (правда, ему не пришлось прикладывать много усилий), что Протарас – это рай для гедониста, что погода на Кипре будет для мая великолепной и что это отличное время для отпуска. Он подпитывал энтузиазм Бернара, пока мечта об этом приключении не сделалась единственной мыслью, помогавшей ему скрасить нескончаемые серые будни в промышленном комплексе.

А теперь он заявляет, глядя на экран перед собой:

– Нет. Серьезно. Я не могу.

И снова его протянутая рука, ждущая косяка.

Бернар молча передает косяк.

– Ну и что мне теперь делать? – спрашивает он через какое-то время.

– Лети один! – говорит Бодуэн, перекрывая грохот динамиков. – Однозначно лети! Почему нет? Я бы полетел.

– Один?

– Почему нет?

– Только чудилы едут в отпуск в одиночку, – говорит Бернар.

– Не глупи...

– Это правда.

– Неправда.

Косяк – точнее, уже едкий окурок – снова переходит к Бернару.

– Очень даже правда, – говорит он. – Я буду чувствовать себя лохом.

– Не глупи, – произносит Бодуэн, заканчивая уровень и сохраняясь. –

Он поворачивается к Бернару: – Думай как Стив Маккуин^[17].

Бодуэн – фанат Маккуина, на стене у него висит постер с ним: американский актер сидит на винтажном мотоцикле, широко расставив ноги и глядя в камеру с прищуром.

– Или как Бельмондо, – добавляет он.

– Без разницы.

– Думаешь, я рад, что не лечу? – спрашивает Бодуэн.

Экран заполняет непривычно огромная и неподвижная эмблема «Уиндоуз».

– Без разницы, – повторяет Бернар.

Пока он с унылым видом сворачивает новый косяк, разминая табак из «Мальборо лайтс» друга, Бодуэн включает фильм «Железный человек – 3», хотя это кино еще только ожидается в кинотеатрах Лилля.

– Видел? – спрашивает он, отпив хороший глоток из бутылки «Эвиан».

– Что это?

– «Железный человек – 3».

– Нет.

– Там Гвинет Пэлтроу играет, – говорит Бодуэн.

– Да, я в курсе.

Они смотрят фильм на английском, поскольку знают его вполне сносно, чтобы понимать большинство диалогов.

Каждый раз, когда на экране появляется Гвинет Пэлтроу, Бодуэн перестает болтать и пускает в вожделении слюни. У него на нее «пунктик», как они говорят. Этого «пунктика» его друг не разделяет – никакого такого бурления гормонов и учащенного дыхания.

– Она ничего, – говорит Бернар.

– Ты, мой друг, человек из рабочего класса.

– У нее же сисек нет, – замечает Бернар.

– То, что ты это говоришь, – смеется Бодуэн, – только подкрепляет мой аргумент. – А затем он добавляет менторским тоном: – Во «Влюбленном Шекспире» видны ее сиськи. И они не такие уж маленькие, как ты, наверное, думаешь.

Бернар мысленно отмечает, что надо бы, придя домой, скачать и посмотреть этот фильм.

Что он и делает, и признает, что друг говорил дело: там действительно просматривается нечто достойное. Он ставит фильм на паузу и, расстегнув ширинку, оценивает это по достоинству.

Глава 2

В четыре утра в понедельник, в автобусе, идущем в аэропорт Шарлеруа, ему грустно, паршиво, очень одиноко. Он встречает рассвет на пустынном шоссе. Солнце бьет по его глазам. Кругом пролегают тени. Он смотрит, щурясь, на проплывающий мимо пейзаж, на игру света и тени. Постепенно в нем нарастает чувство свободы, но когда он видит самолет, висящий низко в небе, уязвленное это опять возвращает его к мысли о том, что впереди его ждет отпуск в одиночестве.

Глава 3

Из аэропорта Ларнаки – он новее и чище, чем Шарлеруа – Бернара и еще дюжину человек забирает микроавтобус, присланный турфирмой, и везет их в Протарас. Пыльный, малопривлекательный пейзаж. Ни признака моря. В автобусе с кондиционером и синими занавесочками, за которыми можно спрятаться от полуденного солнца, он – единственный, кто отдыхает без компании.

Пассажиры понемногу высаживаются и расходятся по отелям.

Он остается в автобусе последним.

Большинство вышли вблизи моря, до которого они доезжают в итоге, перед новенькими белыми отелями, выглядящими как верхняя часть океанских лайнеров.

Но когда Бернар остается один, автобус поворачивает от моря и углубляется в запруженные пешеходами улочки, по сторонам которых выстроились жуткого вида питейные заведения, а затем, миновав внушительный супермаркет «Лидл», выезжает из этого подобия города и едет по засушливому недостроенному захолустью почти без признаков жизни, где и стоит отель «Посейдон».

Отель «Посейдон».

Три этажа побеленного бетона, утыканные одинаковыми маленькими балкончиками. Побитые бетонные ступени, ведущие к коричневой стеклянной двери.

Сейчас самое пекло, на улицах вблизи отеля ни души, солнце бьет отвесно, не оставляя теней. В холле воздух горячий и влажный. Сначала Бернару кажется, что тут никого нет. Затем он замечает двух женщин, притаившихся в теплой полутьме за стойкой.

Он объясняет на английском, кто он такой.

На них это не производит впечатления.

Затем одна женщина берет у него паспорт и ведет его по темным лестницам на следующий этаж, до узкой комнаты с одним окном и двумя кроватями, для которых только и хватает места.

Указав на зловещего вида дверь, проводница произносит:

– Ванная.

И оставляет его одного.

Он слышит неясные голоса из-за стен с разных сторон. Шаги над головой. Потом кто-то чихает.

Он подходит к окну: пустошь, поросшая редкими деревцами и кустарником, стены соседних построек.

И вдаль, на самом горизонте, виднеется синяя полоска моря.

Он стоит, испытывая острое чувство жалости к себе, когда раздается стук в дверь.

На пороге он видит коротышку в пиджаке не по размеру. Но в отличие от женщин в холле тот улыбается:

– Привет, сэр.

– Привет, – говорит Бернар.

– Я надеюсь, вы наслаждаетесь своим пребыванием здесь, – произносит человек. – Я только хотел сказать вам насчет душа.

– Да?

– Пожалуйста, не пользуйтесь душем.

После короткой паузы Бернар говорит:

– Хорошо. – Но затем смутное любопытство заставляет спросить его: – Почему?

Человек, продолжая улыбаться, поясняет:

– Он течет, понимаете? Он течет прямо в холл. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь. Я надеюсь на понимание.

Бернар кивает и говорит:

– Конечно. Хорошо.

– Спасибо, сэр. – И человек уходит.

Оставшись один, Бернар заглядывает в ванную. Это бетонный ящик с унитазом, раковиной, краником в стене над унитазом и трубой с лейкой вдоль стены и затычкой в полу, что являет собой, вероятно, душ. Там же висят таблички с надписями на греческом и, вероятно, русском. Единственное, что Бернару понятно, – это многочисленные восклицательные знаки. Он выключает свет.

Сидя на кровати, он думает, что это все же никуда не годится – жить без душа, и решает поговорить об этом с кем-нибудь.

В холле никого, так что, прождав десять минут, он выходит из отеля и направляется, как ему кажется, в сторону моря.

Помимо душа, еще кое-что вызывает у него беспокойство: он был уверен, что в отеле имеется бассейн. Бодуэн не раз говорил, как они будут «балдеть у бассейна» по вечерам, и даже скинул ему ссылку на фото, на котором было нечто вроде аквапарка – несколько бассейнов с горками и с улыбающимися людьми. И все это, судя по фото, совсем близко к морю.

И здесь опять была загвоздка.

В рекламе отеля указывалось, что он находится в пяти минутах ходьбы

от моря, а Бернар шагает уже минут десять по пыльным дорогам – и дошел только до супермаркета.

На деле путь до моря отнял у него полчаса.

Выйдя на берег, он стоит какое-то время, оглядывая коричневый пляж, заставленный зонтиками от солнца, и волны прибоя, лениво лижущие песок.

Он заходит в паб с британским флагом на вывеске и рекламой английских футбольных матчей, выпивает пинту пива и медленно идет назад в отель. Супермаркет он находит без труда – по всему городку имеются указатели. А дальше ему приходится поплутать по извилистым улочкам, прежде чем он выходит к отелю «Посейдон».

Оказавшись в жарком холле, Бернар подходит к конторке, за которой теперь кто-то есть, собираясь высказаться насчет неисправного душа и бассейна, которого нет.

Из-за конторки его приветствует улыбчивый человечек:

– Добрый день, сэр. Для вас записка.

– Для меня?

– Для вас, сэр.

Человечек средних лет, с аккуратным загорелым лицом, передвигает по стойке листок бумаги Бернару.

На нем написано от руки:

Заходил – вас не было. Я буду в «Волнах» с 5 часов, если хотите пообщаться и решить дела.

Лейф.

Бернар переводит взгляд на улыбающегося человечка с добродушным лицом.

– Вы уверены, что это мне? – спрашивает он.

Продолжая улыбаться, человечек кивает.

Просмотрев записку еще раз, он спрашивает человечка, не знает ли он, где эти «Волны»?

Это рядом с морем, говорит человечек, и объясняет, как добраться.

– Это популярное место у молодежи, – добавляет он.

Бернар благодарит его. Уже пять часов, и он собирается идти, но вспоминает про душ и снова поворачивается к человечку. Он не знает, как лучше сказать, как выразить неудовольствие. И он говорит, помявшись:

– Это... Душ...

Едва услышав слово «душ», человечек говорит:

– Проблема будет улажена завтра.

И он при этом впервые не улыбается. Он выглядит очень серьезным. Его глаза полны сожаления.

– Мне очень жаль, сэр.

– Хорошо, – говорит Бернар. – Спасибо.

– Мне жаль, сэр, – повторяет человечек, на этот раз с извиняющейся улыбкой.

– И еще кое-что, – говорит Бернар, осмелев.

– Да, сэр?

– Есть у вас бассейн?

Лицо человечка становится печальным, почти скорбным.

– В данный момент нет, сэр.

И он пускается в объяснения – что-то связанное с юридическими разногласиями с соседями, – пока Бернар не прерывает его вежливо и говорит, что он заплатил за отель с бассейном, а раз бассейна нет, это неправильно.

Улыбающийся человечек говорит:

– У нас договоренность с отелем «Вангелис», сэр.

Во влажной жаре повисает секундная пауза.

– Договоренность?

– Да, сэр.

– Что за договоренность?

Договоренность заключается в том, что за десять евро в день постояльцы отеля «Посейдон» могут пользоваться бассейном отеля «Вангелис» со всеми удобствами. Человечек протягивает буклет с фотографией аквапарка, и Бернар узнает изображение с веб-сайта отеля «Посейдон».

Бернар почему-то только теперь замечает у человечка усы.

– Хорошо, спасибо, – говорит он. – Во сколько ужин?

– В семь часов, сэр.

– А где?

– В столовой.

Человечек показывает на стеклянную дверь в обрамлении грязно-желтых занавесок в другом конце холла. Рядом стоит пустой пюпитр. В столовой сейчас темно.

– Хочешь потусоваться, а? – спрашивает Лейф, лениво улыбаясь, когда Бернар усаживается перед ним с бутылкой местного легкого пива «Кео».

Бернар кивает и говорит вполне серьезно:

– Конечно.

Лейф, высокий загорелый исландец, всего на несколько лет старше Бернара, оказывается представителем турфирмы.

Он рассказывает Бернару о ночной жизни Протараса. Сообщает о каком-то ночном клубе под названием «Джестерс»^[18] и о тамошнем «счастливым часе».

– И потом еще три коктейля по цене двух с семи до восьми, – говорит он. – Пользуйся. Как я уже сказал остальным, это одно из лучших предложений на курорте.

– Хорошо, – говорит Бернар.

Лейф пьет большущий фруктовый коктейль. Он то и дело упоминает «остальных», так что Бернар начинает думать, что пропустил какую-то общую встречу, о которой ему не сообщили.

Кто эти «остальные»?

– Кебабы, – говорит Лейф так, словно озвучивает заголовок статьи. – Лучшее место – «Поркиз»^[19]. Понял? Это вон там.

Он распрямляет руку, которой только что поглаживал бритый затылок, и показывает пальцем вверх по улице. Бернар смотрит туда и видит оранжевую вывеску «Поркиз».

– Ясно, – говорит он.

Они сидят на террасе паба «Волны», он и Лейф. Внутри бухает музыка. Хотя сейчас только шесть вечера, вокруг уже немало подвыпивших. Где-то неподалеку проходит пивной марафон, слышны возгласы поддержки.

– Там открыто круглосуточно, – говорит Лейф о «Поркиз».

– Ясно.

– И будь осторожен – острый соус действительно острый.

Он произносит это так серьезно, что Бернар принимает за шутку и смеется.

Но Лейф добавляет так же серьезно:

– Это в натуре охрененно острый соус.

А затем допивает свой коктейль.

В том, как он говорит с Бернаром, ощущается легкое пренебрежение. Его внимание все время направлено на что-то другое – он то и дело поворачивает голову, оглядывая улицу, на которой как раз начинается вечерняя толчея, хотя солнце еще светит, прокладывая длинные тени.

– Словом, вот так, – говорит он.

Он производит впечатление человека, легко и часто получающего секс.

В самом деле, то, как расслабленно и вальяжно он держится, заставляет подумать об этом. И это как-то подавляет Бернара. Он слушает его, кивает и потягивает пиво.

– Ты здесь с приятелями? – спрашивает Лейф.

– Нет, э...

– Сам по себе?

Бернар пытается объяснить:

– Я собирался поехать с другом... – Почувствовав, что Лейфу это безразлично, он замолкает.

– Хорошо, – говорит Лейф, глядя в сторону «Поркиз», как будто надеясь увидеть кого-то. Затем поворачивается к Бернару: – На этом я тебя оставлю. Будут какие-то вопросы, дай мне знать, ага?

И он встает.

– Хорошо, – говорит Бернар. – Спасибо.

– Увидимся, – бросает он и уходит.

– Ага, увидимся, – отвечает Бернар, но Лейф его уже не слышит.

Когда он выходит на улицу, заходящее солнце подсвечивает золотистую поросль на его руках и ногах.

Бернар быстро допивает пиво и покидает «Волны», где музыка уже долбит на полную мощность, в ночном режиме. Он идет назад, в отель «Посейдон».

После встречи с Лейфом он чувствует, что ему стало хуже – более одиноко. Когда только присел за столик к Лейфу, он почему-то надеялся, что его ожидает вечер гедонизма или что Лейф хотя бы как-то приобщит его к местной сладкой жизни. То, что Лейф этого не сделал, оставив его на террасе паба допивать пиво в одиночестве, заставляет Бернара почувствовать, что он провалил какой-то тест, возможно, глобального значения.

Это ощущение разрастается во что-то вроде депрессии, пока он шагает по безлюдным улочкам к своему отелю.

Он приходит в «Посейдон» в начале восьмого. В холле душно и темно. Зато дверь в столовую светится как отделение реанимации в больнице. Кажется, окон там нет. Стены обклеены замусоленными обоями. Он садится за столик. Большинство столиков уже заняты – люди низко склонились над тарелками с сероватым супом, слышится только звяканье ложек. Кто-то говорит по-русски. И еще странное гудение, длящееся с полминуты, затем стихающее и снова начинающееся. Официант ставит перед ним тарелку супа. Бернар берет ложку и замечает: на ней что-то налипло. Взяв салфетку – также не первой свежести, – он пытается

соскрести с ложки все лишнее. Монотонно звучит русская речь. Отчистив ложку, Бернар переводит взгляд на суп. Жижга серого цвета не вызывает аппетита, и к тому же она холодная. Он осматривается, словно надеясь увидеть чье-то недовольное лицо. Такого не находит. Но он замечает микроволновку в другом конце помещения, а перед ней очередь людей с тарелками супа. Оттуда-то как раз и раздается гудение. Он берет свою тарелку и встает в очередь.

Перед ним женщина сорока с чем-то лет, низкорослая и очень толстая. У нее светлые волосы и оранжевое лицо с красными отметинами под глазами и на носу. Когда он идет обратно к своему столику, то замечает, что она сидит рядом – женщину таких объемов сложно не заметить. Но еще сложнее не заметить ее спутницу – моложе и даже толще. Эта вторая толстуха – возможно, ее дочь – фантастически необъятна. Бернар с трудом отводит от нее взгляд.

В очереди к микроволновке, после нескольких минут черепаших шажков под монотонное гудение, старшая толстуха обращается к нему по-английски:

- Это возмутительно, скажете – нет?
- М... – только и отвечает Бернар, удивленный ее вниманием к нему. Женщина сильно потеет – в столовой очень жарко.
- Каждый вечер одно и то же, – говорит она.
- Правда?
- Правда, – говорит она и ставит тарелку в микроволновку.

Глава 4

Ивета. Ах, Ивета.

Первый раз он видит ее следующим утром в «Поркиз».

Ночью он совсем не спал и ощущает вялость. Это была, можно сказать, *nuit blanche*^[20]. В отель он вернулся не очень поздно, но дело было не в этом – он выпил несколько коктейлей в одиночестве на облупленной террасе, безуспешно пытаясь завязать разговор с кем-нибудь, потом его обсчитали в баре, и он пошел назад в отель «Посейдон», испытывая унижение и обиду. Вернувшись в свой номер, он попытался заснуть. Но не тут-то было. Хотя отель, казалось, стоял на отшибе, рядом с ним было какое-то заведение, где до самого рассвета грохотала музыка. В самом же отеле всю ночь хлопали дверьми, пели, кричали и шумно сношались со всех сторон.

Только когда сквозь тонкие занавески забрезжил рассвет, наконец установилась тишина.

Бернар, сидя на кровати, взглянул на часы – почти пять, а он совсем не спал.

И тут кто-то стал заводить машины под окном, хотя там не было стоянки.

Должно быть, он заснул примерно в это время, под рокот двигателей и пиликанье сигнализаций, – когда он снова просыпается, на часах десять минут десятого.

Значит, он пропустил завтрак.

Поэтому он вышел на улицу, где уже припекало, отправился на поиски какого-нибудь подходящего места и в итоге оказался в «Поркиз».

В «Поркиз» даже в десять тридцать утра жизнь кипит. Многие из тех, кто ждет в очереди за кебабами, вероятно, только завершают свою ночную программу. Они хрипло переговариваются или, еще потные после танцев под музыку диско, осоловело смотрят на полоску света нового дня на асфальте перед магазином, у входа в который шумно работает аппарат по выжиманию свежего сока.

Бернар присаживается со своим тяжелым кебабом в самом конце стойки, на последний свободный стул.

Рядом с ним, лицом к коричневому зеркальному кафелю в тусовочных нарядах, чересчур оголяющих тело, разместилась группка девушек – они громко смеются за своими кебабами и говорят на непонятном ему языке.

Он пытается обратиться к той, что сидит рядом с ним, – просит ее передать пакет с соусом, а потом спрашивает:

– Приятная была ночь?

А затем:

– Откуда вы?

Неизбежный для Протараса вопрос.

Она из Латвии, как и ее подруги. Бернар не уверен, где находится Латвия. И решает, что это одна из мутных стран где-то в Восточной Европе.

Он говорит ей, что он француз.

Она миниатюрная девушка, с довольно большим лбом и копной светлых волос – дешевая имитация блондинки – у корней волосы темнее. И все же она ему нравится. Ему нравятся ее маленькие руки и плечи, ее почти детские пальцы, держащие кебаб. Капельки пота на кончике носа.

Он представляется:

– Бернар.

Ее зовут Ивета, как она ему сообщает.

– Мне нравится это имя, – говорит он и улыбается.

Она тоже улыбается, и он замечает ее ровные белые зубки.

– У вас очень красивые зубы, – говорит он.

И сразу узнает, что ее отец – дантист.

Не без бахвальства он говорит:

– Я знаю парня, чей отец – дантист.

Она, похоже, проявляет интерес:

– Да?

Все происходит совершенно непринужденно, когда они сидят там и едят кебабы. Непринужденно, почти невольно, он отделил ее от подруг. Она отвернулась от них, обратившись к нему.

– Вам нравится Кипр? – спрашивает он.

Она жует кебаб и кивает.

Он узнает, что она второй раз в Протарасе.

– Может, вы покажете мне, что тут и как? – говорит он легко. – Я ничего здесь не знаю. Я тут впервые.

И она отвечает ему с такой простотой, что он проникается уверенностью: его ждет нечто особенное:

– Хорошо.

– Где вы живете? – спрашивает он.

Она называет какую-то молодежную турбазу, и его наполняет гордость уже от того, что он здесь в нормальном отеле, это придает ему уверенности, и он задает новый вопрос:

– Чем занимаетесь сегодня?

Ее подруги собираются уходить.

– Спим!

Сказав это, она смеется, и это обескураживает его, словно смех намекает на то, что все их общение было для нее не всерьез – что-то незначительное, ни к чему не ведущее. И он хочет ее. Он хочет ее. На ней джинсовые шортики в обтяжку, отмечает он. И сандалии на низком ходу.

– Как насчет потом? – спрашивает он, стараясь не выдать отчаяния.

Вся непринужденность словно испарилась. Испарилась в тот самый момент, когда она собралась уходить, даже не задумавшись о том, что они могут больше не увидеться.

Теперь же она колеблется.

Ее подруги уже уходят, но она еще здесь, колеблется.

– Вы хотите встретиться позже? – спрашивает она серьезно.

– Я хочу увидеть тебя снова.

Она внимательно смотрит на него.

– Мы будем вечером в «Джестерс», – говорит она. – Вы знаете «Джестерс»?

– Я слышал об этом месте, – говорит он. – Но еще не был там.

– Хорошо, – говорит она, продолжая серьезно смотреть на него.

И объясняет ему с ненужными подробностями, как туда дойти, желая убедиться, что он все понял.

– Ясно, – говорит он и снова легко улыбается. – Увидимся там. Хорошо?

Она кивает и спешит к подругам, ждущим у двери.

Он смотрит, как они уходят, затем выдавливает побольше соуса на кебаб и доедает его, не спеша.

Все теперь видится ему в совершенно ином свете. Теперь он, хрен бы его побрал, просто обожает Протарас. Он шагает по солнечной улице, и все кажется ему другим, все радует глаз. Он думает, уж не влюбился ли он, и заглядывает в аптеку рядом с «Макдоналдсом», чтобы купить пачку презервативов – десять штук.

– Привет, друг мой, – говорит он улыбчивому человечку за стойкой в душном холле «Посейдона».

– Доброе утро, сэр. Спали хорошо, сэр?

– Очень хорошо, – отвечает Бернар, даже не задумавшись. – Вчера вы говорили что-то о другом отеле, о бассейне?..

– Отель «Вангелис», да, сэр.

– Где это?

Бернар находит отель «Вангелис», сообщает, что он из отеля «Посейдон», платит десять евро, ему шлепают на руку смазанную печать и показывают, как пройти к бассейну. Он идет по коридору, улавливая запах бассейна, заходит в раздевалку и внезапно попадает в шумный и яркий мир аквапарка.

Он плавает в лягушатнике. Кожа у него молочно-белая после французской зимы. Переходит во взрослый бассейн и проплывает в размеренном темпе несколько метров, а затем встает в очередь за детишками, чтобы скатиться с горки. После этого направляется в волновую секцию, где качается на волнах вверх-вниз, в окружении бликов, еще одна мокрая голова среди многих, и все это время думает об Ивете.

И когда, выйдя из бассейна, он обсыхает, лежа на шезлонге, он продолжает думать об Ивете. Глаза его закрыты. А влажные волосы отливают в рыжину. На его плоской белой груди топорщится кустик рыжеватых волос. Ноги и руки у него длинные и гладкие. Мокрые плавки облепляют его чресла.

Солнце медленно плывет по небу.

В одном из бассейнов, на мелководье, имеется бар с полукруглой соломенной крышей, стулья лишь немного возвышаются над водой. У края бассейна сделаны воротца, через которые бармен может выходить на сухую поверхность, где в холодильнике из нержавеющей стали хранятся напитки.

После полудня Бернар плещется в лягушатнике, думая об Ивете, когда вдруг, повинаясь безотчетному импульсу, он подплывает к бару и садится на один из табуретов. Его ноги в воде кажутся белыми как мрамор. Он заказывает пиво «Кео». И с нетерпением ждет вечера, ждет Ивету. Ему уже не терпится.

Он сидит под соломенным навесом, держа в руке пластиковый стаканчик с пивом, и смотрит на свои ступни с голубыми венами, когда слышит рядом женский голос:

– Здрасьте снова.

Он поднимает глаза.

Это та самая толстуха из столовой, с которой он общался прошлым вечером в очереди к микроволновке. Она вместе со своей еще более объемной дочерью плывет по бирюзовому мелководью в его направлении – и что странно, обе они в платьях, простых платьях на бретельках, влажно льнущих к их пышным формам и колышущихся на воде.

– Здрасьте снова, – повторяет мать, подплывая к табурету рядом с Бернаром.

Ее лицо, плечи и необъятная грудь загорели, тонкое мокрое платье облепляет колоссальную фигуру.

– Здравсьте, – говорит Бернар.

Дочь тем временем медленно, но верно подплывает к соседнему табурету. Похоже, она меньше доверяет солнцу, чем ее мать, – повсюду на ее коже заметна сальная бледность. Только лицо у нее очень загорело.

– Здравсьте, – говорит ей Бернар учтиво.

Его охватывает любопытство – с примесью изумления и жалости, – сможет ли она усесться на табурет. Конечно же нет.

Однако каким-то образом ей это удастся.

Ее мать спрашивает:

– Неплохо тут это, а?

Все еще продолжая смотреть на дочь, Бернар отвечает:

– Хорошо, ага.

– Лучше, чем мы ожидали, должна сказать.

– Хорошо, – снова говорит Бернар.

Когда женщинам приносят заказанный сидр «Магнерс» в запотевших высоких стаканчиках, старшая интересуется:

– Ну а что вы думаете об отеле «Посейдон»?

Судя по ее интонации, сама она о нем невысокого мнения.

– Ничего так, – отвечает Бернар.

– Вы действительно так думаете?

– Ну да, ничего, – говорит он. – Может, там и есть недостатки...

Женщина смеется:

– Это вы верно подметили.

– Ну да, – говорит Бернар. – Мой душ, к примеру.

– Ваш душ? А что с вашим душем?

Бернар объясняет, что с его душем, и добавляет: этим утром улыбчивый человек снова попросил не пользоваться им, но пообещал завтра все уладить.

Женщина поворачивается к дочери:

– Знакомая история, однако. Не так ли? Да?

Дочь, которая пьет сидр через соломинку, молча кивает.

– У нас что-то такое постоянно, – говорит Бернару мать. – Как с этими полотенцами.

– С полотенцами?

– Как-то утром пропали полотенца, – рассказывает она. – Пока мы были внизу, они просто исчезли. Правильно я говорю?

Вопрос обращен к дочери, которая снова кивает.

– И после этого, – продолжает мать, – когда мы просим у них новые, они говорят нам, что мы их, наверно, украли. И говорят, платите сорок евро за новые, а то не вернут паспорта.

Бернар что-то сочувственно бормочет.

У него полный рот пива. И он по-прежнему заморожен телесами дочери – необъятными валиками жира на талии, руками-подушками, с ямочками на месте локтей, несоразмерно маленькой головой...

Теперь ее мать говорит о чем-то другом, о болгарях в соседнем номере:

– Не давали нам спать полночи. Кричали и бог знает что вытворяли. Стены как бумага, нам все было слышно – то есть вообще все. Мы прозвали их *вульгарные болгары*, верно? – Вопрос обращен к дочери. – Знаете, за чем мы их застали? Они воровали еду из столовой.

Бернар смеется.

– На что уж им сдалась эта еда, не знаю. Она ужасная. Ну, вы сами это поняли вчера. Вы их спрашиваете, есть ли у них рыба – мы все-таки у моря, так или нет? – а они приносят консервы с тунцом. Невероятно! А мухи, особенно за обедом... Ничего подобного еще не видела. Так жить невозможно. Нас обеих понос замучил на прошлой неделе.

Бернар, не желая вникать в такие подробности, снова переносится мыслями к Ивете – к ее худым загорелым ляжкам, ее красивым ножкам в сандалиях со стразами. А толстая англичанка продолжает вещать.

Он теперь уверился, что две толстухи – англичанки.

– В какой-то момент мы решили – ну все, хватит терпеть, будем питаться в другом месте, – говорит старшая. – И, значит, спрашиваем представителя, где тут есть приличное заведение, чтобы поесть, так он назвал нам эту «Афродиту». Знаете это место?

Бернар качает головой.

– Ну вот, пошли мы туда в субботу, – продолжает она, – и после того, как я заплатила больше пятидесяти евро за еду и напитки и пошла в туалет, с меня стали требовать еще евро за вход. Меня это вообще не порадовало, и я сказала, что я их клиент. А работница в ответ: ей без разницы, все равно плати. Я говорю, не стану платить и хочу пройти в туалет, так она не пускает. То есть физически проходу не дает. Не пустила. Я сказала, позовите управляющего, и примерно через пятнадцать минут он появляется, говорит, его зовут Ник. И когда я ему объяснила, в чем дело, он просто рассмеялся, рассмеялся мне в лицо. Тогда... Тогда я так разозлилась! Он смеялся мне в лицо. Только представьте. Не подходите близко к этой «Афродите».

– Хорошо, – произносит Бернар.

– Кипр мы любим, – говорит она, поерзав на табурете. – Каждый год тут бываем. Верно? Я Сандра, кстати. А это Чармиан.

– Бернар, – представляется Бернар.

Так они сидят и выпивают два часа, пока тень от отеля не начинает накрывать их. Они прилично набрались. И тут Бернар, чьи мысли все время витали вокруг Иветы и грядущего вечера, замечает, что ему пора идти.

А женщины заказывают еще пару «Магнерс» – уже четвертую, если не пятую пару – и Сандра говорит:

– Тогда увидимся за ужином.

– Хорошо, – говорит Бернар, шагая вброд через бассейн.

Через несколько минут, когда принимает душ, он уже не помнит о них.

Когда он просыпается, уже темно. Он в своей комнате в отеле «Посейдон». В маленькой комнате очень жарко, и где-то рядом грохочет музыка.

Было около шести, когда он пришел из отеля «Вангелис» с легкой головной болью и решил ненадолго прилечь перед ужином. Должно быть, он крепко заснул. Бернар быстро встает и смотрит на часы, боясь, что уже слишком поздно, чтобы идти искать Ивету в «Джестерс». Сейчас только десять, и он снова ложится. Он сильно потеет в душной закрытой комнате. Прошлым вечером Бернар пробовал включить кондиционер, но он не работал.

Он заходит в ванную и старательно моется водой из-под крана.

Свет в ванной такой слабый, что Бернар едва видит в зеркале свое лицо.

Затем он наводит порядок, насколько это возможно. Ведь он надеется, что скоро в этой комнате окажется Ивета, и он не хочет, чтобы она видела его разбросанные вещи.

Довольно долго он выбирает, что надеть, и останавливается на модной белой рубашке, откладывая поло в горизонтальную полоску на другой вечер. Он оставляет расстегнутыми три верхние пуговицы, чтобы была видна курчавая растительность на его груди, и роется в чемодане в поисках пробного флакончика «Эрменеджильдо Дзенья» для мужчин, который прилагался к одному журналу в офисе его дяди. Он выливает на себя примерно половину, а затем, придиричиво обнюхав запястья, выливает и остаток.

Довольный собой, Бернар принимается за волосы и зачесывает непослушную копну назад, непривычно открывая низкий лоб, после чего он фиксирует волосы щедрой порцией ароматного геля.

В неверном свете ванной он тщательно оглядывает себя.
Застегивает третью пуговицу на рубашке.
Снова расстегивает.
И опять застегивает.
Его лоб бледнее щек и носа, и ему это не нравится.
Он пытается начесать волосы на лоб, но результат нравится ему еще меньше.

Наконец, уже злясь на себя, он пробует зачесать волосы обратно.
И все равно что-то ему не нравится, и он думает об этом, спеша по ступенькам в холл, и выходит в ночь, распространяя вокруг аромат «Дзеня».

Уже почти одиннадцать, а он еще ничего не ел. Не то чтобы он голоден – ничего подобного, просто чувствует, что надо бы «заморить червячка».

Он заходит в «Поркиз» и съедает часть кебаба, буквально через силу. Он чуть ли не дрожит от возбуждения и от предвкушения. Чтобы успокоить нервы, он выпивает коктейль – водка и «Ред Булл» – и вспоминает, как легко они общались утром и как подробно она объясняла ему дорогу до «Джестерс» – прямо-таки нарисовала карту. Это помогает.

Он оставляет недоеденный кебаб и направляется по извилистым улицам к «Джестерс».

Найти это заведение не составляет труда – он просто следует за группкой горланящих песни юнцов без рубашек до самого фасада с навесом, отчетливо выделяющегося в адском отсвете неоновых ламп. Неоновый шутовской колпак с бубенцами. Очередь подвыпивших гуляк у крыльца.

Пять евро за вход – и он внутри.
Высматривает ее повсюду.
Перемещаясь в мигающем свете под грохот музыки, он высматривает ее.

Это место как сплошная масса плоти. Тела, мелькающие в темноте. Можно искать всю ночь, думает Бернар, но не найти ее.

С дорожным пивом «Бекс» в руке он прочесывает зал с нарастающим отчаянием. Впервые его посещает мысль, что ее здесь может просто не быть.

Пиво взвинчивает его нервы, и он продирается сквозь безликую толпу тусовщиков.

Разгоряченные девицы вертят задницами на подиуме.
На них глазеют снизу ребята в мокрых от пота футболках. Он тоже

вместе с ними заглядывает девицам под юбки, а затем видит рядом знакомое лицо, и его захлестывает адреналин – ему кажется, что это одна из ее подруг, которых он видел утром, она проходит мимо и удаляется.

Он следует за ней. Его глаза приклеились к ее оголенной спине, поблескивающей бисеринками пота, он прокладывает путь сквозь колышущиеся тела.

И она ведет его к Ивете. Она приводит его к Ивете. Он видит Ивету в круге света, когда музыка взвивается вверх. Она его не видит. Ее глаза закрыты. Она в мужских объятиях, и губы этих двоих сливаются.

И тогда весь его мир рушится.

Глава 5

Следующий день, отель «Вангелис». Бернар сидит на табурете, наполовину под водой, в том самом баре, пьет пиво «Кео» и впитывает солнце. От него еще пахнет «Эрменеджильдо Дзенья» для мужчин. Он был рад появлению Сандры и Чармиан около часа назад. Они устроились рядом с ним, водрузив телеса на такие же табуреты, и Сандра ведет разговор. Она рассказывает, как мужчина, которого она все время называет «отец Чармиан», умер чудовищной смертью, упав в чан с расплавленным цинком, – он работал в какой-то промышленной компании – и как это подкосило ее. Потягивая «Кео», Бернар отмечает, что она, похоже, отнеслась не менее серьезно и к его рассказу о том, как он увидел девчонку, с которой только познакомился вчера, в объятиях другого мужчины в ночном клубе.

Он рассказал им об этом, уже порядком захмелев и все еще ощущая усталость от ночных скитаний по замусоренным улочкам Протараса. Он понял, что ему хотелось выговориться. А когда он закончил свой рассказ, Сандра вздохнула и сказала, что понимает его чувства, и рассказала ему о смерти своего мужа.

Было ужасно видеть это в «Новостях» – она рассказывает ему, как это неприятно, когда незнакомые люди говорят об этом с экрана на местном телеканале.

– И самое страшное, – говорит она, – полагают, он был *жив* еще двадцать секунд после того, как упал туда.

– Когда это было? – угрюмо спрашивает Бернар.

– Девять лет назад, – отвечает Сандра и опять вздыхает. – И мне не хватает его каждый божий день.

Бернар допивает «Кео» и отдает пустой стакан бармену.

– А чем вы занимаетесь, Бернард? – спрашивает его Сандра, произнося его имя на английский лад.

Он рассказывает, как работал на своего дядю, пока его не уволили.

– А почему он вас уволил? – интересуется она.

Когда он объясняет ей, в чем было дело, она говорит:

– Просто задрот какой-то.

– Я не знаю, – говорит он, – что значит «задрот».

– Задрот? – Сандра смеется и обращается к Чармиан: – Как бы ты объяснила, что значит «задрот»?

– Может, идиот? – предполагает Чармиан.

– А что это значит буквально?

– Буквально?

– Да.

– Ну, это как дровича, да?

Сандра смеется и говорит:

– А как мы это объясним Бернарду?

– Я не знаю.

Сандра поворачивается к Бернару:

– Буквально это тот, кто играет сам с собой.

– Ясно.

– Вы понимаете, о чем я. – Сандра хитро улыбается.

Чармиан, похоже, смущена, ее лицо заливают краской, и она отворачивается от них, потягивая через соломинку сидр.

– Думаю, да, – говорит Бернар, сам испытывая смущение.

– Но, вообще, это просто значит «идиот», кто-то, кто нам не нравится.

– Тогда он задрот, мой дядя.

– Так и мне кажется, – говорит Сандра, а затем обращается к Чармиан: – Можешь представить? Уволить племянника только за то, что он собрался в отпуск!

Чармиан кивает и бросает быстрый взгляд на Бернара.

Чувствуя их участие, он рассказывает им о своем дяде больше – о том, как тот живет в Бельгии, чтобы платить меньше налогов, как он...

– Так откуда вы, Бернард? – спрашивает Сандра.

– Из Лилля.

– А где это?

– Это вроде бы рядом с Бельгией, да? – вставляет Чармиан несмело.

Бернар кивает.

– А ты откуда знаешь? – удивляется Сандра.

– «Евростар» проезжает через него иногда, – отвечает Чармиан. – Разве нет?

Вопрос обращен как будто к Бернару.

– Ну, да, – только и говорит он и отворачивается к воде, глядя на солнечные блики.

– А мы из Нортгемптона, – говорит Сандра. – Он знаменит своей обувью.

Позднее они вместе плавают. Обе леди по-прежнему в своих просторных платьях, вздымающихся на воде, а Бернар, двигаясь более

свободно, то плавает кролем, то переворачивается на спину и щурится от солнца, пока по лицу стекает хлорированная вода. Сандра подбадривает его сделать стойку на руках на мелководе. Еще не совсем протрезвев, он соглашается. Вернувшись в нормальное положение, он спрашивает, как у него получилось, и Сандра кричит ему, чтобы в следующий раз он держал ноги прямо, а Чармиан смотрит на него, бултыхаясь на глубине, где ее ноги касаются синего кафеля. Он снова делает стойку, с трудом выравнивая ноги в длинных мокрых плавках. Леди аплодируют. Чувствуя себя победителем, он ныряет, погружаясь в беззвучный синий мир, теряя привычную опору и шаря руками по кафелю. Он погружается глубже, молотя ногами по воде. Легкие работают в полную силу, когда он отталкивает руками кафель. К лицу приливает кровь. По его телу струятся пузырьки воздуха, от ноздрей и дальше. И вот он снова вдыхает воздух, его руки по самые плечи еще в прохладной воде, насыщенной химикатами, она стекает по рыжеватым прядям его волос, налипших на глаза. Его слегка подташнивает. И все из-за пива... Секунду он боится, что его сейчас вырвет.

И тогда он замечает спасателя, стоящего у края бассейна, так что его тень ложится на воду. Он говорит что-то Сандре и идет обратно на свое место на наклонной лестнице, откуда озирает бассейн, как судья в теннисе.

– Нас пожурили, – говорит Сандра, лениво покачиваясь в воде по шее.

Над водой остается только ее блондинистая, стриженная «под горшок» голова – лицо, с внушительной челюстью, загоревшее до красноты.

Бернар не уверен, что правильно понял ее. Его еще слегка подташнивает, и голова чуть кружится.

– Что?

– Нас пожурили, – повторяет она.

Бернар, стоя на четвереньках в воде, тупо смотрит на нее и начинает замерзать от неподвижности. Он довольно костляв. На спине видны все позвонки. Сандра еще что-то говорит ему, ее голос звучит неразборчиво...

– Сказали перестать дурачиться, – долетает до него.

И она уплывает – медленно, очень медленно ее голова удаляется по воде.

Поверхность воды, взбаламученная его выкрутасами, постепенно выравнивается и успокаивается.

Подурачившись, они лежат под солнцем на шезлонгах. Сандра еле уместается на своем. А Чармиан приходится сдвинуть два. Бернар ей помогает. Затем сам молча ложится на шезлонг и закрывает глаза. Время близится к вечеру. Солнце размеренно шпарит. Сандра и Чармиан, лежа во

влажных платьях, курят и говорят о еде. Бернар их почти не слушает.

Затем Сандра обращается к нему:

– Бернард!

Он открывает глаза и видит, что они обе смотрят на него.

Чармиан, однако, быстро отводит взгляд.

– Мы собираемся сегодня поужинать не в отеле, – говорит Сандра. – Хотите с нами?

Они встречаются в холле. Бернар разговаривает с улыбочным человечком – тот обещает, что его душ непременно починят завтра, – и появляются леди. Возникает *некоторая* заминка. В отличие от предыдущего вечера Бернар на этот раз не стал заниматься своим внешним видом. А вот обе леди, напротив, прихорошились. Он сразу это замечает. Прежде всего щедро наложенный макияж, но главное – Сандра в платье на бретельках, пусть и не сильно отличающемся от ее купального наряда, но его бело-зеленый растительный орнамент сглаживает ее чересчур пышные формы, а Чармиан в джинсах и блузке с кружевами.

– Ну, все в сборе? – говорит Сандра, и Бернар поворачивается к ним.

Улыбчивый человечек тактично провожает их взглядом.

Сначала они идут молча мимо недостроенных зданий рядом с отелем. Вечер приятно теплый – в ночное время здесь еще бывает чуть прохладно в это время года. Но несмотря на то, что они идут под уклон, Чармиан вскоре начинает обливаться потом.

– Это недалеко, – говорит Сандра, тяжело дыша.

– А что... что это за место? – спрашивает Бернар.

– Типично греческое, – отвечает Сандра.

И вот они перед длинным одноэтажным строением густо-красного цвета, стоящим на засушливом пустыре у дороги. Оно все облеплено вывесками.

В просторном помещении работает кондиционер, и их проводят к столику. Звучит музыка – последние международные хиты, а на экранах, висящих на стенах, американцы играют в гольф. Время еще раннее, так что посетителей пока немного. Официантка приносит им большие ламинированные меню, и они молча их изучают. В меню есть фотографии всех блюд – неприятно реалистичные, словно из полицейского досье.

После нескольких глотков вина с легким привкусом сосновой хвои, заказанного Сандрой, атмосфера за столом становится непринужденной.

– Нравится мне здесь, – говорит Сандра.

Затем подают долму на тарелке из нержавеющей стали, с оливковым маслом,

блюдо с тарамасалатой^[21] и хумусом, а также тарелку с теплой питой.

Бернар подливает себе этого странного вина и «освежает» бокалы остальным. Он рассказывает им, как его обсчитали в баре в первый вечер, как ему пришлось заплатить втридорога за напитки для двух размалеванных дамочек важного вида. Сандра вспомнила, как их попробовал обсчитать таксист, когда они ехали тем вечером от отеля «Вангелис», а Бернар в ответ рассказал им свою историю неприкрытого грабежа. Подчищая остатки тарамы последним кусочком питы, Сандра говорит:

– Вы не должны мириться с этим, Бернар.

– Да ладно, – отвечает добродушно Бернар. – Такая хрень случается.

И отпивает еще вина.

– Вы *не должны* мириться, – говорит она. – Сотня евро?

– Да.

– Я вам скажу, что нам нужно сделать, – говорит она и озирается в поисках официанта. – Когда мы здесь закончим, то пойдем туда и вернем ваши деньги.

Бернар тихо смеется.

– Я не шучу, – настаивает Сандра. – Мы пойдем туда и вернем ваши деньги. Нельзя спускать им это.

Бернар вздыхает:

– Они не вернут нам деньги.

– Вернут, – говорит Сандра. – Когда мы скажем, что идем в полицию, вернут. Помнишь, как было в тот раз в Турции? – Вопрос обращен к Чармиан, и та кивает.

За весь вечер Чармиан не произнесла и двух слов и съела без аппетита четыре или пять порций долмы. Она как будто витала в мыслях где-то далеко. А Сандра поворачивается к Бернару и рассказывает ему про турецкое происшествие:

– Этот тип попытался обчистить нас на улице, когда мы меняли деньги. Но не на тех нарвался...

И тут приносят основное блюдо.

Бернар думает, что этого было бы достаточно человек на восемьдесят.

Блюда с жареным барашком, курицей, рыбой. Большая тарелка риса, жареная картошка на отдельных тарелках для каждого и гора греческого салата, которым можно накормить целую семью. И еще кувшин вина, хотя и первый опустел только наполовину.

Леди принимаются за еду и при участии Бернара считают всю эту гору

меньше чем за полчаса.

Сандра разливает остатки вина.

Бернар напился. Насколько сильно, он понял только в туалете – его сияющая физиономия в зеркале уставилась на него с жуткой невозмутимостью, а затем показала язык.

Остальные сохраняют спокойствие, только Сандра покраснелась больше обычного.

Постепенно заведение заполняется, и музыканты начинают играть.

Когда принесли счет, Сандра стала препираться с официантом – позвали управляющего – и, когда спор был улажен, Сандра расплатилась, и они ушли.

Бернар попробовал предложить денег, и на улице, когда они идут по тротуару, предлагает снова. Он достает бумажник и говорит:

– Так, это...

– Наверное, я воспользуюсь туалетом, – говорит Сандра, не слыша его, и оставляет их вдвоем с Чармиан.

Он убирает бумажник. Чармиан на него не смотрит. Она отворачивается в другую сторону, как будто ей не хочется, чтобы кто-то подумал, что они вместе. Он пытается понять, не обидел ли он ее чем-то.

Он стоит пьяный и смотрит на нее – на ее руки, словно подушки, пришитые к платью, на ее нереально огромные ноги в джинсах.

Когда возвращается Сандра, он все так же стоит и смотрит на Чармиан, отвернувшуюся от него.

В итоге он так и не может найти этот бар. Они потратили не меньше получаса, обходя ночной Протарас, заглядывая на такие улочки, где нет даже неоновых светов. В какой-то закусочной они съедают пиццу, устроившись в пластиковой кабинке. Потом заглядывают в одно место с живой музыкой – там играет «традиционный» ансамбль с цитрой^[22] и медленно танцуют пожилые пары под зеркальным шаром. Бернар, уже совершенно пьяный, приглашает на танец Сандру, и чувствует под своей ладонью необъятную массу ее горячего и влажного тела, и наступает ей на ноги. Потом он приглашает Чармиан, но та только качает головой.

– Ну, потанцуй, – говорит Сандра, обильно потев, ее декольте, красное от загара, так и лоснится.

Чармиан опять отрицательно качает головой.

– Уверена? – спрашивает Бернар, тяжело дыша.

Но Чармиан не обращает на него внимания, и Сандра говорит ей:

– Не будь такой грубой!

И смотрит на Бернара, словно извиняясь и испытывая раздражение. Они опять садятся за столик и допивают красное вино.

Последнее заведение, куда они заглядывают тем вечером, это «Поркиз», чтобы поесть кебабов. Бернар уже не может есть, он только смотрит. В его до предела затуманенном сознании Чармиан обретает странное очарование. Он сидит и смотрит, как она поедает кебаб, и в нем разгорается огонек влечения к ней. Это его удивляет. Хотя... лицо ее довольно миловидно, и нет никакого изъяна в ее голубых глазах под длинными ресницами...

Он отводит взгляд, пытаясь понять, что это значит. И что теперь ему с этим *делать*, если вообще нужно что-либо делать?

Он продолжает думать об этом в такси, которое везет их обратно в «Посейдон». Он сидит впереди, рядом с водителем. Его одолевает нелепый вопрос: должен ли он что-то предпринять сейчас?

Ведь рядом сидит ее мать.

Такси останавливается у выщербленных ступеней отеля «Посейдон».

С трудом, при помощи Бернара, обе леди выгружают свою исполинскую плоть из салона.

И вот они в холле.

И он едва не говорит Чармиан что-то на предмет того, не желает ли она осмотреть его комнату.

Но момент упущен.

Сандра уже поцеловала его на прощание.

Он снова один в своей комнате, которая начинает крениться, стоит ему закрыть глаза.

Он пытается подрочить, но он так пьян, что у него не получается.

Глава 6

На следующее утро он лежит в кровати, одолеваемый похмельем, пытается сложить в единую картину фрагменты прошлого вечера и смутно чувствует, что едва не совершил какую-то несусветную глупость.

Он открывает глаза.

Солнечный жар давит сквозь задернутые занавески, и уличный шум вторгается в болезненную тишину темной маленькой комнаты. Так он лежит большую часть утра, ощущая дурноту при малейшем движении.

Потом он снова засыпает, а когда просыпается, ему уже лучше.

Он может двигаться.

Сидеть.

Стоять.

Отодвинуть край занавески и прищуриться от света яркого, ослепительно-белого дня, от пустой раскаленной земли внизу.

И от безжалостного вопля голубого неба.

Сейчас без десяти двенадцать, почти время обеда, а он как раз голоден.

Спускаясь по прохладным ступеням, он испытывает странное ощущение, словно все еще спит.

Он чувствует себя так, словно по-прежнему в постели и ему просто снится, что он спускается по прохладным ступеням.

Столовая.

Неясные голоса – русских, болгар.

Шведский стол с залежалой, побуревшей едой.

Очередь у микроволновки.

А вот и они – Сандра и Чармиан – за своим постоянным столиком, и он теперь садится к ним.

Когда он подходит, чувствуя себя невесомым, как будто парит над грязноватой ковровой дорожкой, Сандра говорит:

– Мы не видели вас за завтраком, Бернард.

На ней почти не сказались вчерашние возлияния, разве только ее красная кожа слегка поблекла, а голос стал чуть резче.

Чармиан, сидящая рядом, заметно бледнее.

– Я э... – мямлит Бернар, – спал.

– Прошлая ночь была для вас слишком?

Бернар издает слабый смешок. Повисает короткая пауза. Мысль о еде уже не кажется ему привлекательной. Но он произносит:

– Хорошо посидели.

– О да, не то слово, – говорит Сандра.

Она уже поела – перед ней на столе пустая тарелка. Чармиан тоже доедает.

Бернар открывает банку фанты и выливает почти всю в невымытый стакан.

– Вы ничего не будете? – спрашивает Сандра, поводя своими светлыми бровями в сторону шведского стола.

– Может, потом, – говорит Бернар.

Ему начинает казаться, что он зря спустился сюда. Его самочувствие не настолько в норме, как он думал. Вкус фанты, маленький глоток – первое, что попало ему в рот после вчерашнего – разубеждает его в этом.

Чармиан резко встает.

Сейчас ему сложно представить, что прошлым вечером он собирался что-то предпринять в ее отношении.

Он вполне уверен, что ничего такого не сказал и не сделал. Но даже сама мысль об этом вызывает у него смущение.

Она ненадолго подходит к шведскому столу. Он мельком отмечает ее медвежью походку, пока она пробирается между столиками. И видит, что другие тоже смотрят на нее.

А затем слышит голос Сандры:

– Не знаю, поняли вы или нет, но вы на самом деле нравитесь Чармиан.

У Бернара снова возникает чувство, что он все еще в постели наверху и ему это просто снится.

– Не знаю, поняли вы или нет, – повторяет Сандра, когда он поворачивает к ней свое бледное лицо с выражением полного непонимания. – Поняли?

Бернар качает головой.

Сандра отводит взгляд на несколько секунд. Слышно, как русские смеются над чем-то.

И тогда Сандра говорит:

– Вы любите секс, Бернард?

Бернар, пытаясь овладеть собой, отпивает фанты.

– Секс? – произносит он. – Да.

– Разумеется. – Сандра смеется. – Слова истинного француза.

Он не вполне понимает, что она хочет этим сказать, и не уверен, что

правильно расслышал.

– Простите, – говорит он.

– Почему бы вам не пригласить Чармиан в свою комнату после обеда? – говорит она. – Думаю, ей бы это понравилось.

Бернар, озадаченный таким поворотом, переспрашивает:

– В мою комнату?

– Да. Думаю, ей бы это понравилось.

Больше он не успевает ничего спросить – возвращается Чармиан. Садится на свое место, не говоря ни слова и не глядя в сторону Бернара, и с жадностью ест очередную тарелку разогретого в микроволновке блюда.

Они уже в холле, когда он говорит ей:

– Хочешь посмотреть мою комнату?

Эти слова, такие простые и конкретные, как будто сами выскочили у него изо рта. Он не собирался произносить их или вообще что-либо.

Она смотрит на мать.

– Я думаю ненадолго прилечь, – говорит Сандра.

Она начинает подниматься по лестнице.

Через несколько секунд, ничего не говоря, они следуют за ней.

Они идут за ней до площадки второго этажа. Она останавливается перевести дыхание и кивает им на прощание, и они оставляют ее в тусклом свете из замызанного окошка и поворачивают в темный коридор – сначала Чармиан, а за ней Бернар.

Они останавливаются в полутьме перед его комнатой. Он открывает дверь и пропускает Чармиан вперед.

Входя за ней, он понимает, что запашище в комнате нехилый. Занавески задернуты, и повсюду разбросана его грязная одежда.

– Извини за беспорядок, – говорит он, закрывая дверь.

– У нас то же самое, – сообщает она.

– Да?

Они стоят рядом в затхлом воздухе. У него опять возникает чувство, что это ему только снится. Она необъятна. И эта необъятность только усиливает ощущение нереальности.

– Так чего тебе хочется? – спрашивает она, продолжая осматривать комнату, окидывая взглядом открытый чемодан с одеждой на застеленной кровати, на которой Бернар не спит, ближе к двери.

Он пожимает плечами, как будто не представляя, чего ему хочется, как будто он даже не думал об этом.

– Не хочешь принять душ? – спрашивает она, взглянув на него без

заметного энтузиазма.

– Душ не работает.

– А, ну да, ты говорил.

– Да.

Они стоят молча какое-то время, потом она выдает:

– Хочешь увидеть мои сиськи?

Поколебавшись секунду, он отвечает:

– Да.

В тусклом свете она освобождается от верхней одежды – блузки с рюшами, почти такая же была на ней вчера – и снимает огромный лифчик. Сиськи стекают вниз. Рыхлые, в голубых прожилках, каждая размером почти с голову Бернара, они покоятся на валиках жира. Соски бледно-розовые, очень светлые, размером с блюдце.

Странный миг – он просто стоит и смотрит, а она ждет.

И вдруг он отмечает у себя эрекцию.

Она тоже видит это и, плавно опустившись перед ним на колени, расстегивает его ширинку.

Во рту у нее мягко и тепло.

– А ты это умеешь, – говорит он через какое-то время.

Она молча пожимает плечами. Потом вытирает рот и немного отстраняется. Подергав и покрутившись как следует, она стягивает с себя джинсы.

Ноги у нее в отличие от ног других людей, когда прежде всего замечаешь их длину, поражают размерами по горизонтали. Колени угадываются с трудом. Когда ее кружевные панталоны сползают вниз, он видит в самой глубине наползающих друг на друга белесых масс плоти рыжий кустик волос.

Она берет его за руку и подводит к кровати, на которой он спит, к этой затхлой куче простыней.

Он садится на самый край и неловко снимает джинсы и рубашку поло в поперечную полоску.

Теперь они оба голые, и у него такой стояк, что ему самому неудобно. Почти физически. Она пробует улечься на спину и расставить ноги. Ей нужно расставить ноги так широко, как только возможно, иначе наползающие со всех сторон массы просто не дадут ему попасть в нее. Однако на односпальной кровати, стоящей у стены, это не представляется возможным. Она едва уместается на ней даже со сдвинутыми ногами. После нескольких безуспешных попыток Бернар говорит:

– Знаю. Мы положим матрас на пол, хорошо?

Они встают и начинают стаскивать матрас, который прижимает член Бернара к животу.

И вот матрас на коричневой плитке пола.

Она стоит голая в неясном свете, проходящем сквозь занавески, напоминая огромную оплывшую свечу. И она вся в его власти – эта округлая, текучая грудa плоти. Эти бледно-розовые соски размером с его лицо. Ее так много, так нереально много, думает он, глядя на нее, и неожиданно понимает, как сильно хочет ее, – эта женщина так же необъятна, как сама его потребность в обладании, если такое вообще возможно, во всех мыслимых проявлениях. Хотя в данный конкретный миг эта потребность кажется ему бесконечной. Его член покачивается, его легкие втягивают воздух и выпускают, и как будто ничего другого в мире просто нет – и ничего больше не нужно.

Она укладывается на матрас.

И они начинают.

Они продолжают до самого вечера, пока рассеянный занавесками свет все больше слабеет. Потом они засыпают на какое-то время, а когда он открывает глаза, то видит, как она одевается. Она уже натянула блузку, но с матраса на полу все равно кажется почти голой.

– Сколько сейчас времени? – спрашивает он.

– Семь, – отвечает она. – Ужинать идешь?

Она отодвигает занавеску, впуская в комнату вечерний свет, и, осмотревшись, находит свои необъятные панталоны. Тяжело усевшись на вторую кровать, она натягивает их.

– Не думаю, – говорит он.

Он лежит голый на матрасе на спине, совершенно выдохшись после, кажется, пяти – он уже сбился со счета – оргазмов, и чувствует, что хочет спать и не способен шевельнуться. Сама мысль о том, чтобы одеться сейчас и пойти в столовую, невыносима.

– Понимаю, – говорит она, взясь теперь со своими джинсами.

Одевшись, она подходит к двери и спрашивает:

– Тогда увидимся позже?

– Да, увидимся, – отвечает Бернар.

Оставшись один, он продолжает лежать на матрасе, чувствуя кожей тепло воздуха и разглядывая узор из трещин на потолке, пока темнота не скрывает его.

Сквозь окно долетают звуки с улицы

шумное жужжание мопеда
обрывок музыки
далекие, очень далекие крики

Глава 7

За обедом на следующий день он сидит в смущении. А женщины держатся как обычно. Чармиан занята едой, она почти не говорит и почти не смотрит на него. Разговор ведет Сандра.

– Вы не были в бассейне утром, Бернард, – замечает она.

Он говорит, что был на пляже.

– И как – понравилось?

Он говорит, что да.

– Мы не очень любим море, верно? – спрашивает она.

Чармиан отвечает, старательно обгладывая куриную ногу!

– Ну, вроде.

– Я боюсь акул, – признается Сандра.

– Думаю, здесь с этим не должно быть проблем, – говорит Бернард.

Но Сандра стоит на своем:

– О, тут есть акулы. И потом, у меня всегда полные трусы песка. Везде песок. Вы понимаете, о чем я? Даже дома нахожу его потом. Через несколько *недель*.

– Ясно, – говорит Бернард.

– Вам уже наладили душ? – интересуется она.

– Нет.

– Нет? Это же просто неуважение. Вы должны быть настойчивее, Бернард.

– Да, пожалуй, – соглашается он.

– Вы здесь уже почти неделю, а его так и наладили. Это просто неприемлемо.

– Да.

Бернард опять несмело смотрит на Чармиан. Она как будто избегает его взгляда.

– Сегодня вечером у нас конная прогулка, – вдруг сообщает Сандра.

– Конная прогулка?

– Точно. Наш гид все устроил.

– Тут бывают конные прогулки?

– Очевидно.

После обеда, когда они стоят в холле, он обращается к Чармиан:

– Мы потом увидимся? Ты придешь ко мне в комнату?

Несмотря на измотанность после вчерашнего, он, к своему удивлению, обнаруживает, что хочет еще.

Она жует кукурузный батончик – такие она все время носит в сумочке. Секунду Чармиан смотрит на него, словно не понимая, о чем это он, и говорит:

– Ну, да, хорошо.

– Хорошо, – кивает Бернар, довольный собой, – увидимся позже.

Он бросает быстрый взгляд на Сандру – так неловко говорить об этом при ней. Хотя она как будто их не слышит. Она стоит, обмахиваясь журналом, и смотрит в сторону двери из коричневого стекла.

Время после обеда ползет медленно. Бернар валяется на разбитом, грязном матрасе на полу у себя в комнате. Подходит к окну. Ничего интересного. Единственное, о чем он может думать, – это чем они займутся, когда придет Чармиан.

И наконец часов в пять раздается стук в дверь.

В одних трусах он открывает дверь.

Это не Чармиан.

Это ее мать. Блондинистая стрижка «под горшок», красное лицо, еще более красное декольте.

– Привет, Бернард, – говорит она.

Он инстинктивно почти закрывает дверь, оставляя только узкую щель, в которой видно его обескураженное лицо. Он не знает, что сказать. Даже не может выдать приветствие.

– Ну, что, могу я войти? – спрашивает Сандра.

– Мне нужно... Нужно одеться.

– Не волнуйтесь, все в порядке, – говорит она повелительно. – Ну же, впустите меня.

Он открывает дверь и отступает в сторону, пропуская Сандру, которая осматривает грязную затхлую комнату с явным интересом.

На ней тонкий сарафан, скрывающий ее пропорции.

Кожа лица у нее сухая, обветренная, особенно вокруг глаз.

– Наша комната такая же, – говорит она.

Бернар стоит в одних трусах.

– У вас встревоженный вид, Бернард, – замечает она, оглядывая матрас, косо лежащий на полу. – Вам не о чем тревожиться.

Ее глаза задерживаются на матрасе, как бы изучая его, а затем она говорит:

– Я слышала о вас много хорошего, Бернард.

Он озадачен таким поворотом.

– О, да, много хорошего.

– Чего именно? – спрашивает он с тревогой.

Выражение его лица заставляет ее рассмеяться.

– Ну, а сами вы как думаете? Вы же знаете, зачем я здесь?

И с этими словами она пристально смотрит ему в глаза.

Через несколько секунд до него доходит.

– Ну, вот, – говорит она, сразу сообразив, что он понял.

Она улыбается, показывая маленькие желтые зубы.

– Она сказала, вы были ненасытны, и все еще не насытились. – Она кладет руку ему на грудь. – Чармиан будет завтра, не волнуйтесь. У нее легкое раздражение. Вот уж не думала, что ей это грозит. Поэтому я спросила, не будет ли она против, если к вам приду я. У меня еще никогда не было француза, – говорит она с легкой дрожью в голосе. – Я хочу, чтобы вы показали мне, почему столько шума о французах... Хорошо? – Она смотрит ему в глаза и гладит по щеке. – Вы покажете мне, Бернар? – И в ее бутылочно-зеленых глазах он видит мольбу. – Покажете?

Она уходит в сумерках – она была и горячее, и покладистей, чем молодая партнерша, – и он спит до восьми утра, не просыпаясь.

Когда же он просыпается, по-прежнему на матрасе на полу, комната залита солнечным светом.

Он идет в «Поркиз» и съедает яичный рулет с кофе по-гречески.

А затем, уже в плавках и с одним из маленьких колючих полотенец из отеля «Посейдон», он идет к морю.

Как и предыдущим днем, он проснулся с желанием искупаться в море.

Время еще раннее, и на пляже мало народу. Но русские, конечно, уже там – со своими едкими сигаретами и термосами с чаем цвета болотной жижи.

Он идет к низкому прибою – сейчас отлив, море отступило довольно далеко, и снимает рубашку и туфли. Он убирает кошелек в туфлю и накрывает рубашкой, положив сверху для веса пустую бутылку, валявшуюся рядом. Песок между пальцами ног холодный. И ветер довольно сильный и тоже холодный. Волны, набегающие на берег, отливают зеленым. Он дает этим пенистым волнам слизать пыль со своих белых ног.

Он заходит в волны, пока они не достают ему до длинных плавков, и когда волны набегают, он поднимает руки, а когда убегают, опускает. От прохладной воды и ветра по коже у него идут мурашки. Набегающая волна

омывает его. И в течение этой секунды, когда волна с шумом и силой набегает на него, она стирает все.

Он чувствует ее силу, чувствует, как она удаляется, и он остается в гладкой воде, позади волны. Он лежит на сверкающей воде, море держит его, солнце светит ему в лицо, и соленая вода плещет в уши. Он лежит с закрытыми глазами, и ему кажется, что он слышит движение каждой песчинки по дну моря.

Набегающий прибой становится теплым. Он набегает на берег так далеко, как только у него хватает сил, и оставляет пенистые разводы на гладком, блестящем песке.

А дальше от моря песок делается горячим.

Он лежит на этом песке, чувствуя покалывание всей кожей, вдыхая и выдыхая воздух.

Рука на глазах, рот открыт. Сердце качает кровь.

В голове пустота.

Единственное, что он сознает, – это жар солнца. Жар солнца. Жизнь.

Часть 3

Глава 1

Десять утра, а кухня уже пропитана сигаретным дымом и запахом голубцов.

– Значит, ты едешь в Лондон? – спрашивает мама Эммы.

Хотя она еще не старая женщина – ей, наверное, нет и пятидесяти, – ведет она себя как унылая пожилая дама. И даже то, как она размеренно передвигается по кухне в своем бесформенном спортивном костюме и как тяжело опирается на древнюю газовую плиту мрачного вида, тоже старит ее.

Габор говорит:

– Мы тебе привезем что-нибудь. Чего бы ты хотела?

– Ничего мне привозить не нужно, – отвечает она.

Ее волосы выкрашены в угольно-черный, но у корней совсем седые. За окном, подоконник перед которым заставлен пыльными кактусами, ревет центральная магистраль. Она закуривает и говорит:

– Мне ничего не нужно.

– Дело не в том, что тебе нужно, а чего ты *хочешь*, – говорит Габор.

Она пожимает плечами и подносит сигарету к окруженному морщинками рту, в котором осталось несколько зубов.

– Что там у них есть, в Лондоне?

Габор смеется:

– Лучше спроси, чего у них *нет*.

Она ставит тарелку с двумя ломтями хлеба на маленький квадратный столик, рядом с мощным локтем Балажа (он жует и только согласно кивает).

– Мы тебе найдем что-нибудь в любом случае, – говорит Габор.

– У тебя там бизнес, так? – спрашивает она.

– Точно.

– А твой друг, – говорит она (Балаж продолжает жевать), – у него там тоже бизнес?

– Он мне помогает, – говорит Габор.

– Правда, что ли?

Она глядит в упор на «друга Габора», на эту загорелую гору мускулов с татуировками, в тесной футболке, с конопатой физиономией.

– Он мой телохранитель, – говорит Габор.

– Как голубец? – спрашивает она, продолжая смотреть на Балажа. –

Ничего?

Он поднимает на нее взгляд:

– Ага, спасибо.

Она переводит взгляд на Габора.

– А чем Эмма будет заниматься, – спрашивает она, – пока вы будете заняты вашим бизнесом?

– А как ты думаешь? – говорит Габор. – Шопингом.

На самом деле друзьями их сложно назвать. Они качаются в одном спортзале. Балаж – личный тренер Габора, хотя Габор бывает в спортзале нерегулярно: он может приходить четыре или пять дней в неделю, а потом не появляться месяц, тем самым сводя на нет всю их совместную работу на тренажерах и «бегущей дорожке». Кроме того, он много ест и пьет, а это никак не совместимо со здоровым образом жизни. Когда же он приходит в спортзал, Эмма тоже с ним, а иногда она ходит одна. В эти дни она бывает там чаще, чем он – по понедельникам, средам и пятницам – каждую неделю. И все мужики из спортзала хотят ее трахнуть – Балаж в этом не одинок. Но он хочет этого больше других – или он хочет чего-то большего, чем другие, чего-то большего от нее. Это превращается во что-то нездоровое, становится какой-то одержимостью.

Она даже не реагирует на него, когда он заходит на кухню. Не подавая виду (он закуривает «Парк-лейн»), он отмечает, что она носит туфли на высокой пробковой подошве, и это наводит его на мысль о порно. Вообще, ему кажется, что Габор – как и другие ребята из качалки, разъезжающие на «БМВ», – занят в порноиндустрии. Один из них, за рулем своего «БМВ», даже как-то предложил ему сняться в таком «фильме», назвав сумму, которую можно получить за день, – равную его месячной зарплате. Балаж был в отличной форме и в татуировках, которые приглянулись продюсеру. Его конопатая физиономия не представляла проблемы, сказал тот парень, проблемой мог оказаться размер его члена. Балаж ответил отказом – отчасти чтобы не опозориться размером своего достоинства, но он сказал или намекнул тому парню, что ему не позволит подружка. Это было неправдой. У Балажа не было подружки.

Нельзя было сказать, что он не нуждается в деньгах. Он нуждается. Он берется за любую подработку, какая подвернется. И Габор уже не раз нанимал его в качестве телохранителя – обычно, когда ему требовалось навестить каких-то людей в офисах или в аккуратных виллах в зеленых районах Будапешта, – однако чем именно занимается Габор и по какому делу он летит теперь в Лондон, Балаж не знал.

Самолет на Лутон задержали на четыре часа. Габор вне себя. Особенно его нервирует то, что он никак не может дозвониться Золи. Золи, по всей вероятности, это партнер Габора в Лондоне, который должен встретить их в аэропорту, и мысль о том, что ему придется ждать их столько часов, просто бесит Габора. Когда же ему удастся связаться с Золи, тот говорит, что уже знает о задержке.

Они тем временем сидят за столиком в кафе аэропорта, под косыми лучами солнца. Габор заканчивает извиняться перед Золи и кладет трубку.

– Порядок, – говорит он.

Балаж кивает и делает большой глоток пива. Перед каждым из них стоит полулитровая кружка «Хайнекена».

Балаж пытается представить, как все будет в Лондоне. Он думает о встречах в сонных офисах, где ему придется ждать за дверью или вообще на улице. Но для Эммы это вроде отпуска, так что они с Габором проведут какое-то время вместе.

Он обнаруживает, что его сильно напрягает находиться рядом с Эммой вне привычной обстановки спортзала. Так же было и в машине Габора, «ауди Q3». Иногда Габор выходил куда-то и оставлял их в машине одних – Эмма впереди, Балаж сзади – и он так остро ощущал ее присутствие, вплоть до малейшего скрипа кожаного сиденья под ней, когда она опускала солнечный щиток, чтобы подвести бровь в зеркальце, и тогда ему приходилось усиленно концентрироваться на чем-то за пределами салона, за тонированными стеклами машины, чтобы не думать о том, как он мастурбировал на нее этой ночью, дважды, – не лучшие мысли для начала общения. Они никогда не разговаривали. Иногда Габор оставлял их вдвоем минут на двадцать – он всегда задерживался вдвое дольше, чем говорил, – и они никогда не разговаривали.

Что она представляет собой «как личность», Балаж понятия не имел. В ней есть что-то от принцессы. Она всегда держится чуть свысока с работниками спортзала, ни с кем не сближаясь. Все женщины там ненавидят ее и считают, что она встречается с Габором, который чуть ниже ее ростом, из-за денег. Она все время слушает музыку, когда занимается, – вероятно, чтобы никто не пытался заговорить с ней. И Балаж никогда не замечал, чтобы она улыбалась.

Он был удивлен, увидев ее мать и их квартиру. Он ожидал чего-то покруче, возможно, что-то в Буде, – дом с розами у крыльца и ухоженную пожилую хозяйку, предлагающую им кофе, а не эту задымленную дыру и высохшую каргу. Побуревший от времени блочный дом, голоса и запахи из

всех квартир на лестнице, засохшие растения в горшках на подоконниках – все это было так знакомо ему. Он сам и большинство людей, которых он знал, ютились в подобных местах. Но что и она тоже – это для него оказалось сюрпризом.

Он допивает свой «Хайнекен» и говорит что-то вроде того, что выйдет за сигаретами. Габор, нажимающий что-то в своем телефоне, небрежно отвечает, что они с Эммой будут здесь. Эмма даже не поднимает взгляд от журнала.

Он курит на смотровой террасе, откуда можно видеть сквозь толстое стекло, как самолеты медленно движутся по полосам аэропорта или взмывают в воздух каждые несколько минут. Стоя там и глядя на них сквозь колышущееся море, слыша звук двигателей, доносящийся за несколько сотен метров через теплый воздух, он вспоминает о днях, что провел на авиабазе в Баладе^[23], в составе венгерского подразделения, в ожидании самолета домой. Теперь он вспоминает тот год с чувством, близким к ностальгии. Он должен был остаться в армии – там было надежно и всегда было чем заняться. С тех пор он просто топчется на месте, словно в ожидании чего-то... Но чего?

Рядом возникает Габор.

Он закуривает сигарету, дороже, чем «Парк-лейн», которые курит Балаж, и говорит:

– Извини за задержку.

Балаж сдержанно кивает, не снимая пластиковых спортивных солнцезащитных очков.

Габор как будто нервничает. Кажется, он хочет что-то сказать, но не знает как.

Балаж уже начинает думать, что, возможно, он ошибся, когда Габор говорит:

– Я скажу тебе, зачем мы летим в Лондон.

Проходит несколько секунд, в течение которых они молча смотрят на открытое пространство аэропорта под солнцем, гладкие самолеты, стоящие в тени терминала.

– Эмма... – говорит Габор так, словно она рядом и он обращается к ней.

Балаж даже поворачивает голову, но Эммы рядом нет.

– Эмму ждет кое-какая работа в Лондоне, – произносит Габор.

Они смотрят, как узкий турбовинтовой самолет «Люфтганзы» собирается взлетать. Преодолев несколько сотен метров, он взмывает в

воздух так стремительно, что это поражает – как будто кто-то с неба дернул его за веревочку. Они смотрят, как он удаляется, превращаясь в точку, и в какой-то момент просто исчезает в подернутом дымкой воздухе.

– А твоя работа, – говорит Габор и сразу же поправляет себя, – *наша* работа – присматривать за ней. Понял?

Балаж просто кивает.

– Значит, понял, – говорит Габор, как бы ставя точку в этом, очевидно, неловком разговоре. – Просто подумал сказать тебе.

Он бросает окурок и затаптывает его своей кроссовкой.

– Увидимся внутри.

Балаж, как и он, также затаптывает окурок своей сигареты. А затем прикуривает новую и щурится, глядя на мерцающую взлетную полосу.

Полет проходит спокойно. Самолет полон, но Габор оплатил приоритетную посадку – и они садятся вместе: Балажа затиснули к иллюминатору, Габор сидит у прохода, вытянув ноги, а между ними Эмма – слушает музыку в наушниках, не обращая внимания на спинку переднего кресла в нескольких сантиметрах от ее носа.

Балаж старательно смотрит за борт. Но там нет ничего, кроме части крыла и нескончаемой слепящей белизны облаков далеко внизу. Упадешь сквозь них камнем, думает он, несмотря на то, какими надежными они кажутся. Он не уверен теперь, что правильно понял Габора, когда тот сказал, что Эмму ждет «кое-какая работа» в Лондоне. Может, он просто не расслышал? Свет за иллюминатором режет ему глаза, так что он немного опускает шторку. Он складывает затекшие руки на коленях и сидит так, слыша легкий шелест из ее наушников, едва различимый на фоне размеренного шума двигателей.

Золи встречает их в аэропорту Лутон на длинном серебристом «мерседесе».

Он высокий, по-своему симпатичный, ему идут усы. В нем есть какая-то интеллигентная брутальность, по профессии он гинеколог, но в настоящее время не практикует. Вообще-то лицо его отмечено слегка нездоровой припухлостью, одутловатостью, а глаза выступают из орбит больше нормального, но Балаж замечает все это, только разглядев его получше в зеркальце «мерседеса», – он сидит сзади, рядом с Эммой, но их четко разделяет кожаный подлокотник, пока они едут в Лондон.

Они движутся все время с одной скоростью, Золи уверенно ведет мощную машину сквозь дорожный поток. Балаж держится за ручку над

окошком и смотрит на пролетающий мимо пейзаж, отмечая, насколько он ухоженный – не то что венгерские просторы. Здесь явно больше порядка. И все явно богаче смотрится. Сейчас начало июня – кругом цветы и свежесть.

Габор закуривает. Он сидит впереди, рядом с Золи, и тот велит ему немедленно потушить сигарету.

Габор извиняется и давит сигарету в пепельнице.

Продолжая уверенно направлять «мерседес» вперед, Золи объясняет, что одолжил автомобиль у друга, владельца прокатного сервиса лимузинов класса люкс, и что он обещал не курить в салоне.

– Извини, – повторяет Габор, а потом добавляет: – Это ведь новая модель Эс-класса, да? Очень красивая.

Золи вяло с ним соглашается.

Ему слегка за тридцать, чуть больше, чем остальным. Но Габору почему-то сложно держаться с ним на равных, хотя обычно он не тушует перед более старшими или более авторитетными людьми. Они успели *по-быстрому* переговорить о чем-то на выезде из аэропорта, но даже этот разговор оборвался на полуслове (Габор как раз говорил что-то), когда Золи вышел оплатить парковку, и весь путь до Лондона Габор, несмотря на свою обычную разговорчивость, сидел молча. Может, потому, что Золи подавляет Габора, а может, еще почему-то, Балаж не знал. Когда он увидел, как онижимают друг другу руки при встрече, то подумал, что расклад такой – они встречались раньше, но мало знают друг друга. А вот Золи и Эмма явно не были знакомы. Габор представил их друг другу с какой-то подчеркнутой сухостью, но Золи очень приветливо расцеловал Эмму в обе щеки. Что касается Балажа, Золи сразу признал в нем телохранителя – из-за дешевой одежды и мускулов – и удостоил его коротким рукопожатием. А затем быстро повел их к краткосрочной парковке. Они спешили, поскольку Золи сказал, у них кое-что «намечено на вечер», а из-за задержки рейса времени теперь в обрез – успеть бы заехать на квартиру. Было похоже, что Золи снял для них квартиру на время пребывания в Лондоне.

Некоторое время они стоят в пробке – машин на подходе к городу становится все больше. К тому же светофоры замедляют движение. (В салоне работает кондиционер, а за тонированными стеклами они видят Лондон, изнемогающий от жары.) Вскоре они съезжают с главной магистрали на второстепенную, и перед ними предстают другие виды: жилые кварталы, парки, оживленные улицы, переполненные пабы. Расплывчатые образы большого города ранним летним вечером. И все это тянется намного дольше, чем ожидал Балаж.

Наконец они приезжают. Квартира находится на тихой улице с

несколькими деревьями. Маленькие двухэтажные дома, все абсолютно одинаковые. Они стоят на тротуаре рядом со своими вещами, пока Золи подходит к двери одного домика и, тихо чертыхаясь, подбирает ключ. По узким лестницам они поднимаются на верхний этаж, где Золи снова подбирает нужный ключ, – и вот они в квартире. Одна спальня с белыми стенами, скудно обставленная. Балаж будет спать на диване в гостиной, выходящей на тихую улицу. В другой части квартиры находится незаметная ванная комната без окон, с запахом плесени, и туда сразу проскользнула Эмма с косметичкой.

Мужчины ждут в гостиной – Габор садится на диван, Золи расхаживает по комнате, поглядывая в незанавешенное окно, а Балаж просто стоит, рассматривая старый ковер на полу цвета меда, потертый и прожженный сигаретами. Габор интересуется, где они смогут поесть. Золи на это лишь равнодушно пожимает плечами. Он говорит, что плохо знает эти места – он живет в другой части Лондона. Снова выглянув в окно, он сообщает, что неподалеку есть улица с магазинами – там они наверняка что-то найдут.

– Ты не мог бы прошвырнуться, – говорит Габор Балажу, – и купить кебабов или чего-то еще?

Балаж поднимает взгляд.

– Хорошо, – говорит он.

– Ты хочешь чего-нибудь? – обращается Габор к Золи.

Тот опять смотрит в окно, но не отвечает.

– Золи, – говорит Габор нерешительно. – Ты хочешь чего-нибудь?

– Нет, – отвечает Золи, не оборачиваясь.

– Ладно. Тогда просто принеси каких-нибудь кебабов, – просит Габор.

Балаж кивает.

– А сколько нужно? – спрашивает он.

– Не знаю. Пока я один. Ты будешь?

– М... Да.

– И Эмма может захотеть, – говорит Габор. – Значит... Четыре?

Лестницы здесь очень узкие для габаритов Балажа, так что ему приходится спускаться почти полубоком. В подъезде темно, несмотря на дверь с матовым стеклом, которая открывается, когда он спускается с лестницы. Появляется молодая женщина в угольно-черном брючном костюме. Она придерживает для него дверь. В остальном они игнорируют друг друга.

На улице очень тепло и светло, приятный мягкий свет летнего вечера

красиво ложится на припаркованный «мерс». Он закуривает «Парк-лейн» и пускается в лабиринт улочек с одинаковыми, тесно стоящими домиками в направлении, указанном Золи. У него уходит двадцать минут, чтобы найти улицу с магазинами, но, обойдя ее, он нигде не видит кебабов. Он расхаживает по улице, потя, его оранжевая футболка липнет к телу. Он замечает польский супермаркет и нескольких небелых прохожих. Он звонит Габору.

– Курица пойдет? – спрашивает он.

Габор, похоже, не понимает его:

– Что?

– Ку-ри-ца, – произносит Балаж по слогам. – Пойдет?

– Курица?

– Ага.

Он стоит рядом с заведением «Куры-гриль». Только что зажглись зеленоватые уличные фонари. В воздухе едва уловимый гнилостный запах.

– Здесь есть «Куры-гриль».

– Ну, замечательно, – говорит Габор и добавляет: – То есть как оно на вид – нормальное?

Балаж оглядывает зал.

– Да, нормальное, – говорит он.

– Ну, хорошо, – говорит Габор. – И не задерживайся. Мы выезжаем в десять.

Балаж убирает мобильник в карман джинсов и заходит в заведение, залитое резким электрическим светом. Там небольшая очередь. В ожидании он читает меню на стене на подсвеченной пластиковой панели – и когда подходит его очередь, делает заказ без затруднений. (Он неплохо знает английский, выучил его в Ираке – это был единственный способ общаться с польскими солдатами, с которыми они вместе служили, и, конечно, с американцами, которые ему попадались.) Затруднения возникают, когда он пытается найти дорогу обратно, и он опять звонит Габору.

И вот они сидят на диване в гостиной, он и Габор, и едят руками курицу из промасленных коробок. Светит люстра с порванным бумажным абажуром, и спертый воздух полон дыма сигарет и запаха еды, в которую Балаж так основательно погрузился, что не заметил присутствия Эммы, пока не услышал голос Золи:

– Вау.

Тогда он поднял взгляд.

Его рот полон, а руки блестят от куриного жира. Она стоит в дверном

проеме.

– *Вау*, – повторяет Золи, словно озвучивая мысли Балажа.

Потом, сидя в жемчужном «мерсе», он вспоминает ее в дверном проеме, и этот образ продолжает стоять перед ним, когда он смотрит из окошка на улицу. Лондонская ночь блестит, точно страница глянцевого журнала. Никто не разговаривает, пока «мерс» плавно несет их к сердцу города, где текут деньги.

Глава 2

Все это так нелепо, особенно в первую ночь. Габор сидит на водительском месте с мрачным видом – он долго сидит неподвижно, откинув голову на кожаный подголовник, уставясь через ветровое стекло на тихую, богатую улицу, где они припарковались, или изучает татуировку с тибетским изречением на своем левом предплечье. Вопреки обыкновению, он молчит часами. Они в паре минут ходьбы от отеля на авеню Парк-лейн, в честь которой, как узнал Балаж, были названы дешевые сигареты, которые он курит.

Когда они только приехали, Золи кому-то позвонил. И через несколько минут к ним вышла молодая женщина, тоже венгерка, представившаяся Джулией и, похоже, работавшая в этом отеле. С ней ушли Золи и Эмма, и Габор сказал Балажу, что они двое будут ждать в припаркованном «мерсе», пока вернется Эмма.

Время тянется ужасно медленно, они почти все время сидят молча, и тишина летней ночи только усиливает дискомфорт.

Изредка они обмениваются пустыми замечаниями – к примеру, Габор спрашивает Балажа, впервые ли он в Лондоне. Балаж отвечает, что – да, впервые. Тогда Габор говорит, что ему не мешало бы ознакомиться с достопримечательностями. Когда же Балаж интересуется из вежливости, что ему стоит посмотреть, Габор теряется и после некоторых раздумий называет только музей мадам Тюссо.

– У них там восковые фигуры знаменитостей, – говорит он. – Ну, знаешь... – Он пытается вспомнить хотя бы одну знаменитость. – Месси^[24], – вспоминает он, наконец. – Да мало ли. Эмма хочет увидеть это. В любом случае тебе там тоже стоит побывать.

– Ясно, да, – кивает задумчиво Балаж.

После этого они надолго погружаются в молчание, слышно только, как Габор постукивает пальцем по оплетке руля, и этот звук, похожий на медленно падающие капли, словно наполняет темный колодец тревоги, из которого через какое-то время загадочно возникает следующий вопрос Балажа – откуда Габор знает Золи.

– Золи?

Габор как будто удивлен, что Балажа это может интересовать, и мнется, как бы пытаясь вспомнить.

– Он друг одного друга, ну, знаешь... – Повисает еще одна долгая

пауза, но потом Габор вдруг решает, что все же стоит объяснить: – Я встретил его, когда последний раз был в Лондоне. И он предложил что-нибудь замутить.

Она стучит в запотевшее стекло около пяти утра. На улице уже светло и довольно прохладно. Габор, проснувшись, открывает дверцу и без лишних слов впускает ее. И так же молча включает спутниковую навигацию. Затем включает двигатель и шумную обдувку стекол, и они выезжают на пустую улицу.

Прежде всего бросается в глаза ее усталость, которую только подчеркивает коротенькое платье и туфли на высоком каблуке. Она сразу снимает их и устраивается на заднем сиденье, подобрав под себя ноги. Мужчинам удалось поспать несколько часов, пока они ждали ее, удалось ли поспать ей, неизвестно. Судя по темным кругам под глазами – нет. И кроме того, она на взводе, словно что-то приняла.

– Все прошло нормально? – интересуется наконец Габор, когда они останавливаются на светофоре.

– Хм...

– Есть хочешь? – спрашивает он через пару минут.

– Не знаю, – говорит она. – Может быть.

– Тебе надо что-то поесть, – настаивает он.

– Хорошо.

Они останавливаются у «Макдоналдса» и посылают Балажа. Рядом с ней он не может не думать о том, как от него должно разить, – он не менял футболку уже сутки. Она хочет бигмак, большую порцию картошки-фри и диетическую колу.

– Спасибо, – говорит Эмма, когда он, вернувшись в машину, передает ей коричневый пакет.

Это первое слово, которое она сказала ему.

– Нет проблем, – отвечает он ей, хотя она, скорее всего, не услышала, поскольку Габор как раз включил двигатель.

Она просовывает соломинку в отверстие на крышке стаканчика и начинает пить.

Золи появляется после полудня, когда все они еще спят.

Габор выходит к нему заспанный и взъерошенный, в майке и трусах-боксерах, чтобы отдать его часть денег, и делает это в дальнем углу гостиной, где устроено некое подобие кухни. После этого Золи достает два холодных лагера, и когда они открывают их, спрашивает про Эмму. Ее не

видно с самого утра – Балаж, во всяком случае, ее не видел, – как только они приехали, она исчезла в спальне.

Вскоре к ней присоединился Габор, оставив Балажа на диване, где ему пришлось вдавливать лицо в подушки, вдыхая букет ароматов, чтобы отгородиться от дневного света из окон и от звуков улицы, нечастых, но отлично слышных, – и заснуть. Примерно в десять утра, так и не сумев заснуть, он встал и пошел в душ, где мастурбировал, представляя Эмму в номере отеля, во всех мыслимых позах. Из него излилось огромное количество семени. Затем он вернулся на диван и, натянув футболку на глаза, все-таки заснул.

– Ну, все прошло нормально? – спрашивает Золи, отхлебнув пива.

– Ну, да, я думаю, – отвечает Габор заспанным голосом.

Они стоят у барной стойки, отделанной под сосну.

– Я знаю его, этого парня, – говорит Золи. – Приятный парень. Я его выбрал прежде всего потому, что знал – с ним не будет заморочек.

Габор просто кивает.

– Других я не всех знаю, – продолжает Золи, отпивая пива. – Но все равно не ожидаю каких-то заморочек.

– Ясно, – говорит Габор.

– Это не те люди, которые захотят общаться с полицией, с журналистами, ты понимаешь, о чем я. Им есть что терять. Среди них имеются и знаменитости, я думаю.

– Да?

Кажется, Габору это не очень интересно.

– Так я думаю, – говорит Золи, кивает и снова отпивает пива. – Она еще спит?

– Да, – отвечает Габор.

Золи не долго задерживается, и после его ухода Габор возвращается в постель. Будь у Балажа постель, он сделал бы то же, но вместо этого он выходит на улицу, в слепящий свет дня, и идет за жареной курицей во вчерашнее заведение. Вернувшись, он устраивается на диване, под открытым окном, курит и пытается читать книгу «Harry Potter és a Titkok Kamrája»^[25]. У него медленно идет эта серия.

Ему трудно сфокусировать внимание на истории.

Затем ему становится трудно фокусироваться на словах.

Когда он просыпается, она стоит в дверном проеме в пижаме.

Он понятия не имеет, сколько сейчас времени. Судя по свету, еще день.

– Привет, – говорит она бесцветным голосом.

– Привет, – отвечает он и садится. – А сколько э-э... сейчас времени?
– Я не знаю, – пожимает плечами она. – Габор хочет проехаться по магазинам.

Балаж не знает, что сказать.

Она поворачивает голову, словно пытаясь что-то рассмотреть.

– «Harry Potter és a Titkok Kamrája», – читает она название книги. – Стоящая книга?

– Э... – произносит он и берет книгу, словно надеясь найти ответ на обложке. – Нормальная.

Он пытается придумать, что еще сказать о ней.

Она стоит на месте несколько секунд, а вокруг нее кружатся пылинки в послеполуденном свете.

Затем она зевает и уходит.

Позднее, когда они снова сидят в припаркованном «мерсе», Габор рассказывает ему о шопинге – два с половиной часа в толчее Оксфорд-стрит, а затем обед в интерьерах из красного бархата «Ангус стейк-хауза». Они больше говорят, чем первой ночью, эти двое. Накрапывает дождик. И это несколько смягчает тишину. Дело в том, что они мало знают друг друга. Даже в пределах спортзала их нельзя назвать друзьями.

Примерно в полночь Балаж выходит из «мерса» под моросящий дождик и идет до ближайшего «Кентукки фрайд чикен» за едой – двумя наборами «Под завязку».

Вернувшись, он видит, что Габор в задумчивости.

– Иногда я беспокоюсь о своем отношении к женщинам, – говорит он. Его профиль вырисовывается на фоне стекла, по которому стекают капли дождя. – А ты? – спрашивает он.

Балаж как раз впился зубами в бургер с курицей и не может ответить сразу. Проглотив кусок, он спрашивает:

– Ты о чем?

– Я о моем отношении к женщинам, – говорит Габор тоскливо. – Может, это что-то нездоровое? – Он поворачивается к Балажу, мокрому от дождя, и спрашивает: – Что ты об этом думаешь?

Балаж лишь просто смотрит на него.

– Что бы ты сделал на моем месте? – спрашивает Габор.

– Что бы я сделал?

– Да. Если бы ты был на моем месте?

– В каком смысле?

– Если бы ты был с Эммой... ну, это самое... – Габор нервничает. –

Позволил бы ты ей такое?

– *Позволил бы я?*

– Ага.

Балажу трудно представить ситуацию и все эти эмоции, о которых говорит Габор, такую ситуацию, в которой он и Эмма были бы... ну, это самое. Все, что он может представить с ней, – это секс, причем самый безбашенный.

– Не знаю, – отвечает он, а затем, желая пойти навстречу Габору, добавляет: – Ну, может.

– Позволил бы?

– Ну... – Балаж пытается ответить честно. – Может, и нет. По обстоятельствам.

– Каким обстоятельствам?

– Каким? Ну... знаешь... Смотря какие у нас были бы отношения.

– *Вот* оно, – говорит Габор. – В этом все дело. Об этом я и говорю. – Теперь, наконец, он может приняться за еду.

– Ты беспокоишься, что это... э-э... не пойдет на пользу вашим отношениям? – спрашивает Балаж.

– Ага, – отвечает Габор и набивает рот жареной картошкой.

– Ну... А ты с ней об этом говорил?

Габор качает головой и отвечает с набитым ртом:

– Нет, если честно. Ну, то есть я пытаюсь иногда. Но она не хочет. Как-то так.

Они едят.

– У нее день рождения на следующей неделе, – сообщает Габор невесело.

– Да?

– Да. Я повезу ее типа на спа-курорт.

– Да? – снова спрашивает Балаж.

– В Словакии. У них там в горах шикарный отель. Мы там уже бывали. «Кемпински». Знаешь эту сеть?

Балаж как будто пытается вспомнить, потом качает головой.

– Хорошо там, мать твою, – говорит Габор. – Там озеро, горы вокруг. Она любит такую хрень. У них там есть все, любые процедуры. Ну, знаешь. Грязевые ванны. Всякое такое.

Проходят дни, один похожий на другой, визит Золи после полудня, дальше ночь в машине, поход в «Макдоналдс» в мутном свете нового утра и разрядка в душе, чтобы легче заснуть.

И все же спит он плохо. Он чувствует себя иссушенным усталостью и иногда кажется себе таким же бесплотным, как кольца сигаретного дыма, висящего в теплом затхлом воздухе гостиной. Иногда он чувствует себя прозрачным, иногда невыносимо твердым, но так или иначе его постоянно гложет тайное желание находиться там же, где она. Например, в ванной комнате. Маленькая, вся в потеках ржавчины, ванная полна ее вещей. И он пристально изучает их.

Ее присутствие возбуждает его и мучит его долгими бесцветными часами после полудня, когда он лежит на диване, зная, что она находится по другую сторону хлипкой стенки, на которую он смотрит так, словно пытается проникнуть сквозь нее, пока в его гладко бритой голове бьет фонтан фантазий.

Что касается его впечатлений о ней, то он поражается, насколько свежей она выглядит. Если в понедельник, их четвертый день в Лондоне, она и казалась слегка осунувшейся и помятой, возникнув в ночном халате в четыре часа дня, ей ничего не стоило каким-то волшебным образом преобразиться перед зеркалом в ванной комнате.

Ночью в понедельник возникла проблема, ночное происшествие. Было еще рано, меньше одиннадцати, когда Габор получил эсэмэску.

– Черт, – сказал он.

– Что?

– Это Эмма.

– Что пишет? – спросил Балаж.

– Ничего.

– Это ведь сигнал?

– Может, просто ошибка, – сказал Габор.

– Это же сигнал? – снова спросил Балаж.

– Ага, – сказал Габор со вздохом и добавил с неохотой: – Ладно. Идем.

Балажу показалось, что Габор боится. Поэтому и взял с собой молоток – он всегда держал его при себе, под водительским сиденьем. Теперь он засунул его в рукав.

Они выбрались из машины и направились к отелю. Габор качал головой, на лице у него читалась досада, напряжение и страх. По дороге он позвонил Джулии, которая работала по ночам всю неделю. Она сказала, что встретит их у служебного входа.

Когда они подошли, она уже ждала их и нервно курила.

Они двинулись за ней по коридору с зеленым ламинатом к служебной лестнице.

– Четвертый этаж, – сказала она и передала Габору карточку от номера.

Габор кивнул ей, и они с Балажом стали подниматься с мрачным видом по лестнице.

Потертые стены, неоновые лампы на каждом пролете.

– Готов? – спросил Габор.

Балаж пожал плечами.

Габор сказал:

– За это тебе платят.

– Ясно.

– Я посмотрю, как она, а ты займешься им. Ну, если возникнут сложности.

– Ясно.

– И минимум необходимой силы. Не мне тебе объяснять... Нам не нужны неприятности. Ты меня понял.

По-видимому, он беспокоился насчет полиции. Балаж тоже думал об этом. Поэтому сказал:

– Может, молоток оставить здесь?

– Что?

– Оставить молоток здесь. Потом заберем.

– Почему?

Балаж не знал, как лучше это объяснить:

– Ну... Если... Допустим, полиция вмешается, а у нас молоток. Оружие... Понимаешь, о чем я? Он все равно нам не понадобится.

Габор колебался:

– Не понадобится?

– Нет.

– Ты уверен?

Поборов сомнения, он сказал:

– Хорошо.

Габор осторожно положил молоток, и они прошли через пожарную дверь в шикарный холл на другой стороне. Балаж никогда еще не бывал в подобных местах – это было как в американском фильме, и именно так он себя чувствовал – как в американском фильме.

Они остановились перед отделанной резьбой дверью номера 425. Никаких звуков из-за нее не доносилось. Габор провел карточкой по замку, прозвучал мелодичный мотив, и дверь открылась.

Они вошли.

– Что это значит? – произнес Габор в растерянности.

Казалось, он почти разочарован.

В просторной, хорошо освещенной комнате, находились трое: Эмма и два индийца. Они спокойно сидели, словно терпеливо ожидая чего-то.

– Ладно, – сказал один из индийцев, сразу встав, – слушайте, мы хотим поговорить с вами.

Он был намного старше второго и сидел на мягком стуле между занавешенными окнами.

Габор, словно не замечая его, спросил Эмму по-венгерски:

– Что происходит?

Она пожала плечами:

– Их тут двое.

– Это я вижу. Что произошло?

– Ничего.

Пожилой человек в твидовом костюме стоял и, очевидно, ждал, пока Габор закончит разговор с Эммой.

Габор повернулся к нему и произнес по-английски:

– Здесь может быть только один из вас.

– Да, именно об этом мы хотим поговорить с вами, – сказал человек.

– Только один из вас, – повторил Габор.

– Я понимаю... понимаю.

– Ясно, вы понимаете. Так что один должен уйти. Пожалуйста.

Индийцы – старший, в своем элегантном костюме, с манерами и приятным парфюмом, и младший, тощий, в рубашке поло от «Lacoste», тихо сидевший на месте – выглядели донельзя испуганными. Всем было понятно, что Балаж с его габаритами, спокойно стоявший рядом у двери, скрестив руки на груди, в случае чего легко справится с ними обоими. И нарочитая вежливость старшего, скрывавшая его истеричный настрой, ясно свидетельствовала об этом.

– Я понимаю, – снова начал он. – Молодая леди сказала нам, что только один из нас может... ну, знаете. Я понимаю. Хорошо. Хорошо. Мой э-э... мой молодой друг будет... будет делать это.

Балаж перевел взгляд на младшего – ему было лет двадцать, если не меньше, он сидел, ссутулившись, уставившись на свои туфли, и было похоже, что он вообще слабо улавливает, что здесь происходит.

Габор спросил Эмму, опять по-венгерски:

– Деньги у тебя?

Она кивнула.

– Кто тебе платил?

Она указала на старшего индийца, а тот сказал:

- Я только хочу смотреть.
- Ты хочешь смотреть?
- Да.
- *Baszd meg* [\[26\]](#).
- Это проблема?
- Да, это проблема, – сказал Габор, повысив голос.
- Почему?

– Почему, почему... – Габор потерял терпение и, схватив непонятливого индийца за лацкан, потянул к выходу, но Балаж, спокойно стоявший все это время в своей ярко-бирюзовой рубашке, разнял их.

Казалось, напряжение спало, и Габор, не желая окончательно терять лицо, устался на мыски своих туфель.

Затем он поднял взгляд и произнес размеренно:

– Это проблема. Проблема. Пожалуйста. – И он вежливо, но решительно указал на дверь.

Индиец уже вспотел, но был настроен уладить все полюбовно. Тяжело дыша, он проговорил:

– Нет, одну минуту. Пожалуйста. Давайте поговорим. Одну минуту.

– Выходим, – сказал Габор.

– Пожалуйста, – настаивал индеец. – Нет, давайте просто поговорим минутку. Просто поговорим. Ваш друг сказал, что деньги были за всю ночь с... молодой леди. Ваш друг так сказал.

– Да. – Габор с трудом сдерживался.

– Теперь послушайте... – Лысина индийца блестела от пота. – Что я хочу предложить... хм... мы отнимем только час или два ее времени. Но мне разрешат смотреть. Только смотреть! Это справедливо? Разве это не кажется справедливым?

– Слушайте, – сказал Габор, – она не занимается такими вещами, ясно? Она приличная девочка.

– О, она приличная девочка. Конечно, приличная девочка...

– Да, она приличная девочка, – сказал Габор. – Выходим.

– Понятно, вы хотите больше денег, – сказал индеец, как бы смиряясь, когда Габор взял его за запястье. – Сколько? Сколько? Тысяча фунтов.

Габор, пораженный суммой, сглотнул и молча посмотрел на Эмму.

– Хорошо? Тысяча фунтов?

– Э... – Габор нахмурился, как будто погрузившись в раздумья, оказавшиеся бесплодными. – Как она решит.

– Конечно! – Пожилой человек повернулся к Эмме, хитро улыбаясь.

Она сидела на табурете с видом, наполненным достоинства.

– Тысяча фунтов, мадам, только за то, чтобы сидеть в углу. Я буду тихим как мышь. Что вы сказать?

Даже молодой индиец поднял свою большую вихрастую голову с дорогой укладкой и уставился на нее – все смотрели на нее, ожидая, что она решит.

– Просто скажи нет, – произнес Габор на родном языке. – Просто скажи нет, и мы его уберем.

– Почему? – спросила она, наконец, тоже по-венгерски. – Какая разница?

Лицо Габора слегка дернулось.

– Какая разница? – повторила она.

– Значит, ты это сделаешь?

Она пожала плечами, и тогда Габор повернулся к ожидавшему индийцу, который не понял из их разговора ни слова, и сказал:

– Хорошо. Где деньги?

– Они... хм... у меня здесь, – сказал он, вынимая из внутреннего кармана темный кожаный бумажник.

Когда он отсчитал всю сумму, Габор произнес:

– Ты только смотришь.

– Конечно, конечно, – кивнул индиец рассеянно.

– Не прикасаешься.

– Нет, – сказал индиец, покачав блестящей лысиной.

– Любая неприятность – и мы здесь.

– Я вам обещаю, никаких неприятностей не будет. – Индиец протянул деньги.

– Отдай деньги ей.

– О, прошу прощения. *Мадам?*

Эмма встала – даже босиком она была выше опрятного индийца – и взяла деньги, которые убрала в свою косметичку, лежавшую на столике рядом с большой пышной кроватью.

– Порядок, – сказал Габор Балажу. – Уходим.

Габор промолчал практически весь остаток ночи, пока они сидели в «мерсе», и лицо его было в тени. Пока они шли к машине, он едко высказался об индийском извращенце, но как только они заняли свои места на антрацитовых сиденьях, ему как будто больше не о чем было говорить.

Предыдущей ночью его выдержка также подверглась проверке на прочность, хотя и не столь явно. Когда после обеда к ним заглянул Золи забрать свою часть денег, он сказал, что клиент на эту ночь не хочет ехать в

отель – им придется отправиться к нему домой. Дом оказался массивным особняком, опоясанным оштукатуренными террасами. Двое мужчин смотрели сквозь ветровое стекло, как Эмма в своем обычном коротком платье телесного цвета поднимается на крыльцо с перилами и висячим фонарем и нажимает кнопку звонка. А минутой позже дом проглотил ее.

– Ну, ладно, – сказал Габор.

Дом выплюнул ее в четыре утра, когда в парке за изгородью зазвучали первые птичьи голоса.

Она была пьяна. Когда машина заскользила по пустынным улицам, она извинилась за то, что икает, но затем, когда поняла, что не может остановиться, ее икание перешло в хихиканье.

– Ты, похоже, в хорошем настроении? – спросил ее Габор, пригвоздив взглядом в зеркальце. – Развлекалась там?

– Не глупи, – ответила она мягко.

– Ты пьяна.

– Да, пьяна. Я выпила, наверное, две бутылки шампанского.

– Шампанского? – спросил Габор. – Недурно.

– Да ну, – сказала она, проигнорировав его сарказм.

– То есть он тебя заставлял, что ли, пить?

Она отвела взгляд в окно, на улицы в синем свете раннего утра. Утра понедельника.

– Это помогает, – призналась она.

Ночь со вторника на среду, после происшествия с индийцами, ее выходной. Когда она появляется, как обычно, в четыре, Габор говорит ей, что сегодня вечером Золи приглашает их в ресторан. Но она отвечает, что устала и не хочет никуда идти – это удивляет и задевает его. Позднее он пытается уговорить ее – Балаж слышит это через тонкую стенку – и, потерпев неудачу, выходит из спальни в тщательно выглаженной рубашке цвета индиго и небрежно предлагает Балажу составить ему компанию, но Балаж также говорит, что устал и не хочет никуда ехать. Габор даже не пытается уговаривать его и, позвонив Золи, объясняет ему в извиняющейся манере, что Эмма устала и к ним не присоединится.

– Не-а, – говорит он, стоя посреди гостиной с телефоном в руке, – не-а, она хочет остаться. Сказала, хочет остаться.

Золи что-то говорит ему.

– Да, – отвечает Габор, – я говорил ей это.

Золи говорит что-то еще, и Габор с чувством отвечает:

– Я знаю, я знаю.

Наконец Золи заканчивает разговор, и Габор, смешав «Джек Дэниелс» с колой у сосновой стойки, выпивает залпом и выходит в вечерний город.

После того как звук захлопнувшейся двери рассеивается, в маленькой квартирке устанавливается полная тишина.

Балаж делает вид, будто читает «Harry Potter és a Titkok Kamrája», а сам напряженно прислушивается, не донесется ли какой-нибудь звук, хоть какой-то признак жизни, из соседней комнаты.

Спустя примерно двадцать минут слух его улавливает что-то, похожее на скрип кровати.

Через некоторое время – довольно долгое время, в течение которого его предположение о том, что Эмма не пошла в ресторан специально затем, чтобы остаться с ним наедине, не получает подтверждения, – он откладывает книгу, в которой продвинулся недалеко, и выходит на улицу в поисках чего-нибудь на ужин.

Когда он уходил, у нее под дверью горел свет.

Когда же он вернулся, то заметил с чувством досады, что свет не горит. Он бы должен был постучаться к ней перед тем, как идти за едой, и спросить, не нужно ли ей чего. Ведь это было бы так естественно. А теперь уже слишком поздно. Он съедает то, что принес, без всякого аппетита и курит одну за другой сигареты «Парк-лейн».

Засыпает он после двух ночи, и к тому времени пепельница на полу рядом с диваном полна окурков.

Глава 3

– Есть у нас кофе? – спрашивает она, услышав, как он ворочается во сне.

Она за кухонной стойкой, в ночном халате, открывает сосновые шкафчики.

– Нет, – отвечает он, щурясь. Комната полна солнечного света. – Не думаю.

– Я пью кофе только утром, – объясняет она.

Сейчас десять утра, и обычно в это время они спят.

Балаж не двигается в своем спальном мешке, потому что на нем нет ничего, кроме трусов.

– А... Габор вернулся? – спрашивает он.

– Он спит, – сообщает она.

Эмма уже перестала изучать шкафчики и теперь просто стоит и смотрит в растерянности на барную стойку.

– Где же мне взять кофе? – вопрошает она.

И тогда, словно это совершенно естественно, он говорит:

– Если хочешь, я тут знаю одно место...

Она смотрит на него, голого по пояс в своем спальном мешке, опирающегося на мускулистую руку с татуировками, на его накачанную грудь и в его маленькие искренние светлые глаза.

Немота между ними кончилась – теперь они говорят друг с другом, пусть круг тем для разговора пока невелик. И все же спускаться вместе по лестнице, выходить из дома и идти рядом по улице – в этом чувствуется совершенно особая интимность.

Балаж уже хорошо знает дорогу к улице с магазинами и кафе, и среди них есть несколько с металлическими столиками на узком замусоренном тротуаре. Они сидят на алюминиевых стульях, под хлопающим на ветру навесом. На нем темные очки в спортивном стиле, с узкими радужными стеклами и оранжевая футболка, заправленная в джинсы. Он потягивает кофе через прорезь в крышечке стаканчика и оглядывает залитую солнцем многолюдную улицу.

– Приятный день, – говорит он.

На ней тоже темные очки, и она улыбается ему, не без симпатии.

– Хорошо спала? – спрашивает он.

Она отвечает, что да.

Но вообще она держится несколько скованно, словно чего-то опасаясь. Повисает молчание.

Балаж, раздумывая, что бы еще сказать, встает налить себе очередную чашку кофе.

Не придумав ничего, он предлагает ей сигарету «Парк-лейн», и она берет ее. Он подносит ей зажигалку. На столе стоит простая стеклянная пепельница.

И тут он говорит:

– Я думаю пройтись по городу сегодня. Осмотреться – как тут что.

Он надеялся, что она как-то проявит интерес к этой идее, но ничуть не бывало. Она сидит по другую сторону круглого столика в своем топе без рукавов – тонкий бицепс обвивает татуировка колючей проволоки – и просто затягивается сигаретой, ничего не говоря.

– Здесь, должно быть, уйма всего интересного, – продолжает он. Снова не дождавшись отклика, он переходит к более решительной тактике: – А ты хотела бы увидеть что-то? Пока мы здесь.

Она издает смешок.

– Я не знаю.

Звучит это насмешливо, и он уже готов закрыть тему, когда она вдруг спрашивает равнодушным тоном:

– А что тут есть?

– Ну, как же... – Он старается казаться естественным. – Есть музей восковых фигур. Так ведь?

– А, ну да.

Похоже, Габор несколько преувеличил ее энтузиазм в отношении этого места.

– Ну, и что ты думаешь? – спрашивает он с намеком.

Она говорит, что не знает, где это находится.

Он говорит, что найти такое место не проблема.

Теперь в ней, кажется, проснулся интерес. Она улыбается ему, словно он рассказывает что-то веселое.

– Тебе это правда интересно? – спрашивает она.

Он пожимает плечами.

– Ну, да, – говорит он. – Почему бы нет?

– Не знаю, – говорит она. – Ты не похож на такого человека.

– Какого человека?

Продолжая загадочно улыбаться, она говорит:

– Ты понимаешь, что я хочу сказать.

– На человека, которому интересны восковые фигуры?

– Да.

– Мне интересны восковые фигуры, – говорит он не очень убедительно, а затем, уловив ее настрой, спрашивает: – А на какого человека я похож?

Она оставляет вопрос без внимания.

– Который час?

Он смотрит на часы – это скопище циферблатов, большинство которых ничего не делают, – и говорит ей время.

– Тебе это на самом деле интересно? – спрашивает она.

Ни один лишний мускул не дрогнул на его лице, когда он отвечает:

– Ага.

Они едут подземкой, и, стоя рядом с ней в шумном вагоне, он наслаждается завистью других мужчин, тем, какие взгляды они бросают на ее ноги в рваных джинсах и в туфлях на высоком каблуке. Она как будто не замечает этих взглядов и вообще ничего постороннего и спокойно стоит, покачиваясь в такт движению поезда, рассматривая сквозь темные стекла очков рекламу службы знакомств, или средства против выпадения волос, или схему линий метро.

Пока они ждали поезда на платформе «Финсбери-парк», она сказала Балажу, что ее впечатлил его уровень знания английского. Где он выучил язык? Он ответил, что в Ираке, и рассказал ей, к собственному удивлению, о своей службе. Он не пытался описывать это как захватывающее приключение, не сказал, что ему было там хотя бы интересно. Большую часть времени ему пришлось провести на военных базах размером с небольшой городок, играя в видеоигры в опрятных комнатах с кондиционером и поедая американскую еду. Ему не пришлось общаться ни с единым иракцем, не считая переводчика, который пытался продать ему наркотики, и он ни разу не выстрелил. Он был в *патруле*, то есть разъезжал по окрестностям в бронированном джипе, осматривая через узкое окошко блеклые равнины. Ничего особенного с ним ни разу не случилось. Главное, что ему запомнилось – и так он ей и сказал, – это постоянная жара, то, как она охватывала тебя сразу, как только ты выходил из помещения с кондиционером, и постоянный пот на коже.

Поднимаясь по эскалатору на станции «Бейкер-стрит», он спрашивает ее, какую знаменитость ей бы хотелось увидеть больше всего. Ответ его не радует. Он ненавидит этого придурка Джонни Деппа и его пиратские фильмы. Хуже того, он беспокоится, что она, говоря о своей симпатии к

Деппу, могла намекать ему, что сам он не в ее вкусе, чтобы он ни на что не рассчитывал. (Ну почему она не сказала – Брюс Уиллис?) Он жалеет, что спросил ее, и больше ничего не говорит, пока они не выходят на улицу.

Поднявшись вверх, они ищут указатели, как пройти к музею. А в итоге замечают огромную очередь страждущих «увидеть звезд». Там, где она начинается, в одном из отдаленных переулков, ответвляется добавочная очередь, состоящая из людей, не вполне уверенных, стоит ли становиться в основную очередь, которая размечена, примерно через каждые двадцать метров, указателями времени, оставшегося до входа в музей. На первом значится «Приблизительно 2½ часа», и это не близко от постоянно растущего хвоста. Ближе к цели – там, где указатель сообщает «Приблизительно 1 час», всевозможные мимы и клоуны на ходулях развлекают измотанных ожиданием детей.

Балаж, принимая ситуацию с присущим ему стоицизмом, встает в конец очереди. Что касается ожидания – в этом он отличается покорностью и долготерпением, – он даже отчасти гордится тем, что делает это без лишних эмоций.

– Мы ведь не собираемся столько ждать? – говорит она, вставая позади него.

– Ну...

Она смеется.

– То есть это же на несколько часов...

– Ага, – соглашается он.

– Нам это действительно надо?

– Не знаю.

Она скрещивает руки на груди, и они стоят минуту или две в легкой тени ранних летних сумерек, минуту или две, в течение которых очередь не двигается ни на метр, и Балаж улавливает недовольство Эммы – она начинает хмуриться, глядя на свои туфли.

– Может, займемся тогда чем-то другим? – пробует он спасти ситуацию и закуривает «Парк-лейн».

– Чем, например?

Он с унылым видом пожимает плечами.

– Мы могли бы прогуляться немного, – говорит она неуверенно.

В конце переулка виднеется зеленый свет, и они идут в эту сторону, поначалу молча.

И когда молчание грозит стать неловким, она спрашивает:

– Так когда ты вернулся из Ирака?

– Э... – Ему нужно собраться с мыслями, чтобы вспомнить. – Восемь

лет назад.

Кажется невероятным – просто невысказанным – что прошло уже восемь лет.

На самом деле даже больше – был декабрь 2004-го, ветреный зимний день на аэродроме, когда он вернулся домой.

– Восемь с половиной, – уточняет он.

Ему тогда было двадцать, а в армии он находился с восемнадцати. Он говорит ей, что оставался после этого в армии год или два.

– А чем ты занимался потом? – спрашивает она. – Работал в спортзале?

– Ну да, – отвечает он. – Работал в спортзале и еще кое-где.

– А где еще?

– Одно время я охранником работал, – говорит он и называет торговый центр «Теско»^[27] в Будапеште, который она тоже знает. – Вот там я и работал.

На этом тему можно было бы считать исчерпанной, но она спрашивает:

– И как там было?

Как там было? Была душная нейлоновая форма по образцу МВД, долгие часы шатания перед входом и унылые экраны наблюдения в комнате охраны.

– Ничего так.

Они дошли до перекрестка. На другой стороне выстроился ряд великолепных старинных особняков кремового цвета, в широком проеме между которыми просматривался зеленый парк. Улица, по которой они идут, проходит между этими особняками, где начинается велодорожка из красного щебня, и дальше ведет в парк. Они ждут на светофоре зеленого света. Он смотрит на высокие особняки и думает, что это место просто сделано из денег.

– В конце концов меня уволили, – говорит он. – Из «Теско».

– А почему?

– По подозрению в сговоре со злоумышленниками, – поясняет он.

– По подозрению?

– Ага, по подозрению. Но я ни с кем не сговаривался.

– А почему тебя подозревали?

– Ну, там много всего воровали. Так что от меня им все равно пользы было мало.

Правда заключалась в том, что у него была склонность попадаться в расставленные ловушки. Подстроенная потасовка, разыгранный сердечный

приступ, старая цыганка, продающая фиалки, или старик, рассказывающий бесконечную историю. Он все это принимал за чистую монету. Очень может быть, менеджер это понимал. И все же гораздо проще уволить человека, приписав ему злой умысел.

– Так ведь? – спрашивает он.

Они входят в парк и идут по асфальтовой дорожке вдоль края узкого зеленого озера. Людей вокруг немного.

– Ты сопротивлялся? – спрашивает она.

– Не-а. Мне сказали, если я уйду по-тихому, то мне напишут нормальную рекомендацию, так что...

Он пожимает плечами.

– И ты ее получил?

– Ну да, – говорит он.

– А потом ты получил работу в спортзале?

– Ну, в общем, да.

В самом узком месте через пруд перекинут маленький деревянный мостик, и они ступают по нему.

– Но мне этого не хватает, на самом деле, – говорит он. – По сути. Это ведь просто временная работа. Так что приходится заниматься чем-то еще.

– Чем-то, как это, – подсказывает она.

– Ну да, – говорит он.

Они останавливаются на мостике, и он смотрит на мутно-зеленую воду и закуривает. Ему, похоже, не по себе, он испытывает смущение от того, что она затронула тему, почему они в Лондоне. Или он первый ее затронул? Он этого не хотел, так ему кажется. И теперь он пытается замять эту тему.

– Когда я был мальчишкой, я хотел быть игроком в водное поло.

– Правда?

– Ага. Я был в форме, – говорит он. – Думал, что смогу стать профессионалом.

– И?..

– Я не знаю, – говорит он. – Как-то не получилось. Может, мне не хватало напора. Там были другие ребята, более напористые. – Он щурится, глядя на воду. – В общем, этого не случилось.

– Очень жаль.

– Ага.

Он думал, что давно свыкся с этим. Но теперь на секунду он снова ощущает боль сожаления – даже более отчетливо, более неотступно, чем когда-либо раньше. Он словно впервые понимает, что тогда было

поставлено на карту – вся его жизнь, вообще все.

– А кем ты хотела быть, – спрашивает он, – когда была маленькой?

Вопрос кажется каким-то странным.

Она как будто задумывается на несколько секунд, стоит ли вообще отвечать.

– Я не знаю, – говорит она. – Сбежать хотела.

Она кладет руки на деревянные перила мостика, на которых пляшут пятна солнечного света, и смотрит вниз, на воду. На зеленую воду, в которой плавают перья.

– Как жаль, что у нас нет хлеба для уток, – говорит она. – Есть что-то успокаивающее в том, чтобы кормить уток. Правда?

Балаж становится рядом с ней у перил.

– Ты так не думаешь?

– Ну...

– Наверное, ты не часто это делаешь, да? – спрашивает она, улыбаясь. – Такой крутой чувак, как ты.

– Ну да, не часто.

– Я пошутила, – говорит Эмма.

– Я понял.

– Когда я была маленькой, – продолжает она, – мы часто ездили в гости к бабушке с бабушкой. Они жили деревне. Я там кормила кур. Но вообще мне это не нравилось. От них так пахло...

– Да, куры вонючие, – говорит Балаж со знанием дела.

Она смеется.

– А разве нет? Ведь правда же.

Они идут дальше, теперь под деревьями, на другой стороне озера, его поверхность с легкой рябью виднеется сквозь колышущиеся листья цвета запекшейся крови темно-пунцового бука.

– Приятно здесь, в этом парке, да? – говорит она.

Он осматривается, как будто только сейчас замечает, что они в парке.

– Ага, – кивает он.

– Он такой ухоженный. Посмотри на те клумбы. У тебя есть подружка? – вдруг спрашивает она, словно невзначай.

Огорошенный таким вопросом, он отвечает:

– Ну, нет, сейчас нет.

Они идут дальше, секунда течет за секундой, а он молчит, хотя чувствует: нужно сказать что-то еще. Но что тут еще можно сказать? Ответ – нет.

– Сейчас нет, – говорит он снова.

Сами того не замечая, они сделали круг по парку и снова оказались в том месте, где вошли в него, рядом с велосипедной дорожкой из красного щебня.

Он спрашивает:

– Ты не хочешь выпить или пожевать чего-нибудь?

Они заходят в паб под названием «Глобус», оформленный в приглушенных красных тонах, с репродукциями Хогарта^[28] на обоях в полоску, заказывают по пинте пива и сидят там, среди немногочисленных туристов, пока за дверьми шумит улица.

– А давно вы с Габором?.. – спрашивает он, не вполне уверенный, какое слово лучше подобрать.

На самом деле ему сейчас меньше всего хочется вспоминать о Габоре, но ничего другого на ум не приходит.

– Около года, – говорит она.

– Как вы познакомились? – произносит Балаж, уже залипший на эту тему.

– По работе, – говорит она. – Он занимался фильмом, который я сделала. Так мы и познакомились.

– Он занимался фильмом?

– Да.

– И что он делал? – спрашивает Балаж и сразу же добавляет, как бы извиняясь: – Просто я никогда толком не знал, чем он вообще...

– Технической стороной, – поясняет она уклончиво. – Послепроизводственный этап. Дистрибуция. Больше дистрибуция. Он разбирается в компьютерах. Или знает таких людей. Ну, понимаешь – это же все в основном онлайн.

– Ясно, – говорит Балаж и поднимает свою пинту.

– Это вообще-то был мой последний фильм, – добавляет она через несколько секунд, как будто ему интересно.

– Да?

– Габор хотел, чтобы я это бросила, – объясняет она. – Сначала он к этому нормально относился. Даже более чем. – Она смеется. – Я даже уверена, ему это нравилось. Но потом, когда мы уже пробыли вместе несколько месяцев, это стало волновать его. Тогда он и сказал, что хочет, чтобы я это бросила.

– Но сейчас он не возражает, чтобы ты... Ну, то есть...

– Это самое? – уточняет она.

– Ага.

– Ну, это не он придумал, если ты об этом.
– Не он?
– Нет. – А затем, словно что-то сообразив, она говорит: – А он сказал тебе, что это его идея?
После секундного раздумья Балаж отвечает:
– Нет.
– Это идея Золи, – говорит она. – Знаешь Золи?
– Золи, ага.
– Это была его идея.
– Он приятель Габора, да?
– Не совсем. Ну, то есть, они не то чтобы *дружат*. Просто знают друг друга.
– Выходит, это его идея, – говорит Балаж, теперь уже не желая оставлять эту тему, но стараясь не показывать, как сильно она его волнует.
– Ну, он рассказал мне, сколько я смогу здесь заработать, и пообещал все устроить. Я ответила, что подумаю. Габору это не понравилось. Он не хотел, чтобы я занималась этим.
– Ну... даже не знаю, – произносит Балаж задумчиво.
Через открытую дверь паба доносится звук полицейской сирены.
– Я бы не смог с этим жить на его месте.
Она улыбается:
– Приятно это слышать. Тут можно курить?
– Э... – Он ищет взглядом пепельницу, но видит табличку «Не курить». – Я так не думаю.
– Тогда, может, выйдем на улицу?
Они стоят на тротуаре, в шуме уличного движения.
– Золи хочет, чтобы я переехала сюда! – кричит она.
– Правда?
– Он это *предложил*. В первую ночь, когда мы были в этом отеле и рядом не оказалось Габора. Он сказал, мне лучше переехать сюда. Сказал, что пристроит меня в хорошее место. Мое собственное. И мне придется работать только раз или два в месяц или что-то такое.
– А ты что сказала?
– Я ничего не сказала – просто рассмеялась. Он уверял, что не шутит, что тут нет ничего смешного.
– А ты хочешь переехать сюда?
– Что? И все время видеть Золи? Ну уж нет. Он – полное дерьмо, это точно. Согласен?
– Ну да, наверно, – говорит Балаж так, словно никогда не думал об

этом.

Он как будто все еще раздумывает об этом, когда она спрашивает:

– Знаешь, почему ты мне нравишься?

Он молча смотрит на нее.

– Ты не судишь людей, – говорит она.

– Не сужу? – спрашивает он.

– Нет, – произносит она. – Даже Золи. И уж точно не меня. *Точно* не меня. А я знаю, когда кто-то судит меня.

Когда пинты допиты, он спрашивает, не хочет ли она еще. Но она интересуется временем и отвечает, что нет.

– Думаю, лучше не стоит.

Затем она извиняется и идет в дамскую комнату. Какие-то пожилые американцы за соседним столиком с дорожной картой и безалкогольными напитками, похоже, провожают ее взглядами. Когда она прошла, один из них что-то говорит другому – и они сдавленно смеются. Да, думает Балаж, вот они ее судят, и нависает над столиком, упершись в него локтями, пытаясь рассмотреть Эмму, удаляющуюся в туфлях на пробковой подошве. Почти час дня. Несмотря на то что она отказалась от новой пинты, он предполагает, что вечер они проведут вместе – что еще им делать? – и он ошарашен, когда она говорит ему, вернувшись за столик:

– Тогда пойдем назад в квартиру?

Ему словно залепили пощечину.

– Да? – удивляется он, а затем, словно желая выразить свое неодобрение, добавляет: – Серьезно?

– А *ты* чего хочешь? – спрашивает она, будто предлагая ему выбор.

– Ну, не знаю. – Он чешет затылок.

На самом деле он очень даже знает – знает отчетливо до боли.

Когда проходит примерно десять секунд, в течение которых он молчит, она говорит:

– Думаю, нам надо двигать обратно.

Он грустно пожимает плечами:

– Ну ладно.

Они идут к подземке молча и почти не разговаривают в поезде.

Глава 4

Припаркованный «мерс», знакомые тени.

Габор говорит:

– Я слышал, вы с Эммой сегодня осматривали достопримечательности?

Он еще спал, когда они вернулись с прогулки, и Балаж не знает, что именно Эмма рассказала ему. Но сам факт того, что она ему что-то рассказала, огорчает его.

И он отвечает уклончиво:

– Да, в общем...

– Вы ходили в восковой музей, – говорит Габор.

– Ну да. Правда, мы туда не попали.

Балаж пока не уверен, как Габор смотрит на это, поэтому старается говорить осторожно.

– Не попали, – говорит Габор. – Она мне сказала. Она сказала, вам бы пришлось стоять два часа или типа того.

– Больше, – произносит Балаж.

– Ты можешь получить билеты вне очереди, – говорит Габор.

– Да?

– Да.

Габор обхватил руль указательными пальцами и смотрит прямо перед собой, через широкое ветровое стекло, на длинную темную Мейфер-стрит.

– Я так сделал, когда пошел туда.

– Я этого не знал, – говорит Балаж.

– Так чем вы потом занимались? – спрашивает Габор.

В этом вопросе кроется какой-то подвох – если она рассказала ему про музей и про очередь, то Габор уж конечно спросил ее, и она рассказала ему, что они делали потом. Тогда зачем – пытается понять Балаж – он спрашивает его? Он что-то подозревает? Или ищет расхождения с рассказом Эммы?

– Да в общем, ничем, – говорит Балаж. – Прогулялись немного. Как у тебя... Как у тебя все прошло вечером?

Габор как будто не прочь сменить тему:

– Все прошло прекрасно. Тебе стоило пойти с нами.

– Я устал, – говорит Балаж извиняющимся тоном.

– Да ну?

Кажется, Габор ему не очень верит.

– Ну да.

– Я подумал, может, ты хочешь подъехать к Эмме, – говорит Габор с улыбкой, как бы шутя. – Особенно после того, как вы отправились вместе гулять.

– Ты о чем? – спрашивает Балаж.

– Значит, нет? – Габор продолжает улыбаться.

– Нет, – говорит Балаж.

Он чувствует, как лицо начинает гореть, выдавая его.

– Просто большинство парней рядом с Эммой, – говорит Габор, глядя на него лукаво, – пускают, на хрен, слюни. Понимаешь меня? А ты вроде ничего такого.

– Нет, – говорит Балаж.

Но этого, похоже, мало.

То, как Габор это сказал – «Ты вроде ничего такого», – словно требует разъяснений.

– Ты не гей случайно? – интересуется Габор так, словно уже раздумывал об этом с некоторых пор.

На секунду Балаж теряет дар речи от удивления. А затем отвечает:

– Нет.

– Ничего страшного, если ты гей, – говорит Габор.

– Нет, – упорствует Балаж, – я не гей. Я э... нет.

– Она просто не в твоём вкусе или что?

С выражением муки на лице Балаж произносит:

– Слушай... Я не знаю...

– Эй, да ладно, старик. Я к тебе в душу не лезу.

– Да, все путем.

– Она не в твоём вкусе, не в твоём вкусе, – повторяет Габор. – Ну и ладно.

Больше они почти не говорят.

Балаж отмечает, что на него находит что-то вроде депрессии. Словно буря, грозившая разразиться весь вечер в жуткой тишине прокуренной гостиной, вдруг навалилась на него беззвучным штормом отчаяния. Сидя в тени, он думает со стыдом и тоской о своей жизни, о своих делах, о своих убогих, мелких радостях.

Звонит телефон Габора.

Это она, и, очевидно, у нее проблемы.

– Хорошо, просто оставайся там, – говорит Габор. – Просто оставайся на месте. Мы будем через минуту.

Закончив разговор, он говорит:

– Нам опять нужно подняться к ней. Она закрылась в ванной комнате.

Безликое великолепие номера 425. Телевизор шумит. На постели, напоминающей неистово взбитый яичный белок, сидит голый человек. Около сорока, хлипкого сложения, длинная физиономия кажется еще длиннее из-за расплывающейся лысины. Эммы не видно, но ее одежда – все, что она надевает для таких случаев, раскидана по полу. Так же, как и одежда голого человека. Он встает до странности неспешно, когда слышит, как они входят в номер.

– Вы кто? – спрашивает он.

– Где она? – спрашивает Габор.

– Там. – Голый указывает на дверь ванной, а затем возмущается: – Вы, блядь, кто такие?

– Присмотри за ним, – говорит Габор Балажу и, постучав в дверь ванной, кричит: – Эй, это я!

Дверь приоткрывается, и он исчезает за ней.

В ярко освещенной комнате Балаж стоит лицом к лицу с голым человеком, их разделяет не более метра. Этого типа как будто совсем не смущает нагота. Он громко сопит:

– Я с ней не закончил, ясно?

Балаж стоит молча и, похоже, выглядит так, словно не понял сказанного, потому голый спрашивает:

– Ты по-английски говоришь, горилла ебучая? Я не закончил. Так почему бы тебе и твоему дружку не убратся отсюда?

Балаж по-прежнему молчит, а голый продолжает:

– Думаешь, я ударил ее? Я ее не бил. – Он бросает слова в невозмутимое лицо Балажа. – Я только сказал, что она шлюха, это так и есть. Я ей сказал все как есть. Эй, горилла, макака ебаная! Я с тобой...

Свист удара.

Звук такой, точно собачьи челюсти вгрызлись в свиной хрящ – нос разбит и наполняется кровью.

Голый пятится к кровати, и вид у него неважный. Кровь растекается по губам и подбородку.

– Она в порядке, – говорит Габор, открывая дверь ванной. – Какого хера...

Голый на коленях, закрыл лицо руками, кровь течет между пальцев и капает на пушистый ковер.

Балаж выходит из номера. В коридоре все спокойно, словно ничего и не случилось. Клокочущий адреналин мешает ему найти служебную лестницу, и он спускается в стеклянном лифте. Дверцы раздвигаются, и он выходит в холл, в глазах у него рябит от яркого света. Мерцающее облако вокруг канделябра. Кровь на его кулаке, влажная минуту назад, теперь подсохла, и он чувствует, как дрожит его рука. Плавный поворот вращающейся двери – и тишина холла сменяется звуками ночи – прерывистый шум дорожного движения по улице, такси подъезжает ко входу в отель.

Балаж шагает дальше. Он идет по улице, в дробящемся свете фар отбрасывая на асфальт три тени. То и дело мимо него проезжают машины. Он ни о чем не думает, только чувствует прохладный воздух на своем лице.

Постепенно он начинает замечать окружающее: деревья, их листья колышутся темно-зеленой массой в свете фонарей. На другой стороне улицы темнота – там, должно быть, парк. На автобусной остановке люди.

Он останавливается перед темной витриной автосалона «БМВ» и думает, что ему теперь делать. В голове понемногу проясняются малоприятные детали инцидента, и Балаж закуривает «Парк-лейн». Он не вполне уверен, что, собственно, произошло. Он ударил того человека один раз как минимум, это он помнит. Судя по тому, как подрагивала и саднила его рука, удар был сильный. Вероятно, он сломал ему нос. Глядя сквозь стекло на призрачные, набычившиеся «БМВ», он говорит себе, что тот человек не станет заявлять в полицию. Хотя бы потому, что у него было обручальное кольцо – Балаж это заметил. Ему придется что-то соврать жене насчет разбитой физиономии, но он бы соврал ей в любом случае.

Балаж снова идет. Теперь он вспоминает, как Габор закричал на него, появившись из ванной, и, увидев человека в крови на ковре, продолжал что-то кричать, даже когда Балаж вышел в коридор. Габор такого явно не ожидал. А Эмма... Он был уверен, что успел увидеть ее на пороге ванной, обернутую в полотенце, и она резко вскрикнула...

Балаж на секунду задумывается, не лучше ли ему сразу свалить из Лондона – быстрее в аэропорт – и домой, в одиночку. Но у него нет при себе паспорта. Все на той квартире. Нет, он еще пройдет, пока не уляжется адреналин. А потом встретит проблему, какой бы она ни была, лицом к лицу.

Однако, когда спустя какое-то время он находит переулок, в котором они парковались, он не видит там «мерседеса».

Он не знает, как добраться от отеля до дома, кроме как на метро, но

оно откроется только через несколько часов. В четыре утра он в районе Найтсбриджа, рассматривает витрины «Хэрродса». Еще через полчаса он шагает по Итон-сквер. В пять, провожаемый взглядом полицейского, он проходит мимо Букингемского дворца. Уже светло как днем, солнце встало, и он ожидает открытия метро на станции «Грин-парк».

Час спустя он видит Габора в прокуренной гостиной их квартиры, тот говорит по телефону. Беседует он, очевидно, с Золи.

Пока говорит, на Балажа он внимания не обращает. Балаж стоит и ждет, пока Габор закончит, но затем тот тихо говорит в трубку:

– Да, он здесь. Только что вернулся. – Через минуту он кладет трубку и сообщает: – Золи рвет и мечет.

– Мне жаль.

– Ты знаешь, кому ты разбил нос?

Балаж молча качает головой.

– Какого хера ты творишь? – кричит Габор.

– Мне жаль, – повторяет Балаж, опустив глаза.

– Ты совсем, что ли, блядь, охренел?

– Я думал... думал, он ударил ее, – говорит Балаж.

– Нет, он ее не ударил. Я сказал тебе, что она в порядке.

– Она в порядке? Так что там случилось? Почему она?..

– Ты хоть вообще представляешь, – спрашивает Габор, не обращая внимания на вопрос Балажа, – чего мне это стоило?

После долгого молчания Балаж уже готов опять сказать, что ему жаль, но тут Габора прорывает. Он говорит жутким полупшепотом, вероятно потому, что Эмма спит в соседней комнате.

– Сперва мне пришлось разбираться с чуваком с разбитым носом, – говорит Габор, – который сидел на полу. Подавать ему полотенца, чтобы вытереть кровь, возиться с ним, как с инвалидом – это вообще было *отвратно*, чувак! Потом он начал говорить, что вызовет полицию. То есть он, блядь, прямо рассвирепел. Так что мне пришлось умасливать его, уверять, что полиция ни к чему, что ему лучше копов не привлекать. А он меня на хуй посылает, говорит, его не колышет, он все равно вызовет копов, и нас всех арестуют. И я очкую, что он так и *сделает* – он вообще не соображал, обдолбался кокаином, у него, видно, было сотрясение мозга или типа того. То есть он мог наделать глупостей, что-то, о чем *сам* потом пожалеет. И я говорю ему, что позвоню Золи и порешаю с ним, и чтобы он ничего не делал пока. И к тому же он еще шатается, на ногах не стоит, и не знает, где его телефон – его одежда и вещи повсюду раскиданы. Он же все

еще голый, и когда пытается встать, начинает заваливаться. Я звоню Золи, ага, но он, конечно, спит, потому что это, блядь, середина ночи, и сперва не отвечает, но я все названиваю – и наконец он берет трубку, и он, похоже, уже понял, что у нас проблема, иначе я не стал бы звонить среди ночи, и мне приходится выкладывать ему, в чем дело, я должен сказать ему, что ты, блядь, разбил нос чуваку. А он говорит: «А что сделал этот чувак?» И я должен сказать ему, что чувак не сделал ничего, то есть по факту, ты просто разбил ему нос. А Золи просто не может, блядь, *поверить*, когда я говорю ему все это!

Вошедший в раж Габор прерывается, чтобы закурить сигарету, а потом продолжает:

– И тут он катит на *меня* за то, что я привлек тебя в это дело – как будто это я виноват в том, что случилось. И он говорит, что переломает тебе ноги и все такое. То есть он вполне серьезно говорил, и, наверное, он знает людей, которые могут сделать это. Короче, я ему говорю, что чувак грозит вызвать полицию. А он говорит, я не должен позволить ему это. И я спрашиваю: «Что ты, блядь, от меня хочешь? Чтобы я убил его?» А Золи отвечает: «Дай я с ним поговорю». И я говорю чуваку, с ним хочет говорить Золи, и передаю ему трубку. На чувака вообще страшно смотреть – то есть рожа распухла, как мяч, и вся лиловая, а нос – это вообще писец какой-то, просто месиво. Короче, он берет трубку и говорит с Золи, и он, блядь, сердитый как черт – орет, что сейчас вызовет полицию, пусть он даже в таком виде, но что мы все равно получим свое и сядем в тюрьму. Блядь, Золи полчаса, наверно, пришлось его успокаивать, и потом чувак дает мне трубку и говорит: Золи хочет мне что-то сказать. И Золи объясняет, что они договорились с чуваком, что он не станет звать полицию, если мы вернем ему деньги, и тут мне прямо полегчало, на хрен, что я все разрулил и он не вызовет полицию, так что я говорю Эмме: давай деньги, и даю их назад чуваку. Я себя чувствовал как обосранный.

Габор гасит бычок.

Балаж стоит все там же, у двери.

Габор говорит:

– Я ему говорю одеться и умыться и обещаю вернуться через десять минут. Беру Эмму, веду в машину, оставляю ее там и иду назад в комнату, где чувак уже оделся и смыл почти всю кровь с лица. В общем, он исчезает, а мне приходится убирать за ним комнату. Там ведь кровища повсюду.

Габор переводит дыхание – видно, история утомила его.

– Так что я звоню Джулии, и мы находим в каком-то шкафу типа пылесос для этого ковра, какую-то моечную машину, и она показывает, как

ей пользоваться, и я должен чистить этот ковер.

Габор, чуть не плача, кричит на Балажа:

– Это тебе не пылесос, а хрен знает что! Я даже не понял толком, как он работает!

Он закуривает еще одну сигарету. Балаж, стоя на месте, тоже закуривает.

– То есть я тебя просто ненавижу, пока там возился, – говорит Габор. – Я, блядь, хотел тебя убить.

– Мне правда жаль, – повторяет Балаж.

– Куда ты, на хуй, ушел?

– Не знаю. Никуда.

Габор смотрит на него несколько секунд, будто не понимая, а потом говорит:

– Я не смогу заплатить тебе, без обид. То, что я собирался тебе заплатить за эту неделю. Нам пришлось отдать все деньги чуваку – это гораздо больше, чем я собирался тебе заплатить, ясно? Мы потеряли деньги по твоей вине, так что...

Хотя Балаж совсем не ожидал такого поворота, он просто пожимает плечами.

– Золи хочет, чтобы ты выплатил разницу, – продолжает Габор с нажимом. – Он хочет, чтобы ты нам выплатил ебучую разницу, и это почти миллион форинтов. Я сказал ему, ты не сможешь это выплатить, у тебя просто нет таких денег, а он сказал, что, может, ты предпочтешь, чтобы тебе переломали ноги. То есть он, мать твою, злой как *черт*. И Эмма тоже, – говорит Габор более спокойно, отводя взгляд.

– Правда? – спрашивает Балаж тихо, с удивлением.

– А как же! Ей пришлось трахаться с ним, – говорит Габор с расстановкой, – а ей даже не заплатили.

– Ну да.

– Так что да, она злится.

– Но она в порядке?

Габор пропускает вопрос мимо ушей.

– Слушай, – говорит он, – еще кое-что. Я думаю, ты должен теперь оставаться здесь в любом случае. Я сам обо всем позабочусь.

– В смысле?

– Я думаю, больше ты в этом не будешь участвовать. Короче, мы тебе теперь не платим, так что... Слушай, забудь. Я сам справлюсь. Ты свою работу сделал. Ясно?

Золи в тот день, естественно, не появляется, ведь денег у них нет, а к тому времени, когда он заходит на следующий день, он, похоже, уже остыл и просто игнорирует Балажа. Балаж лежит на диване с «Harry Potter és a Titkok Kamrája» и тоже игнорирует его. Уже не возникает разговора о ломании ног – только холодное пренебрежение, положенное тому, кто серьезно облажался.

И такую же холодность, как понял Балаж, проявляла к нему Эмма. Она, казалось, избегала его прошлым вечером. В гостиную она ни разу не зашла, и только случайно столкнувшись в ванной, они обменялись парой слов.

– Ой, извини, – сказала она, не глядя ему в глаза.

И Балаж, выглядывая из-за двери, сказал:

– Порядок. Я уже закончил.

Но он продолжал стоять в дверном проеме.

– Слушай, мне жаль, – сказал он.

Не поднимая глаз, она кивнула.

– Да ладно.

Вот и все – он отошел в сторону, а она вошла во влажную, затхлую ванную.

Через несколько часов они с Габором отправились в отель.

Габор заглянул в гостиную:

– Порядок, мы едем.

– Ага, – сказал Балаж. – Ясно.

Когда они ушли, он еще посидел какое-то время на месте. Задумчиво выкурил две сигареты, а потом накинул куртку и вышел на улицу. Вечернее небо было густо-синим, и его прорезали следы самолетов различной степени четкости – одни белые, другие, вероятно, находившиеся повыше, нежно-розовые. А внизу, там, где он шел, узкую улицу заполняли сумерки, серебря стекла припаркованных машин. Вокруг было тихо, и внутри он ощущал приятную пустоту – что-то, похожее на темные окна домов, мимо которых он шел, такую мирную пустоту. Тихие интерьеры. Никого нет дома.

Прошло меньше недели с тех пор, как он впервые прошелся по этой улице, от квартиры до магазинов, но этот маршрут уже казался ему до боли знакомым – чем-то таким, что известно ему вдоль и поперек и о чем ничего нового он уже не узнает.

А еще в «Курах-гриль» была девушка. Она всегда находилась там, принимая заказы, но только сейчас он по-настоящему заметил ее. И еще он обратил внимание, когда она принимала его заказ, что ее тихую улыбку,

обращенную к нему, он видит уже не впервые. На шее у нее была цепочка с маленьким золотым крестиком, а из V-образного выреза футболки выглядывал кружевной краешек лифчика. Сидя за столиком, он смотрел, как она обслуживает очередного посетителя, как серьезно она держится, как ее рука сжимает ручку, записывая заказ. И ему захотелось узнать, как она смотрит на жизнь и всякое такое. У нее было приятное лицо, хотя сейчас она не улыбалась.

Часть 4

Глава 1

На улице светло, когда он выходит из отеля. Свет. Извечный свет солнца, приоткрывающий пустые улицы, оттеняющий контуры домов, оштукатуренных фасадов. И тишина. Здесь, в самом сердце Лондона, тишина. Не полная тишина, конечно. Настоящей тишины здесь никогда не бывает. Гул самолета в вышине. Воркование голубей, сгрудившихся на карнизе. Деловитый рокот такси по Суссекс-гарденс, мимо отелей с террасами. Из одного такого отеля выходит он.

Он чувствует, что покидает Лондон незаметно, тихо выскальзывая из отеля, пока все еще спят, и шагает с одним небольшим портпледом к площади, где оставил машину. Площадь прямо за отелем, довольно заброшенная. Несколько скамеек и немного зелени в центре. Липкие мощеные тротуары. Машина стоит там одна на пустой парковке. Это не его машина. Чужая. Он ее просто перегоняет. Бросив сумку на пассажирское место, он садится за руль.

Сидит несколько секунд, наслаждаясь безмятежностью уединения. Уединение, свобода. Это почти одно и то же – так ему кажется, пока он просто сидит.

Затем он заводит двигатель, и тишину площади нарушает громкое урчание.

Теперь он понимает, что не знает, в какую сторону ехать. Он прикидывал вчера маршрут, и он казался довольно простым – дорога из Лондона, на юго-восток, к Дувру. А теперь даже найти дорогу к реке, похоже, будет сложно. Он пытается нарисовать путь в уме, улицы, по которым ему нужно будет проехать. Только когда он составил мысленный образ места, куда направляется, и не раньше, он трогается с места.

Он ждет на светофоре на Парк-лейн, с одной стороны от него какой-то фешенебельный отель, с другой – парк, но он сонно смотрит прямо перед собой.

Достигнув реки, он снова в затруднении. Он надеется, там будут указатели на Дувр. Возможность заблудиться слегка нервирует его, пусть это даже не грозит ему опозданием на паром. У него еще уйма времени. Просто у него такая привычка – когда путешествует, рассчитывает время с запасом.

Прошлым вечером он лег спать очень рано. А предыдущим вечером, в пятницу, он гулял допоздна, с Макинтайром, специалистом по германской

филологии в УКЛ^[29]. И ему пришлось встать пораньше в субботу, чтобы успеть на поезд до Ноттингема и забрать машину от предыдущего «хранителя», пакистанского доктора. (Доктор Н. Хан – значилось в документах.) Он проделал все это в состоянии похмелья, отчего весь день прошел точно во сне – и даже сейчас ощущение было такое, словно это все ему приснилось – все то время, что он провел в гостиной доктора Хана, просматривая базу данных по техобслуживанию под пристальным взглядом хозяйского кота.

Он объезжает Гайд-парк-корнер^[30], солнце заливает светом Пиккадилли словно на картине Тернера, дворцы напротив парка частично размыты потоками света.

Он щурится и пытается закрыться от света рукой, как бы отталкивая его.

Макинтайр не очень-то ему помог. Ожидалось, что он просмотрит рукопись, в частности, на предмет голландских и германских аналогий. Они говорили об этом какое-то время, сидя в «лоулэндере»^[31]. Макинтайр со своей типичной легкой издевкой всегда норовил встретиться там. Сдвиги в германском произношении в начале Нового времени, к примеру. То, как некоторые наречия...

Он должен сосредоточиться, пока тут проезжает, на схеме улиц вокруг вокзала Виктория.

То, как некоторые наречия оставались невосприимчивыми к этим сдвигам спустя более пяти столетий.

Дорожный поток тянет его сначала в одну сторону, затем – в другую, мимо пустых офисных башен. Он ищет одностороннюю дорогу, которая в итоге выведет его налево, на Воксхолл-бридж-роуд.

Туда.

Нет, Макинтайр оказался не так полезен, как мог бы. Очевидно, он о чем-то умалчивал. Обычная профессиональная ревность. Он не хотел раскрывать слишком много из того, над чем сейчас работал. Поэтому он так и стремился сменить тему беседы. Все время уводил разговор подальше от работы. Интересовался после нескольких стаканов «Дювеля» его «интимной жизнью».

– А как тогда твоя интимная жизнь? – спросил он.

Что ж, он упомянул Валерию. Сказал что-то о ней. Что-то уклончивое.

Светофор на середине Воксхолл-бридж-роуд начинает мигать, пока он приближается к нему, и после секундного колебания он останавливается.

Макинтайр был женат. Или нет? Дети.

Светофор загорелся зеленым. Он неспешно трогается с места. Через минуту – Темза. Мгновенно возникающее ощущение огромного пространства. Вода, белая под солнцем.

И снова улицы.

В южном Лондоне чувство свободы даже усиливается. Этих улиц он не знает – возможно, поэтому. Спящие особняки незнакомы ему. Как и медленно крошащиеся понтоны. У него возникает смутное соображение, что ему нужно найти Олд-Кент-роуд. Олд-Кент-роуд. Эта безумная игра в «Монополию», произошедшая однажды в профессорской. Он думает об этом и на секунду представляет Олд-Кент-роуд, облаченную в желто-коричневую ливрею.

Указатели на Дувр заводят его глубже в лабиринт улиц юго-восточного Лондона. И в этом лабиринте чудесным образом нет людей – тихие улицы жилых кварталов с побитыми временем магазинами. Солнце освещает их грубые кирпичные фасады. Грязные окна занавешены. Только на бензоколонках видны признаки жизни. Кто-то заправляется.

Кто-то уходит прочь.

У него в запасе еще столько времени, думает он, что вполне можно успеть на более ранний паром. Его паром «отчаливает», как еще говорят, чуть позже восьми. Так что да, он вполне может успеть на предыдущий – еще нет и полшестого, а он уже почти достиг Блэкхита, уже въезжает на пустую дорогу, поверхность которой сияет, точно вода. Скорость. Здесь такое сплетение разных дорог. Он должен внимательно следить за знаками.

Да, у Макинтайра несколько детей. Неудивительно, что он казался таким потрепанным и замученным. Таким раздражительным. Какой-нибудь домик где-нибудь на окраине Лондона, полный всякого барахла. Полный шума. Они с женой вечно грызутся. Даже потрахаться нет сил. Кому это нужно?

«Кентербери», сообщает указатель.

И он думает, ощущая легкую дрожь возбуждения: *А этим путем шли пилигримы Чосера. Верхом на рысаках. Все эти истории. На дорогах, размокших от грязи. А когда пойдет дождь – капюшон. Мокрые руки.*

Его сухие руки сжимают оплетенный кожей руль. Его глаза за солнечными очками озирают уходящие вдаль дороги. И все шоссе в его полном распоряжении.

Как прекрасно помечтать об этом. Вся притягательность медиевистики – языки, литература, история, искусство и архитектура – погрузиться с головой в этот мир. В это иномирье. Надежно иное. Иное почти во всех отношениях, не считая того, что все это было здесь. Взгляни

на те поля по обеим сторонам дороги. На те низкие холмы. Это было здесь. Они были здесь, как и мы здесь сейчас. И это тоже уйдет в прошлое. Хотя на самом деле мы в это не верим, ведь так? Мы не в состоянии поверить, что наш собственный мир *уйдет* в прошлое. Но разве он может быть вечным? Нет. Он превратится во что-то другое. Медленно – слишком медленно, чтобы это заметили люди, живущие в нем. И это уже происходит, это всегда происходит. Мы только этого не замечаем. Так же, как и изменения звуков в нашем языке.

«Некоторые замечания о представлении разговорного диалекта в «Рассказе мажордома»^[32].

Убойное название его первой опубликованной работы. Опубликованной в журнале «Medium Ævum LXXIV»^[33]. Хотя первоначально она писалась для «Юбилейного сборника» Хамера – того самого Хамера, который курировал его докторскую диссертацию, когда он появился в Оксфорде в тот год. Высокий лысый человек, живший в просторных, элегантно обставленных комнатах при колледже Крайст-черч. Он буквально предлагал тебе херес, когда ты заходил к нему – вот это была *настоящая* старая школа английской филологии. Автор таких работ, как «Фонетические изменения в староанглийском для начинающих» (1967), профессор Хамер, казалось, жил в крепости невразумительности. А по ночам ему, должно быть, снились сны – так думал его молодой ученик, приехавший из-за границы, потягивая его херес, – о палатальной дифтонгизации, об утрате звука *h* и компенсаторном удлинении.

И он завидовал этим его безобидным снам. В них было что-то удивительно умиротворяющее.

Удивительно умиротворяющее.

Все это так устоялось – вот в чем дело. Это все случилось тысячу лет назад. И медиевист сидит в своих штудиях, как в колонне света, затерявшись в грезах о жизни на дальней стороне этого океана времени. Своего рода упражнение на тему *Memento mori*^[34]. Медитация о переменчивой природе времени.

Ему нравится маленький мир университета. Некоторые, он знает, ненавидят этот мирок. Им подавай Лондон.

А ему нравится. Сказочная топография городка. Понарошечный мир обнесенных стеной садов. Тишина летней поры. Выложенная камнем проходная и почтительный привратник. Да, понарошечный мир, словно фантазия застенчивого ребенка.

Чтобы было где спрятаться.

Мечтая о замках с высокими шпилями.

Солнце сверкает на широкой трассе.

Сейчас только шесть, и он будет в Дувре, скорее всего, через час.

Да, ему нравится маленький мир университета. Ему *нравится* его монастырская теснота. Иногда она даже кажется ему недостаточной. Чтобы мир настоящего сделался еще более далеким. Ему кажется, он был бы вполне доволен жизненным укладом средневекового монастыря – в качестве богослова, по большей части свободного от ручного труда. Ему бы это понравилось.

Естественно, при одном очевидном условии.

Незаметно для себя он разогнал машину за девяносто километров в час. Она развивает скорость без всяких усилий. Он слегка отпускает акселератор, и стрелка немедленно начинает клониться назад, и в первый раз за это утро он чувствует сонливость – гипнотическую сонливость, вызванную рокотом двигателя и однообразием широкой пустой дороги. Долгими моментами это напоминает ему картинки на экране компьютера. Просто картинки. Не имеющие последствий. Он встряхивает головой, перемещает руки на руле.

Да. При одном очевидном условии.

В прошлом году, во время зимнего триместра, он наконец-то сделал то, чего хотел так долго, – закрутил роман со студенткой. Он помышлял об этом с самого прибытия в Оксфорд, когда еще заканчивал диссертацию. Но ему для этого потребовался не один год – и эта интрижка, когда она все же завязалась, во многом разочаровала его. Она продлилась всего две недели. Но воспоминания о ней, о ее юности...

День или два он грустил в отвлеченной манере после того, как она положила конец их связи с помощью письма, написанного ее школьным почерком. Она патетически переоценивала его эмоциональную вовлеченность в их отношения. И тогда он понял, что тоже переоценивал ее вовлеченность. Так же, как он намеревался удовлетворить свою давнишнюю фантазию, она удовлетворяла *собственную*, ничуть не менее эгоистичную. Не считая того, что ей было девятнадцать или двадцать и ей по возрасту полагалось себялюбие, она еще, должно быть, не понимала, как легко и как надолго можно причинить боль человеку, тогда как он был старше ее больше чем на десять лет и должен был бы уже усвоить такие вещи.

Только когда он увидел ее, вскоре после расставания, в объятиях какого-то студента – какого-то мальчишки, то на секунду испытал что-то похожее на боль, что-то набоковское, губительное, когда заметил их вместе

во дворе, залитом весенним солнцем.

Хотя к тому времени он уже завязал отношения с Эрикой, медиевистом-латинистом из Ориэль-колледжа. Но и эти отношения также продлились недолго.

Дни, проведенные в Лондоне, истощили его. Не только встреча с Макинтайром. Он встречался и со своим издателем. А еще выступал на симпозиуме по фонетическим изменениям в староанглийском в УКЛ. Ох уж эта социальная активность. Он повидался с Эммануэлем – низкорослым высокомерным итальянцем, филологом, закончившим докторскую диссертацию несколько лет назад и работавшим теперь в Лондоне адвокатом. Эммануэль спрашивал насчет Валерии, как у них все обстоит. Он познакомился с ней на вечеринке у Мани, в прошлом сентябре.

– Я не знаю, – сказал он. – Как-то более или менее. Кажется. Мы встречаемся. Я не знаю.

Уединение, свобода. Это чувство не оставляет его на пароме, несмотря на близость других людей. Все они случайные попутчики, незнакомцы, они его ни к чему не привязывают. Они о нем ничего не знают. У него перед ними нет обязательств. Морской ветер разгоняет летнюю жару на открытой палубе, вдоль которой закреплены спасательные шлюпки. Палуба качается. Уходит из-под ног и снова давит на подошвы. Англия уменьшается вдали. Ветер налетает, треплет его волосы. Где-то в помещении, в ограниченном теплом пространстве, люди едят и выбирают товары. Он бродит между ними, безымянный и невидимый. Сидит за столиком один. Его уединение в течение часа, занимающего путь до Франции, никем не нарушается. Он стоит у окна, позолоченного солнцем и морской водой. Смотрит на игривые волны. И чувствует себя свободным, точно чайка, парящая на ветру. Уединение, свобода.

Едва съехав с корабля и включив кондиционер и «Глорию» Вивальди, он вливается в дорожное движение Франции с этой экстатической музыкой в ушах.

Та-ди-и

Та-да-да-ди-и

Та-да-да

Асфальт блестит. Субботнее утро. По обеим сторонам шоссе лежат ясные равнины с фермами.

Он хорошо знает это шоссе. Оно ведет к так называемому Опаловому берегу, Кот-д'Опаль, и дальше к Остенде. Слева от него тянутся

нанесенные ветром дюны.

«Welkom in West-Vlaanderen»^[35], – гласит указатель.

Теперь он словно едет через собственное прошлое, через пейзаж, пронизанный живыми нервами, именами, воскрешающими воспоминания с почти болезненной четкостью. Коксейде, где он гулял однажды с Дельфин и собачкой ее матери – собачка рыла песок среди пучков пригнутой ветром травы. Ньивпорт, где он был тем летом с родителями. Запах моря, вдающегося в сушу, поднимался по узким улочкам, а в конце всех этих улочек, по которым ты спускался к морю с пластмассовой шпагой в руке, лежал молочно-белый горизонт. Руселаре, где они гостили у родителей отца – загородный домик, с полями хмеля позади аккуратного садика. И хотя эти воспоминания четкие, как грани обработанного ювелирного камня, они до странности малы, словно он видит их с обратного конца телескопа. Прошли годы с тех пор, как он был здесь, на этой выровненной земле у моря, полного кораблей, и то, что его жизнь продолжается уже достаточно долго, для того чтобы события того ветреного дня в Коксейде произошли больше десяти, больше пятнадцати лет назад, почему-то шокирует его. Он уже тогда был взрослым в какой-то степени, однако все еще думает, что его взрослая жизнь только начинается.

Ощущая легкое недомогание, он останавливается залить бензин.

Заправляя бак, он смотрит на шоссе с по-воскресному редким движением.

Это страстное желание, чтобы все оставалось таким же. Чтобы тот день в Коксейде растянулся на всю его жизнь. Почему эта мысль так притягивает его? Или сегодня и этот самый момент, резкий запах льющегося бензина, от которого тяжелеет голова. Шоссе, вялое движение выходного. Здесь и сейчас. Бледное утреннее небо. Уединение и свобода. Растянутые на всю жизнь. Страстное желание, чтобы все оставалось таким же.

Бак полон.

По пути от кассы – почему-то странно было общаться с кассиршей на своем родном языке – он отмечает, как его радует шикарный внедорожник, в котором он путешествует. Он испытывает гордость, садясь за руль и заводя двигатель нажатием кнопки. Станько доверяет ему перегнать его, подписывает бумаги, передающие право собственности. И хотя он не очень знает его – на самом деле они встречались только один раз, – у Станько есть все основания полагать, что он *справится* с перегоном.

Недаром Станько полицейский. Старший полицейский Скавины, городка на юге Польши, теперь пригорода Кракова – вблизи многозального

кинотеатра, в котором показывают новейшие фильмы, тарахтят тракторы на картофельных полях.

Не пытайся связываться со Станько. Только не в Скавине и не в ближайших городках, таких как Либертув или Воловице.

Легко представить его за рулем своей машины, на почти одинаковых улицах района во время патрулирования, с раздувшимся бумажником.

И как только этот угрюмый огр и его страшная женушка произвели на свет такую прелесть, как Валерия...

Что ж, возможно, она подурнеет с возрастом. Об этом стоило подумать, хотя его пока не привлекали долгие раздумья. Он все еще не смотрит на эти отношения серьезно. Они еще кажутся новыми, даже в какой-то мере условными. Некоторое время назад у него было такое чувство, что между ними нет взаимных обязательств, что они могли встречаться с кем-то еще. Но он этого не делал. (Только если не считать латинистку Эрику, которая в прошлом сентябре еще не совсем исчезла из его мира.) Что касается Валерии, за нее он не мог ручаться.

Он повернул от моря, мимо Брюгге.

Затем проехал Гент, где он получил степень бакалавра. По английскому и немецкому. «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь. Парсифаль».

После Рождества в прошлом году он провел несколько дней в доме ее родителей, выкрашенном в ярко-оранжевый цвет. Над белой парадной дверью закругленный балкон. Сад скрыт под снегом. Валерия встретила его в аэропорту Кракова и привезла домой – к зданию на окраине Скавины, вблизи бензоколонки.

Каждый день, пока там оставались, они катались на лыжах в Закопане. («Ты на лыжах ходишь?» – спросила она его, как бы между прочим, когда они только познакомились на вечеринке у Мани. «Хожу ли я на лыжах? Я же бельгиец», – ответил он невозмутимо. Она улыбнулась.) Она прекрасно держалась на лыжах. Он с опаской съезжал за ней по самым крутым склонам во всем Закопане.

Когда он приближается к Брюсселю, в небе над ним сходятся облака. Ветер колышет деревья по сторонам шоссе. Будет дождь. По мере продвижения лучи яркого света выхватывают отдаленные признаки города. Он знает путь, даже не думая о нем – тоннели с потеками на стенах, вид на Уккел (улицы, обсаженные деревьями, по которым он ходил когда-то школьником-книжником, жившим в просторной квартире), а затем, когда начинается дождь, съезд на шоссе Е 40 к Льежу. Он включает дворники, и они начинают елозить по стеклу.

С тех пор, после Рождества, они виделись каждые несколько недель.

Постепенно росло ощущение того, что они – пара, возникало чувство, что их связывают обязательства. Он не стал бы пока говорить о чем-то более серьезном. Иногда она приезжает к нему в Оксфорд, или они проводят выходные в Лондоне, или бывают где-нибудь еще. Они встречаются по большей части на нейтральных территориях, в отелях. В феврале они съездили во Флоренцию. На Пасху провели неделю на Додеканесе^[36], перебираясь с острова на остров, на продуваемой ветром палубе теплохода на подводных крыльях в мире ярко-синих тонов.

Постепенно они все больше раскрываются друг другу.

– Ты, – как-то сказала она, – типичный единственный ребенок.

– А именно?

– Эгоистичный, – пояснила она. – Избалованный. Тебе даже на ум не приходит, что ты можешь не быть центром вселенной. Что придает тебе определенный магнетизм...

– Ты мне явно льстишь...

– Это тебя не красит, – сказала она, – но в тебе это есть.

Она тасовала колоду карт, ее Таро. Для него это было сюрпризом. Казалось, в ней есть что-то, характерное для приверженцев «Нью эйдж», но он сказал себе, что это не серьезно в плане самоопределения.

– Ладно, сейчас ты возьмешь три карты, – сказала она. – Прошрое, настоящее, будущее.

Они лежали на его кровати. В Оксфорде. Было субботнее утро. В прошлом месяце.

– Ну... – Она протянула ему колоду веером. – Бери одну.

С шутливым видом он вытянул карту.

– Туз жезлов, – сказала она. – Прошрое. Бери еще.

– Башня. – Она делано встревожилась. – Черт побери. Настоящее. Бери последнюю.

Когда он вытянул третью карту и перевернул ее, она сказала:

– Император. Будущее.

– Звучит хорошо, – предположил он, довольный собой.

Она изучала три карты, неровно лежащие на листе бумаги.

– Хорошо, – сказала она не очень уверенно. – Кажется, я понимаю.

– Давай, говори.

– Пора тебе повзрослеть. Если в двух словах.

Он рассмеялся.

– И что же это значит?

– Ну, смотри сам. – Она указывала на туз жезлов. – Это очевидно, сам знаешь... Фаллический символ.

Похоже, так все и было. На картинке рука держала длинный жезл с округлой шишкой на конце, полусферой с разрезом.

– Да, – сказал он. – Похоже на то.

– Ну, это *прошрое*.

– Что – мне теперь нужно повеситься?

– Не глупи. – Трудно было сказать, насколько серьезно она к этому относилась, но она казалась сосредоточенной. – Настоящее. Башня. Какой-то неожиданный кризис. Все перевернуто вверх дном.

– Мне ни о чем таком не известно.

– Разумеется. Ты ни о чем не узнаешь, пока это что-то не рухнет на тебя.

– Если это не ты.

Она словно не слышала.

– Теперь давай заглянем в будущее. Император – мировая власть...

Он отпустил какое-то глупое замечание о том, что это очень на него похоже, после чего начал ласкать ее сосок, пробуждая его к жизни. Они оба были голыми.

Она сказала:

– Я думаю, эти карты говорят о том, что, может быть, тебе нужно перестать все время думать о своей... *штуке*.

Он рассмеялся:

– Моей штуке?

– Об этом.

Она ткнула в «это» пальцем.

– Короче, – сказала она, глядя ему в глаза, – тебе пора перестать бегать за юбками.

– Но я не бегаю за юбками. Я не такой.

– Нет, ты как раз такой.

– Даю слово, – сказал он ей, – я не такой.

Модель их отношений просто идеальна, думает он. Он не может представить чего-либо более идеального. Не может представить свою жизнь более счастливой, чем сейчас.

Большие склады завода «Стелла Артуа» в Левене, дымящие трубы, чуть размытые мелким дождем.

Как хорошо он знает это шоссе на всем его протяжении, его различные покрытия, звук шин на них, и канавку при переезде из Фландрии в Валлонию. Как часто в те годы, когда учился в Генте, он проезжал по этой дороге, и каким небольшим кажется теперь это расстояние, всего часть его

большого путешествия – он ведь уже на полпути в Льеж, а ведь как будто только что покинул Брюссель.

И вот он, Льеж – место, где дорога ныряет в долину.

По мере того как он поднимается на другой стороне, обходя медлительные грузовики, в лесах начинают появляться сосны.

Внезапно все кажется таким свежим.

Ему нужно закончить статью для «Журнала английской и германской филологии»; он надеялся уже дописать ее. Вопрос заключается в том, переходила ли в некоторых случаях фонема *æ* в пред-западно-саксонский период в *a* или же исходное изменение от *a* к *æ*, постулируемое для западногерманского периода, иными словами до заселения англосаксов в Британию, никогда в действительности не происходило. Принципиальным свидетельством в пользу прежней гипотезы всегда являлась форма *Slēan*^[37] – если удастся показать, что *эта* форма являет собой аномалию, тогда этот тезис, освященный веками, окажется под большим вопросом. Отсюда вытекает значимость его статьи, уже, в принципе, принятой к публикации журналом, «Аномальные факторы формы *Slēan* – некоторые предположения».

Выступая на симпозиуме УКЛ на прошлой неделе, он опирался на материал из своей статьи, как бы поддразнивая коллег. Довольно смелый шаг. (Надо было видеть лицо Макинтайра!)

Да, это могло быть именно тем, чего он искал, – тем самым открытием, которое сделает его имя в мире германистики нарицательным. И тогда его труды сделаются *обязательными к прочтению* в профессиональных кругах. Мировая власть. Так что этому стоило посвятить время – и с этой целью уединиться на все оставшееся лето. Перестать постоянно думать о своей *штуке*.

Он сидит в большом кафе при автосервисе «Шелл», с плакатом «Формулы-1», ест сэндвич с сырокопченой колбасой и пьет минеральную воду. Трасса Спа-Франкоршам где-то неподалеку, в этих лесах.

В кафе немного посетителей. Даже несмотря на самый разгар лета – вторая неделя июля, – погода держится скверная, и мало кому охота проводить время здесь, в лесах, когда то и дело льет дождь, окутывая темные стволы сосен белесой пеленой.

Озябшими руками он заливает в машину бензин. Ему кажется, что здесь все дешевле, чем в Германии. Но он не уверен. В любом случае, за бензин платит Станько. Он засовывает чек в бумажник, рядом с другими чеками, и снова выходит под дождь.

Здесь заканчивается известная ему дорога – дальше шоссе идет на

восток к Кельну. Сидя в машине, он просматривает карту, распечатанную с «Гугла». Нечеткая линия отмечает по диагонали путь от того места, где он находится, до Германии, мимо Люксембурга. Шоссе Е 42. Кажется, ничего сложного. Он складывает карту и еще недолго сидит, слушая, как дождь барабанит по крыше, и допивая кофе. Люксембург. Он никогда там не был. Все равно как графство Суррей было бы страной. Нелепость. *Аномалия*. Как Slēan. Наричательное имя. Он должен посвятить себя работе. Перестать думать о своей штуке. Пора повзрослеть. Если в двух словах. Ему понравилось, как она это сказала.

Все ветровое стекло залито дождем. Лето. И все же в дожде есть что-то романтическое. Людей вокруг немного. Это была ее идея – встретиться во франкфуртском аэропорту. Не в аэропорту города Франкфурт, а во Франкфурт-Хане, где нет излишеств, глубоко в сельской местности, и совсем не близко к Франкфурту; Франкфурта даже нет на его карте с «Гугла», даже при том, что маленькая точка, обозначающая аэропорт, почти в самой середине. Они привыкли к подобным аэропортам, эти любовники. Сонное местечко рядом с какой-нибудь деревней, откуда делают максимум двадцать рейсов в день. Они уже побывали за этот год – туда-сюда – раз десять в таких местах. Туда-сюда. Туда-сюда. Это была ее идея – встретиться там и завершить поездку в Скавину вместе, побыть вдвоем, проведя пару ночей в дороге.

Глава 2

Найти аэропорт оказывается труднее, чем он думал. Приходится порядочно поколесить – съехать с прямого полотна Е 42 на узкие, извилистые дороги, объезжая тракторы. Кругом холмы. День серый и влажный. Указателей меньше, чем надо бы. Оказавшись в какой-то деревне, он начинает волноваться, что в итоге может опоздать, и вдруг – он уже на месте. Вскоре он движется среди припаркованных машин, в спешке высматривая свободное место.

Он находит место.

И тогда происходит *это*.

Громкий противный металлический скрежет, причину которого он не сразу понимает.

А когда понимает, у него схватывает сердце.

Когда сердце отпускает, он сильно потеет.

Она поднимает глаза от журнала и улыбается.

– Извини, опоздал, – говорит он.

– Ты не опоздал. Самолет прилетел раньше.

– Все нормально?

Она убирает журнал в сумку.

– Да. Отлично. Ты, наверное, устал, – говорит она, глядя на него. – Он выглядит бледным, взволнованным. – Ты долго был за рулем.

– Вообще-то все в порядке, – говорит он. – Возможно, усталость накроет меня потом.

– Хочешь чего-то поесть?

– Ну...

Он думает об этом. Он был голоден еще полчаса назад. Он ничего не ел весь день, не считая *rain au chocolat*^[38] на пароме и сэндвича с колбасой в Арденнах, под дождем. Но теперь он почему-то не голоден. На самом деле ему слегка нехорошо от того, что случилось с машиной Станько, с его шикарным внедорожником.

– Может, поем немного, – говорит он. – А ты ела?

– Что-то перекусила.

– Может, поем, – повторяет он.

– Хорошо. Но ты нормально себя чувствуешь? – спрашивает она, внезапно встревожившись.

– Да. Да, – отвечает он. – Отлично.

Они говорят по-английски. Для него английский почти родной. У нее уровень чуть ниже.

Он встает в очередь в какую-то точку с едой, их лишь несколько в аэропорту. Все здесь обшарпано и обыденно. За ограждениями с предупреждающими знаками ведутся скромные ремонтные работы. Он делает заказ, на безупречном немецком – сандвич с ветчиной и двойной латте.

– Слушай, – говорит он, присаживаясь рядом с ней. – Я должен тебе кое-что сказать.

К его удивлению, она сразу настораживается. И даже кажется испуганной.

– Да? – говорит она.

– Я попал в аварию, – говорит он, снимая крышечку со стаканчика с латте. – На машине. На парковке. Здесь. Есть повреждения – краска.

Она ничего не отвечает.

– Надеюсь, твой отец не придет в ярость.

– Не знаю, – говорит она.

– Хочешь немного? – спрашивает он, предлагая ей сандвич. – Я вообще-то не голоден.

Когда она качает головой, он спрашивает:

– Как прошел полет? Нормально?

– Да, все было отлично.

– Из Катовице? – спрашивает он.

– Да.

– Сегодня мы ночуем в местечке под названием Тренфельд, – говорит он, продолжая бороться с сандвичем. – Это в паре часов отсюда на машине. Если верить картам «Гугла».

– Хорошо.

– Gasthaus Sonne^[39], – говорит он.

И хотя она улыбается, что-то как будто тревожит ее.

– Хорошо? – произносит он.

Она опять улыбается ему, и он пытается понять, в чем дело – ему только кажется или она действительно чем-то встревожена?

– Поехали? – говорит она.

Он берет ее чемоданчик, и они идут к парковке, где она осматривает, довольно бесстрастно, большую царапину на боку новой машины ее отца.

Он театрально вздыхает:

– Видишь?

– Угу.

– Надеюсь, твой отец не придет в ярость, – говорит он снова.

Когда он идет вдоль сцепленных заграждений к автомату, чтобы заплатить за парковку, начинается дождь.

Когда он возвращается, она уже на пассажирском сиденье, смотрит прямо перед собой.

Возникают небольшие сложности с тем, чтобы выехать обратно на шоссе Е 42 по направлению к Франкфурту. Некоторое время они колесят по заваленным навозом проселочным дорогам, по унылой сельской местности.

Когда они наконец выбирают на шоссе, то первое время едут молча, словно замороженные движением дворников по стеклу, снова и снова стирающих капли дождя.

Он продолжает думать об аварии.

О том, как легко этого могло бы *не быть*. Если бы только он приехал, к примеру, на несколько минут раньше или позже, он бы точно нашел другое место для парковки. Там было одно довольно рискованное пространство около входа, которое он почти занял, но решил поискать что-то получше, хотя то место, куда он решил вписаться в итоге, после нескольких минут нервных поисков, было даже *уже*.

Ему хотелось отлить. Это тоже могло сыграть свою роль – он был в нетерпении и не мог как следует сосредоточиться. И еще он устал, проголодался, и спешил, и тащился минут десять за трактором, пока искал аэропорт. В результате все эти факторы, все эти сами по себе малозначащие, пустяковые обстоятельства объединились в одном роковом моменте, поместив его именно *туда и тогда* – и вот произошла авария.

И что теперь будет? Ему придется заплатить за эту гребаную...

– Я должна сказать кое-что *тебе*, Карел, – говорит она.

Он не вполне понял ее тон, этот нажим на местоимении, забыл, что совсем недавно сам произнес такую же фразу, когда они встретились в аэропорту.

– Что?

Долгая пауза.

Он еще думает о том, во сколько ему обойдется покраска и знает ли Станько кого-то, кто сможет сделать это подешевле, и замечает, что молчание подозрительно затянулось.

– Я должна сказать кое-что тебе, – повторяет она.

И по мере того как молчание затягивается, круг вероятных признаний стремительно сужается в его сознании, пока, наконец, не остается один или

два варианта.

В глубине души он понимает это, но в то же время продолжает энергично обдумывать, что делать с поцарапанным крылом.

Она либо собирается прекратить их маленький роман, эту череду беспорядочных свиданий в номерах отелей, либо...

– Ты беременна, – говорит он, выдавливая рычаг индикатора, вырываясь вперед, чтобы пробиться в туннель, полный водяной пыли.

Он надеется, что она сразу возразит ему. Но молчание не нарушается. Вокруг них уже сырой, серый мир, по краям которого перекрученные ветром деревья, заметные боковым зрением. В какой-то степени он по-прежнему думает об аварии. Но эти мысли начинают отступать куда-то, словно растворяясь в бескрайнем космосе.

– Беременна? – спрашивает он.

Бывают моменты, когда все меняется. Сколько их в жизни? Всего несколько. И вот настал такой момент. На этом поливаемом дождем шоссе где-то в Германии. Здесь и сейчас.

– Вот дерьмо, – говорит он, продолжая напряженно всматриваться в дорогу впереди.

Наконец она заговорила:

– Я так думаю. Да.

– Вот дерьмо, – повторяет он.

Теперь мысли об аварии отошли на задний план, хотя он все еще помнит об этом, как о чем-то далеком, затерянном где-то во тьме.

И где-то там же, во тьме, ему теперь видится вся его жизнь, отнятая у него.

Что ему осталось? Где теперь найти приют, когда все утекло в пустоту?

И висит там, во тьме, обломками.

Он замечает, что она содрогается от рыданий.

Для него это неожиданность.

А затем она начинает, рыдая, бить себя по лбу крепко сжатым кулачком.

– Пожалуйста, – говорит он, – прекрати.

– Останови машину, – говорит она сквозь слезы. – И вдруг орет: – **ОСТАНОВИ МАШИНУ!**

– Зачем? – Голос у него визгливый, испуганный. – Зачем? Я не могу... Какого хера ты творишь?

Она начала открывать пассажирскую дверцу. Ветер зашумел ей в лицо.

Холодный воздух и влага сразу заполнили салон, казавшийся таким надежным и уютным.

– Ты охренела, что ли?

Она плачет еще сильнее, теперь уже с отчаянием.

– Останови машину, останови машину...

Он устремляет усталый взгляд в надвигающийся мир и внезапно перестает узнавать его.

– Почему? – говорит он. – Почему?

Она снова лупит себя по лбу, ее кулак стучит по туго натянутой бледной коже – звуки этих ударов ему невыносимо слышать.

И тут из пелены дождя выплывает освещенная стойка автосервиса «Арал» – синяя надпись «АРАЛ» в вышине – и он замедляет ход, аккуратно съезжая с дороги.

Едва машина останавливается или даже раньше, она выбирается из нее.

Он видит сквозь ветровое стекло с работающими дворниками, как она уходит, обхватив плечи руками, и в отупении пытается понять, что делать.

На секунду останавливается на щебеночной подъездной дорожке рядом с бензоколонкой. Убирает ногу с педали тормоза, и машина едет со скоростью пешехода, под большим навесом, защищающим насосы от дождя.

Он потерял ее из виду.

Одно из парковочных мест у магазина свободно, и он занимает его. Вырубив двигатель нажатием кнопки, он просто сидит несколько минут. Время течет медленно. Вокруг него живет своей жизнью автосервис, словно в замедленном темпе. Он смотрит на шов на гладкой оплетке руля. Возникает соблазн взять и уехать – вернуться к своей прежней жизни, которая осталась где-то там.

Но на деле это совершенно невыносимо.

Неожиданно он чувствует в глазах слезы.

Собрались там без его ведома.

Слезы потрясения.

Он заходит в магазин и высматривает ее. Маячит пару минут перед женским туалетом, на случай, если она там. Пытается позвонить ей.

Он начинает волноваться, что она могла сделать какую-нибудь глупость. Например, сесть в машину к незнакомцу или еще что-то.

Он снова за рулем, медленно движется вдоль ряда припаркованных грузовиков на обочине шоссе и видит ее. Она все так же идет куда-то. Идет целеустремленно. Должно быть, она все это время шла.

– Что ты делаешь? – кричит он из открытого окошка, двигаясь рядом с ней.

Она словно не замечает его.

Он обгоняет ее и, немного проехав, въезжает между грузовиками. Он сидит на месте несколько секунд, борясь с диким желанием просто уехать. Но вместо этого он выходит из машины, ссутулившись под дождем, и достает зонт с заднего сиденья. Зонт раскрывается над ним, и тут же он слышит, как по нему барабанят капли.

Едва заметив это – зонт очень большой, с надписью «Университет Оксфорда», – она разворачивается и идет в другую сторону.

Просто назло ему – он нагоняет ее, лишь чуть ускорив шаг, и берет за руку.

Мимо гроыхает грузовик, и он увлекает ее подальше от брызг из-под колес, в узкое пространство между двумя другими грузовиками, стоящими на месте.

– Что ты делаешь? – говорит он. – Куда ты идешь?

Лицо ее неузнаваемо искажено гримасой боли и отчаяния.

Вся эта ситуация, эта жуткая сцена на стоянке грузовиков, совершенно не укладывается у него в голове.

Он ждет, пока она хоть что-то скажет.

Наконец она говорит:

– Я не знаю. Куда угодно. Подальше от тебя.

– Почему? – спрашивает он. – Зачем?

С самого начала он предполагал, что она сделает аборт, что она тоже этого хочет.

Теперь же он начинает понимать, пока еще не вполне отчетливо, что это может быть не так. Сперва это лишь предположение, которое его разум, механически прорабатывающий все возможные объяснения ее поведения, выдает ему в виде гипотезы. Она не хочет делать аборт. Она не желает делать аборт.

Вот теперь он испытывает настоящее потрясение.

Но пытается не поддаваться охватившей его панике.

Она пока еще ничего не сказала, она просто рыдает под зонтом, по которому барабанит дождь.

Он спрашивает, стараясь, чтобы в голосе звучала забота, симпатия или что-то похожее:

– Что ты хочешь делать?

– Ты не можешь заставить меня сделать аборт, – говорит она.

Он пытается понять: *Может, она католичка? Истовая католичка?*

Все-таки она полька. Они об этом никогда не говорили.

– Я не хочу заставлять тебя делать что-то, – говорит он.

– Нет, хочешь. Ты хочешь, чтобы я сделала аборт.

Он этого не отрицает. Но ведь это не одно и то же.

Он снова спрашивает:

– Чего ты хочешь?

Она молчит, и тогда он говорит:

– Да, это так. Я не думаю, что тебе стоит оставлять... Блядь, *да стой ты!*

Она попыталась вырваться от него, из-под его зонта. Теперь он крепко держит ее за руку и произносит:

– *Подумай* об этом! Подумай, что это будет значить. Это может изгадить тебе всю жизнь...

Она кричит ему в лицо:

– Ты уже изгадил всю мою жизнь!

– Что?

– Ты изгадил всю мою жизнь, – говорит она.

– Как? – снова спрашивает он. – *Как?*

– Просто сказав это.

– Что?

– Что сказал.

– Что я сказал?

– Вот дерьмо, – говорит она.

На лице у него застывает маска полного непонимания.

– Тем, что сказал!

Да, он это сказал.

Она снова рыдает, безутешно, под нависшей над ней кабиной грузовика. По капоту грузовика стекают капли. Он видит, как они висят, эти белые капли. Они дрожат, и некоторые срываются, когда налетает порыв сильного ветра. Одни падают. Другие – нет. Просто дрожат. Он говорит, чуть отпуская ее дрожащую руку, желая, чтобы эта жуткая сцена на стоянке грузовиков скорее закончилась:

– Я сожалею. Я сожалею, что сказал это.

Машина очень плавно катится по бесконечной щебенке. Шины что-то шепчут. Вокруг тишина. Никому из них как будто нечего сказать. И даже непогода стихла. На протяжении нескольких километров легкий туман сходит с шоссе, и постепенно становится сухо.

Жемчужно-серый день.

В Майнце они переезжают Рейн.

Майнц известен ему как город, в котором Гутенберг изобрел печатный станок и тем самым положил конец Средневековью; так, во всяком случае, утверждалось на семинаре в Университете Болоньи, который он посещал несколько лет назад: «Средние века: Подходы к вопросу о дате завершения». После семинара его попросили написать введение к сборнику докладов.

Он отмечает, что думает сейчас об этом – о дате завершения Средних веков – когда они проезжают по мосту Вайзенау^[40] через Рейн, воды которого – цвета хаки – мерно плещутся по обе стороны.

А дальше началась современность.

Современность, никогда особенно не интересовавшая его. Современность – то, что происходит сейчас.

И началось это здесь, в Майнце.

И здесь же пришел конец Римской империи – отсюда легионы пытались смутить суровым взглядом племена на другой стороне межевого канала, где сейчас стоит завод фирмы «Опель» в Рюссельсхайме, а чуть дальше расположился Франкфуртский аэропорт, настоящий аэропорт, огромное поле, тянущееся вдоль дороги целых пять минут.

И когда аэропорт скрывается из виду, вокруг снова мрачнеет.

Что было сказано за последний час?

Ничего.

Ничего не было сказано.

Сосновые леса на склонах холмов начинают обступать их на восточной стороне Майна. И туман.

*Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Ché la diritta via era smarrita*

Что ж, вот оно. Темные сосновые леса, клонящиеся по обеим сторонам шоссе. По ветровому стеклу растекаются клочья тумана.

Наконец он первым нарушает молчание:

– Когда ты это поняла?

– Несколько дней назад, – отвечает она. – Я не хотела говорить тебе по телефону.

– Не хотела.

Проходит еще несколько минут, и он спрашивает:

– А это от меня? Ты уверена, что это от меня? Я должен спросить.

Она молчит.

– Ну, я ведь не могу этого знать, ведь так? – говорит он.

Вопреки ожиданию, они занимаются сексом в Gasthaus Sonne в Тренфельде. Они всегда так делают – спешат к намеченному месту, чтобы поскорее раздеться. Они всегда так делают, и сейчас они делают это по привычке, не зная, чем еще заняться, когда они вдвоем в гостиничной комнате. На этот раз, однако, он не старается доставить ей удовольствие. Ему хочется, чтобы она в нем разочаровалась. Если так произойдет, думает он, она может решить, что не хочет этого ребенка. Он делает все по-быстрому, напористо, почти грубо. И когда затем видит ее слезы, он чувствует себя ужасно и сидит на унитазе, обхватив голову руками.

У них ушел час, чтобы в тумане найти Тренфельд – деревню с высокими фахверковыми домами на крутом склоне над Майном. На каждом втором доме табличка с надписью Zimmer Frei. Есть и несколько «настоящих» гостиниц – с местами для парковки у фасада и тропинками к реке на заднем дворе – как раз в одной из таких они и сняли комнату.

Он сказал ей, когда они пробирались через туман, что она не должна считать, если она решит оставить ребенка, то они непременно будут вместе. Это далеко не обязательно. Вовсе нет. Просто он считает честным сказать ей об этом.

Она ничего не ответила.

За последние два часа она вообще почти ничего не говорила.

А затем она произнесла:

– Ты не понимаешь.

Переезжая через окутанный туманом перекресток, он спросил:

– Чего я не понимаю?

– Что я люблю тебя, – бросила она сухо.

Ну, она бы сказала это в любом случае, подумал он, разве нет? Однако его руки крепче сжали руль.

Указатель у дороги сообщил им, что они приехали в Тренфельд.

И вот они здесь, на живописной улице с фахверковыми домами. Gasthaus Sonne. Холл с конторкой под низким потолком. Интернет-маршрутизатор, мигающий на стене, и узкие лестницы, по которым их проводила до комнаты улыбающаяся фрау.

Приняв душ, она увидела, что он уже на кровати, на стеганом бордовом покрывале, ожидает ее.

Позже, когда он выходит из ванной комнаты, выложенной розовой плиткой, она все еще плачет, голая, не считая покрывала, в которое она кое-как завернулась.

– Мне жаль, – говорит он, присаживаясь на край кровати.

Звучит не очень искренне, поэтому он повторяет снова:

– Мне жаль. Просто это такой шок. Для меня.

– А для меня это, по-твоему, не шок?

Она закрыла голову подушкой. Голос у нее приглушенный, в нем слезы и обида.

Он отводит взгляд от ее голых плеч и смотрит на невзрачную акварель на оранжевой стене.

– Ну, конечно, шок, – говорит он. – Поэтому мы и должны подумать об этом. Серьезно подумать. То есть... – Он пытается подобрать слова: – Тебе нужно подумать о *своей* жизни.

Он знает, что она амбициозна. Она тележурналист, появляется в «Новостях» на краковском телеканале, берет интервью у фермеров о засухе или у мэра какого-нибудь соседнего городка о новом досуговом центре и о том, как ему удалось добиться встречного финансирования от Европейского союза. Ей только двадцать пять, и она по-своему известна, в масштабе Кракова. (Она, вероятно, зарабатывает больше его, вдруг думает он.) Люди иногда здороваются с ней на улицах, узнают в торговых центрах. Он сам видел, как кто-то указывал на нее пальцем, когда они ехали на эскалаторе.

– Что это значит? – спросил тогда он. – Ты знаменита?

– Нет, – усмехнулась она. – Не особо.

И все же она знаменита, и ей хочется большего. Он это знает.

– Понимаешь, о чем я? – спрашивает он.

Они проводят несколько часов в темной комнате с занавешенными окнами, пока день клонится к вечеру. Ничто во внешнем мире, по другую сторону малиновых занавесок, матово отражающих дневной свет, бьющий на них с улицы, как будто не имеет значения. Сама комната кажется беременной, несущей в себе их будущие жизни в тускло-красном свете.

Свет все никак не уходит. Лето в самом разгаре. Вечер длится вечность.

Наконец, словно устав от солнца, смотрящего в окно, они одеваются и уходят.

На улице тепло и влажно. Они поднимаются по живописной фахверковой улице. Рядом другие прохожие совершают вечерний

променад, и на террасах двух или трех гостиниц тоже люди.

Она ничего не сказала. Однако он чувствует, и чем дальше, тем сильнее, что теперь, думая об этой ситуации, она все больше убеждается, что оставить ребенка было бы неразумно. Это было бы просто *неблагоразумно*. А она как раз *благоразумна*. Он это знает. Она не сентиментальна. К своей жизни она относится серьезно. У нее есть планы на будущее, и она умеет расставлять приоритеты. Это одно из тех ее качеств, которые ему нравятся.

Он замечает автоматы по продаже сигарет, несколько автоматов, прямо на открытом воздухе. Они выглядят очень странно среди старинных, будто сказочных домов. Деревня курильщиков-психопатов. Он и сам хотел бы выкурить сигарету. Иногда, *in extremis*^[41], он еще курит.

Все кажется каким-то нечетким, и в воздухе действительно туман, почти неосязаемый, повисающий над улицей, по мере того как теплый вечер высасывает влагу из сырой земли.

Они садятся за столик на террасе.

Он пытается придумать тему для разговора. Стоит ли говорить о чем попало? Об этом милом месте? О высоких конусных крышах домов? О резных фронтонах? О том, какой долгий выдался у него день? О том, чем бы они могли заняться завтра?

Ни одна из этих тем не кажется ему достаточно существенной. Сейчас его волнует только одна тема – и он уже полностью высказался по ней. Ему не хочется снова повторять все это. Он не хочет, чтобы она чувствовала, что он давит на нее.

Это очень важно, думает он, чтобы она сама приняла решение, чтобы она *чувствовала*: это ее решение.

Они сидят в молчании какое-то время, слыша вокруг мягко льющуюся немецкую речь. В основном здесь собрались пожилые люди. Пожилые люди, приехавшие на летний отдых.

Ему любопытно, что у нее на уме.

– О чем ты думаешь? – спрашивает он.

– Почему ты выбрал это место?

– Почему?

Он не ожидал такого простого, заурядного вопроса.

– От аэропорта не слишком далеко, – говорит он. – Не хотелось ехать сегодня дальше. Это было по пути. Гостиница показалась приличной. Ну, вот. Приличная?

– Отличная, – говорит она.

Он поворачивает голову, оглядывая улицу, и говорит:

- Здесь не очень интересно, я понимаю.
- Поэтому мне здесь нравится.
- Это у них тоже общее – интерес к неинтересным местам.
- Я не хотел бы остаться здесь на неделю или дольше, – говорит он.
- Я бы тоже, – соглашается она.

Впрочем, почему бы и нет? Он находит немало хорошего в этом месте. Здесь чисто. Тихое благоденствие. Отделенное холмами от всего мира. Очевидно, здесь мало что происходит. Даже магазинов нет – или, возможно, есть где-то один, который открыт только по утрам в будние дни (кроме среды). Отсюда, предположительно, и автоматы с сигаретами. Может быть, занимая он должность преподавателя в Вюрцбургском университете, в двадцати минутах по шоссе отсюда, он бы и сумел как-то здесь устроиться...

Цепочка абсурдных мыслей.

Какая-то нелепо-эскапистская.

Нелепая эскапистская фантазия – вот что это такое.

Фантазия о том, чтобы спрятаться в таком месте, где ничего не происходит.

Она делает еще один глоток персикового сока. Она пьет персиковый сок, хотя это не обязательно что-то значит – она ведь пьет его не регулярно.

– И теперь, – говорит она, – мы никогда не забудем его.

Звуки вокруг как будто стихают, и вокруг них образуется плотное беззвучное пространство. Он слышит собственный голос как бы со стороны:

– Почему мы никогда не забудем его? – Как будто ему не ясно, что она имела в виду.

И когда она ничего не отвечает, он пытается понять, борясь с волной паники: *Это ее способ сказать мне об этом?*

Он не хочет, чтобы она чувствовала, что он давит на нее.

Испытывая панику, он говорит:

– Пожалуйста, не принимай сейчас решения, о котором ты впоследствии можешь пожалеть.

– Не волнуйся за меня, – бросает она.

Они сидят за столиком, слыша крики стрижей в нестерпимо белом небе.

– Просто... – говорит он. – Пожалуйста. Ты знаешь, что я думаю. Я не буду повторять тебе это снова.

И не проходит минуты, как он говорит все это снова – все, что он сказал в гостинице.

О том, что они еще недостаточно знают друг друга.

О том, как это скажется на ее жизни. На их совместной жизни.

А в глазах у него трусливое отчаяние.

– Прекрати, *пожалуйста*, – просит она, отворачиваясь. – Прекрати.

На ней солнечные очки, так что он не видит ее глаза.

– Мне жаль...

Она снова начинает плакать; одинокая слеза скатывается по ее лицу.

– Мне жаль, – повторяет он в смущении.

На них начинают поглядывать.

Теперь он точно облажался, думает он. Его рука тянется к ее руке, но замирает в воздухе.

Его будто лишили защитной оболочки, словно сняли слой краски с картины, обнажив все ужасы, скрытые под ним.

– Мне просто нужно знать, – произносит он.

– *Что* тебе нужно знать?

Это кажется очевидным.

– *Что произойдет?*

– То, что ты хочешь.

– Это не то, чего я хочу...

– Нет, хочешь.

– Я не хочу, чтобы ты это делала просто потому, что я так хочу...

– Я делаю это *не просто* потому, что *ты* этого хочешь.

Это похоже на пробуждение после кошмара, когда ты видишь, что в твоей жизни ничего не изменилось, все как раньше. И звуки возвращаются к нему. Как будто он вынырнул из-под воды.

– Хорошо, – говорит он и берет ее руку в свою. – Хорошо.

Не нужно показывать, как он счастлив. И на самом деле, к его удивлению, он вдруг чувствует привкус печали, где-то глубоко внутри, словно остаточный след печали на безупречно голубом небосклоне его разума.

Она опять плачет, сдерживая рыдания, пока он держит ее руку и пытается не обращать внимания на пенсионеров, которые теперь уже открыто разглядывают их, как если бы в этом месте, где ничего не происходит, вдруг устроили уличный балаган.

Но ведь это не так.

Глава 3

Они едут по шоссе на северо-восток, к Дрездену. При приближении к очередному городку движение усиливается. Солнце взирает с неба на пеструю суету дорожного движения на шоссе. Германия. Понедельник.

Они проснулись поздно, солнце светило сквозь занавески, словно желая, чтобы его впустили. Занавески, прогретые солнцем, дышали жаром. Они сбросили одеяло. Она плохо спала. Она была в каком-то смысле в трауре, так ему казалось. Но он не собирался говорить об этом, только не сегодня.

Прошлым вечером, после сцены на террасе, они погуляли около часа, дошли до края деревни и спустились к реке – узенькие тропки вели к деревянным пристаням, где в зеленой воде были причалены лодки. Берег на другой стороне был крутым, и на нем стояли такие же красивые дома. Над водой роились комары. Наконец, наступил вечер. Опустились сумерки.

Они неспешно вернулись в Gasthaus Sonne. Они ничего не ели.

Свет в комнате резко ударил по глазам.

– Ты всегда получаешь что хочешь, – сказала она. – Я это знаю.

– Неправда, – пробормотал он.

А сам подумал: *Возможно, так и есть. Возможно, я такой.*

Она стала раздеваться.

– Мне бы надо к этому привыкнуть, – сказала она. – Я знаю таких людей.

– То есть?

– Людей, которые просто плывут по жизни и всегда получают что хотят.

Она говорила тихо и не смотрела на него.

– Ты не знаешь меня, – возразил он.

– Знаю достаточно хорошо, – сказала она.

– Достаточно для чего?

Она ушла в ванную, взяв косметичку.

Он лег на мягкий матрас. Он тщетно пытался вспомнить хотя бы один незначительный случай во всей своей жизни, когда бы не получил того, чего хотел. Выходило, его жизнь была действительно такой, как он хотел.

Он запланировал посетить Бамберг следующим утром, так они и сделали. Они придерживались его плана и провели все утро за осмотром

достопримечательностей, как будто ничего не случилось. В романской простоте собора он внимательно рассматривал гробницы императоров Священной Римской империи.

Генрих II, † 1024

Средние века. Вчерашние безумные сцены на обочине шоссе, между грузовиками, казались такими далекими в прозрачной атмосфере храма. Их ноги мягко скользили по каменному полу. Они шли рядом, рассматривая статуи. Он чувствовал себя здесь в безопасности. Он не хотел выходить из этого тихого места под яркое солнце, в ослепительно-белый двор.

Она все еще почти не разговаривала. За утро она едва ли что-то сказала.

Может, это действительно *был* конец, думал он, когда они шли по улицам Бамберга, где каждая синяя тень была полна какого-то значения.

Может, она решила – как он сам хотел вчера, поддавшись безумию, – что он ей не нравится.

Он разочаровал ее, в этом не было сомнений.

Однако обед прошел почти как всегда.

Солнечный свет ложился сквозь кроны деревьев на тихий сад, где между столиками передвигались официанты. Именно *так* он представлял себе это. Именно такие образы были у него в уме. А не те сцены на обочине шоссе. Безветренный сад, обнесенный стеной, тихие тени раскидистых деревьев. Именно то, чего он хотел.

Она беременна, и надо что-то делать – об этом он не желал говорить. Решение принято. Больше говорить не о чем. В какой-то момент им придется обсудить детали. Врачи. Деньги. Но до тех пор разговоры об этом могли только все испортить – изменить ее решение, – поэтому он избегал этой темы и всего, что могло напомнить о ней.

После обеда они выехали из города, чтобы посетить базилику Фирценхайлиген. Они стояли перед базиликой, и он читал буклет, взятый со стойки для туристов.

– Двадцать четвертого сентября 1445 года, – читал он, – Герман Ляйхт, молодой конюх ближайшего францисканского монастыря, увидел...

Он замолчал.

Он бы не стал читать это, если бы знал, что там дальше.

А потому продолжил скороговоркой:

– ...плачущего ребенка в поле, принадлежавшем соседнему

цистерианскому монастырю Лангхайма. Когда он наклонился, чтобы взять ребенка... – Он уже начал было читать следующее предложение, но увидел, что оно еще хуже. – ... когда он наклонился, чтобы взять ребенка, тот внезапно исчез.

Он сомневался, стоит ли продолжать читать дальше.

Решив, что иначе будет только хуже, он продолжил. Закончив, вернул буклет на стойку.

– Зайдем внутрь? – предложил он.

А там, внутри, в этой безумной мраморной грезе зодчих, произошло нечто подобное.

Они стояли у алтаря, рассматривая статуи – все статуи были пронумерованы, рядом с ними висели таблички. И он читал их одну за другой. Читал табличку с описанием каждого из четырнадцати святых и говорил ей, кем они были и чем отличились. Примерно так:

– Святой Акакий, призывается при головных болях... Святая Екатерина Александрийская, призывается при скоропостижной смерти... Святая Марина Антиохийская, призывается при... – Но останавливаться было поздно, пришлось произнести: – ...деторождении.

Ему больше всего на свете захотелось, чтобы они не приезжали сюда в этот жаркий день. Ему не нравилось барокко или что бы это ни было. И у него было чувство: что-то идет не так.

Следующим святым, прочитал он, был святой Вит, призываемый при эпилепсии.

– Пляска святого Вита, – сказал он ей. – И так далее.

Ее глаза, он был в этом уверен, задержались на Марине Антиохийской.

– Вот, – сказал он ей, отдавая буклет, – я не буду читать про всех.

И, постояв еще несколько секунд, начал неспешно двигаться по коричневым мраморным плитам, мимо розоватых колонн, опоясанных разводами, словно тучами Юпитера.

Она продолжала стоять у алтаря.

Было очень многолюдно, как на вокзале в час пик.

И повсюду шум голосов, точно ветер в лесу.

В какой-то миг он понял, что стоит перед купелью – еще одним немыслимым придатком китча, а его взгляд блуждает по ее розовым, золотым и нежно-голубым изгибам.

Рядом каменный епископ, держащий в руках собственную голову в золотой шапке.

Такая же нелепость, подумал он, как любой идол в каком-нибудь индийском или индийском капище.

Каменный епископ, держащий в руках собственную голову в золотом уборе.

Мученик. По-видимому. Ему захотелось узнать, по своей привычке все уточнять, кем был этот человек. Человек, приветствовавший забвение, или принимавший его с миром – каменный лик отрубленной головы выражал не что иное, как умиротворение – пришедшее к нему.

Забвение.

Он огляделся, ища ее.

Ее уже не было у алтаря. Она была у входа, там, где стояли votivные свечи. Положив евро в ящик, она взяла свечу и зажгла ее от одной из тех, что горели там.

Он снова задумался, была ли она религиозна в каком-то смысле. Ее моральные нормы – насколько он мог судить о них – такого не предполагали. Или, по крайней мере, не позволяли ему думать о какой-либо ее религиозности. Когда он впервые увидел ее, она нюхала кокаин на вечеринке у Мани.

Казалось, все вокруг двигались, и только она стояла неподвижно. Она стояла неподвижно и смотрела на огонек зажженной ею свечи.

Так что же это означало?

Он хотел спросить ее об этом. И не смел. Он боялся услышать возможный ответ.

– Я предпочитаю собор в Бамберге, – сказал он, когда они спускались с холма, надеясь, что она с ним согласится – как будто *это* значило бы что-то.

Как будто это могло развеять тревогу, возникшую, как только они прибыли сюда, и вернуть ему спокойствие.

Она сказала, что так и думала: ему больше нравится собор.

– Тебе не интересно ничего после пятнадцатого века, – сказала она. – Верно?

– Пятнадцатый век, – сказал он, довольный хотя бы уже ее небрежным тоном, – самое позднее.

– А почему так, ты не думал?

– Я не знаю.

– У тебя должна быть какая-то идея. Ты ведь наверняка думал об этом.

– Это просто эстетическое предпочтение.

– Правда? – усомнилась она.

– Я так думаю, – сказал он. – Просто не люблю места вроде этого.

Он имел в виду Фирценхайлиген и был намерен твердо высказать свое мнение.

Когда она начала восхищаться избыточностью декора базилики, он воспринял это почти с личной неприязнью.

– Мне это просто не нравится, – сказал он. – Понятно?

Она рассмеялась:

– Понятно.

– Извини. В любом случае. Тебе это нравится. Мне – нет. Отлично.

Они ехали обратно к шоссе – несколько километров через влажные поля желтого рапса.

– Зачем ты зажгла свечу? – спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал почти безразлично.

– Я не знаю.

– Не знал, что ты религиозна, – сказал он.

– Я не религиозна.

– Тогда зачем?

– Просто мне захотелось. Это что – проблема?

– Конечно, нет. Мне просто интересно, вот и все.

– Просто захотелось, – повторила она.

– Ты ведь не веришь в Бога? – спросил он.

– Я не знаю. Нет. А ты?

Он рассмеялся, словно это было очевидно:

– Нет. Ни в малейшей степени.

И они снова выехали на шоссе, направляясь на северо-восток, к Дрездену.

После недолгого молчания он сказал:

– Я заплачу за это, разумеется. За...

Он понял, что не может произнести это слово.

Однако ему нужно было знать, что ее решение твердо.

По крайней мере, было похоже на это.

Она сказала, невозмутимо глядя на шоссе:

– Хорошо. – И через некоторое время добавила: – Спасибо.

Он подумал, что, раз уж они начали говорить об этом, может, нужно затронуть детали. Спросить, к примеру, где бы ей хотелось это сделать. Пригвоздить решение деталями. Конкретными местами. Сроками.

Молчание, пока он размышлял об этом, тянулось больше часа.

И вот они застряли в пробке на подъезде к Дрездену. В пять часов вечера. Свет бьет в ветровое стекло. Кондиционер обдувает их холодным воздухом.

Теперь, когда он чувствует, что разделался с большой проблемой, его снова начинают беспокоить проблемы поменьше. Он думает о том, что

допустил просчет в своем плане на сегодня, решив ехать через Дрезден в такое время. Он должен был предвидеть это. Это было предсказуемо. (Он продвигается еще на несколько метров, с раздражением глядя на фургон впереди.) Это было невольной ошибкой.

И царапины на машине Станько – они никуда не делись, ему придется объясняться, извиняться за них.

Платить.

Еще и за это ему придется платить.

Глава 4

Он думает о статье, которую ему нужно написать для «Журнала английской и германской филологии». «Аномальные факторы формы Slēan – некоторые предположения». Он принимает душ, подставляя лицо теплым струям воды, и думает о статье. Думает о работе, которая ему предстоит. О часах, которые нужно будет провести в библиотеках – в Оксфорде, Лондоне, Париже, Гейдельберге. Душ находится как бы в нише каменной стены – ванная комната так устроена. Два окна – это просто смотровые щели. Тем не менее все функциональные элементы безукоризненны. Плитка на полу теплая под его ногами, когда он выходит из душа и заворачивается в большое полотенце. Все здесь сделано со вкусом. Когда-то это был монастырь, теперь же – фешенебельный отель. Вытираясь, он подходит к одному из окон, расположенному в глубокой сужающейся бойнице, и смотрит на крутые, поросшие лесом холмы вдалеке. Ему нравится представлять то время, когда здесь действительно был монастырь, располагавшийся на полях вблизи извилистой, девственно-чистой Эльбы. Когда попасть в Кенигштайн можно было, только прошагав пешком час. А до Дрездена был целый день пути. Он вытирает волосы, тщательно приглаживает их рукой и осматривает себя в зеркале. «Аномальные факторы формы Slēan». Вот на чем он теперь должен сосредоточиться. Теперь, когда этот кошмар закончился и впереди его ждет светлое будущее.

Сейчас ранний вечер. Солнце мягко ложится на стену напротив окон. Декор по-монастырски минималистичен: текущие линии камней, никакой отделки. Полированные камни. Белые простыни. Все белое.

Она сидит на светлом кожаном диване, обхватив колени, и смотрит в окно, из которого видны аккуратные современные дома и далекие холмы. К сожалению, отель окружен типичной пригородной застройкой. Вдоль улиц новенькие дома на одну семью и какой-то промышленный парк.

Повязав вокруг бедер белое полотенце, он выходит из душа, спускаясь на две каменные ступеньки. Ищет у себя в сумке дезодорант.

– Хочешь есть? – спрашивает он.

Она сидит на диване, обхватив колени.

Он наносит дезодорант.

– Есть хочешь? – повторяет он вопрос, вполне спокойно, просто с другой интонацией, как если бы думал, что она его не расслышала, хотя

должна бы. – Еда, видимо, здесь отменная, – говорит он ей, собираясь основательно подкрепиться. – Французская кухня. У них звезда Мишлен.

Они остановились здесь, чтобы побаловать себя, в этом безупречном отеле с кухней, отмеченной звездой Мишлен, – их роскошь, их слабость. Завтра вечером они приедут к ней домой, в Краков. А послезавтра она вернется к работе на телевидении, а он отправится на рейс до Станстеда. Ей нравится ее работа. Как раз когда они приехали в отель, сегодня вечером, кто-то позвонил ей. Это оказался ее продюсер. Было интересно слышать ее деловой тон, который, казалось, ясно говорил – достаточно было только его, в подробности он не вникал, в чем ее приоритеты.

Он застегивает рубашку.

Она сидит на диване, обхватив колени.

– Я не могу.

– Не можешь что?

Он думает, она могла сказать это о еде со звездочкой Мишлен, что у нее депрессия или нечто подобное.

Не дождавшись ответа, он начинает понимать, что неправильно понял ее. Еда здесь ни при чем.

– Я думал, ты уже решила, – говорит он тихо, стараясь казаться спокойным, продолжая застегивать пуговицы.

– Я тоже думала.

Значит, прикидывает он, придется пройти все сначала. Ему придется заново повторить вчерашний вечер. Она заставляет пройти их через это снова. Он присаживается на светлый диван. Она сидит боком, подтянув ноги, не глядя на него, и он обнимает ее за плечи и начинает говорить ей все, что говорил вчера.

– Я знаю, – произносит она.

Он повторяет свои доводы, мягко, устало, как будто старательно вынимает эти доводы из ящика и кладет перед ней на стол.

– Я знаю, – говорит она.

Он шепчет ей на ухо, придвинув губы близко-близко. Он чувствует легкий запах ее пота – свежего и давнего. А когда касается ее лица своим, он чувствует влагу – ее слезы.

– Я знаю, – повторяет она. – Я знаю.

Его руки обхватывают ее, смыкаясь у нее на животе.

– Это все верно, что ты говоришь, – говорит она.

– Да, все верно...

– И это ничего не меняет. Я просто не могу.

Она берет его руки в свои и сидит неподвижно. Ее руки очень теплые

и очень влажные.

Она говорит:

– Этот ребенок выбрал своей матерью меня, и... и я просто не могу отказаться от этого. Пожалуйста, пойми. Карел, пожалуйста, пойми.

Его голова тяжело давит на ее плечо.

– Ты понимаешь? – спрашивает она шепотом.

– Нет, – отвечает он.

Но это не совсем так. Не совсем. Так или иначе ситуация проще, чем он думал. Она всегда была очень простой. Последние два дня стали каким-то наваждением. Существовал только один возможный исход. Теперь он это видит.

Они сидят так очень долго, на светлом диване.

А солнце светит и светит.

– И что теперь? – спрашивает он наконец.

Он имеет в виду: «Куда это нас приведет? Куда это заведет наши жизни?»

– Хочешь есть? – спрашивает она.

– Нет, – сразу отвечает он.

Ему кажется, что он уже никогда не захочет есть. Ему вообще кажется сложным думать о чем-либо. Будущее, кажется, снова отступает в неизвестность.

– Хочешь, пойдем прогуляемся? – спрашивает она, впервые начав двигаться, поворачиваясь к нему так, что и ему приходится поднять голову. – Пойдем прогуляемся.

– Куда?

Он осматривает элегантную минималистично оформленную комнату и словно не понимает, где находится.

– Я не знаю, – говорит она. – Куда угодно. Почему бы тебе не надеть брюки?

Он покорно натягивает брюки.

Они выходят из отеля и идут в сторону Кенигштайна. По тротуару, вдоль шоссе. Иногда мимо проносятся машины. Иногда становится совсем тихо. Иногда рядом деревья или запах свежескошенной травы.

До Кенигштайна пять километров, сообщает указатель. Они не останавливаются. Лето в самом разгаре. Еще будет светло много часов. У них есть время на прогулку, было бы желание.

Часть 5

Lascia Amor e siegui Marte! [\[42\]](#)

Глава 1

Каждое утро он отвозит дочек в школу, а во время летних каникул – на уроки тенниса. Обычно он только тогда их и видит, поскольку домой возвращается поздно, когда они уже давно спят. Так что он дал обещание отвозить их в школу по утрам или на уроки тенниса. И он держал обещание.

Школа так или иначе по пути к его работе. В отличие от Датского теннисного клуба. Дорога до него занимает как минимум двадцать минут. А движение по утрам довольно плотное. Он разговаривает с дочками, Тиной и Викки, пока везет их, – в основном о телепередачах, поп-музыке и знаменитостях. Тине одиннадцать. Викки восемь. Они любят говорить о телезвездах. О поп-звездах. Он знает о них немало, хотя это уже давно не область его интереса, как когда-то.

Они прибывают в теннисный клуб около девяти, и девочки берут сумки с теннисными принадлежностями и выбегают из машины, небрежно махнув ему руками на ходу, а он сидит и смотрит на них. Когда они заходят в здание, он отъезжает и включает радио. Обычно он не включает радио, пока не высадит дочек, но иногда они слушают музыку вместе в дороге, а иногда подпевают.

Но когда он один, он слушает новости. Обычно в это время говорят о спорте, без пяти девять, когда он проезжает мимо района озер.

Его «Ауди» почти новая – ей нет еще и года, – и ему нравится водить ее. Модель А4, серебристая, с черными кожаными сиденьями. Скромный, удобный салон. Можно сказать, не выделяющийся. Когда выбирал машину, он прочитал об этой модели на одном сайте, что она «четко и разумно отвечает почти всем необходимым требованиям». Ему это сразу понравилось, сама формулировка.

От теннисного клуба до его офиса в городе дорога занимает еще минут десять, в зависимости от пробок.

Иногда он опаздывает на несколько минут на утреннее совещание и старается незаметно проскользнуть и занять ближайшее место к двери, в то время как Элин уже говорит.

Сегодня утром внеочередное заседание. Элин позвонила ему очень поздно прошлым вечером и сказала, что только что говорила с Джепом, редактором отдела новостей. Он рассказал ей об одной истории, над

которой работал. Это касалось министра обороны, Эдварда Далина, а точнее, подозрений относительно его романа с замужней женщиной.

– Джеп говорил с тобой об этом? – спросила его Элин.

– Нет, – сказал Кристиан.

Джеп сказал ей, что уверен в правдивости этой истории, поскольку у него был доступ к телефонным данным, не оставлявшим сомнений, – более чем однозначные сводные данные, а также, что еще примечательнее, конкретные слова из текстовых сообщений. Элин хотела знать, как Джеп смог раздобыть такую информацию, не пришлось ли ему как-то обходить закон. На это он сказал ей, что даже если и пришлось, никто из коллег к этому напрямую не причастен.

Сообщив все это Кристиану, она спросила, что он думает об этом.

Он сказал, что прежде должен сам ознакомиться с информацией.

Сегодня утром они как раз собираются обсуждать это.

Приехав, Кристиан видит Джепа и его заместителя Дэвида Джесперсена у дверей комнаты для совещаний. Тучный Джеп сидит на единственном стуле, держа в руке пластиковый стаканчик с водой.

– Элин еще здесь? – спрашивает Кристиан.

– Она там с Мортеном, – отвечает Джеп.

Ему должно быть около шестидесяти. Он работает в газете, в должности редактора новостей, с тех пор, когда Кристиан только устроился сюда на практику.

– Обсуждает с ним твои сомнительные телефонные сведения? – спрашивает Кристиан.

Джеп пожимает плечами. У него совсем нет шеи, и в этом есть что-то отталкивающее. Его лохматые седые волосы подстрижены «под горшок».

– Что именно ты раздобыл? – спрашивает его Кристиан.

Он знает, что Джеп не посвящает его в свои дела, имея прямой выход на Элин, и при любой возможности старается обойти его. Джеп хотел стать заместителем редактора, когда эта должность открылась два года назад – однако ее получил Кристиан, который тогда работал редактором отдела шоу-бизнеса и теленовостей и был моложе его на двадцать лет. С тех пор отношения между ними не особенно теплые.

Глядя в свой стаканчик, Джеп говорит:

– Я тебе там скажу. Не хочу два раза повторять.

– Ну, хорошо, – кивает Кристиан и, повернувшись к Дэвиду Джесперсену, здоровается с ним.

– Привет, приятель, – отвечает Дэвид.

– Ты тоже с нами?

– Так точно.

– Потрясающе, – говорит Кристиан.

Зайдя в комнату, они видят Элин и Мортена, штатного юриста. Хотя он не похож на юриста – на нем спортивный костюм.

Они все здороваются и рассаживаются за длинным столом. На нем бутылки с минералкой. Из окон открывается вид на озеро Пеблинге. Сейчас жарко – безветренное августовское утро.

Элин обращается к Джепу:

– Хорошо, расскажи нам, что у тебя есть.

– Дэвид, – говорит Джеп.

Дэвид Джесперсен с готовностью подается вперед. Он ровесник Кристиана – год в год; они учились в одной школе в провинции. Дэвид поступил в университет и так пришел в журналистику. У Кристиана не было высшего образования, и какое-то время Дэвид занимал более высокую должность. Он худощавый, симпатичный, кожа у него чуть желтоватая, что говорит о проблемах с печенью.

– Хорошо. Что у нас есть? У нас есть неопровержимое доказательство того, – говорит он, обращаясь в основном к Элин, – что у Эдварда Далина роман с замужней женщиной. Это продолжается несколько лет. Вообще-то мы занимаемся им уже какое-то время. Женщину зовут Наташа Омсен. Она замужем за Сереном Омсеном.

Элин прерывает его:

– Далин не женат?

– Нет. Разведен, – говорит Дэвид. – Омсен замужем.

Элин кивает.

– Да, это продолжается уже несколько лет, – говорит Дэвид. – Но сейчас, похоже, их отношения на излете. Она так хочет. Далин же вовсе не в восторге.

– У него разбито сердце, – добавляет Джеп.

– И вам известно все это благодаря доступу к телефонным данным? – спрашивает Элин. – Что у вас есть конкретно? От кого вы это получили?

Дэвид смотрит на Джепа – Кристиан замечает в его взгляде тревогу.

– От кое-кого из телефонной компании, – говорит Джеп. – Как я сказал, у них есть доступ к телефонным распечаткам. Кому он звонит. Когда. Его голосовые сообщения. Текстовые сообщения.

– И у вас есть эта информация?

– Ага.

– Как вы ее получили? – спрашивает Элин.

– Они к нам сами обратились.

- Я полагаю, вы им заплатили.
- Ага, – говорит Джеп, глядя в стол.
- Сколько?

Джеп поднимает глаза:

- Вы уверены, что хотите знать?

Элин смотрит на Мортена, который качает головой.

- Так что у вас есть, конкретно? – повторяет она.

Дэвид передает ей флешку, наклонившись через стол.

- Там все тексты, – говорит он. – И конспекты основных пунктов.
- Важны сами тексты, – добавляет Джеп.
- Его – к ней?
- И ее – к нему, – говорит Дэвид. – Все там.

Она вставляет флешку в лэптоп и открывает файл. Примерно минуту она молча изучает его, пока другие смотрят на стену или в окно – на озеро и низкий копенгагенский горизонт – дома на дальнем берегу реки напоминают дорогие игрушки.

– А вы уверены, – внезапно спрашивает она, – что это настоящее? Не какая-то фальшивка?

- Уверены на сто процентов, – говорит Джеп.
- Почему?
- Мы проверили источник.
- Да?

– Отправили кое-какие тексты сами, – говорит Джеп, – на номер Далина. Они там. По времени все совпало, как положено.

Кажется, Элин довольна, даже впечатлена, а Дэвид больше других доволен собой.

Элин говорит:

– Единственная проблема в том, что мы не можем напечатать ничего из этого. Из этих сообщений.

– Да, – подтверждает Джеп. – Это выдаст наш источник. А то, что он сделал, это, прямо сказать, не совсем законно. Или как? Я вообще-то не знаю. Его же тогда могут обвинить, наверное.

- Хорошо, – говорит Элин.

Она поворачивается к Мортену, который стоит у нее за плечом и тоже просматривает сообщения на экране лэптопа.

- Так мы не можем? – спрашивает она.

– Нет, – говорит Мортен. – Если Далин подаст в суд, а этот материал нельзя использовать в суде, больше у тебя ничего нет. Так что – нет.

- Так что нам тогда остается? Джеп?

Дэвид Джесперсен озабоченно почесывает подбородок и смотрит в окно. Он старается подражать, в разумных пределах, Дэвиду Бекхэму. Приталенный пиджак. Стрижка по моде 1930-х. Ухоженная светлая щетина.

Джеп начинает говорить о том, какую окраску получит эта история в свете национальной безопасности.

Элин прерывает его:

– Да, ясно. Если он подаст на нас в суд, защищаться нам нечем. В этом все дело. Что ты думаешь? – спрашивает она Кристиана, который пока ничего не сказал.

Он тоже встал со своего места и, склонившись к экрану ноутбука, читает тексты. Их там сотни. И читать их как-то неловко. Из-за их языка. *Я хочу тебя. Ты разбиваешь мне сердце.* Все в таком духе.

Он выпрямляется.

– Это история для первой полосы, – говорит он. – Он ключевой министр. Это должна быть первая полоса.

– Так ты думаешь, мы должны это сделать? – спрашивает Элин.

– Я думаю, должны.

– Он подаст на вас в суд, и вы, скорее всего, проиграете, – говорит Мортен, садясь на свое место, широко расставив ноги в тренировочных штанах. – И вам это очень дорого обойдется, должен сказать.

Элин по-прежнему смотрит на Кристиана. В нем есть какая-то спокойная сила, почти безмятежность. В его мягком, чуть пухлом лице. В своем пиджаке с узкими лацканами, при тонком синем галстуке, он напоминает на редкость элегантного специалиста по финансовой отчетности или даже молодого управляющего похоронного бюро. Легко представить, как он тактично говорит что-то семье покойного, зная, что и как сказать.

– Конечно, – обращается он к Мортену. – Я понимаю. Просто нам нужно что-то большее. Еще один источник.

– Например? – спрашивает Элин.

– Как насчет самого Эдварда? Что, если он сам признает связь?

– С какой стати? – удивляется Джеп.

Кристиан словно не слышит его.

– Он не знает, что это все, что у нас есть, – говорит он Элин. – Он не знает, что мы знаем, или откуда мы это узнали. – Теперь он переводит взгляд на Джепа. – Так ведь?

Джеп взирает на Кристиана с откровенной враждебностью, и тот опять обращается к Элин:

– Мы заставим его думать, что напомним об этом в любом случае. И

скажем, что даем ему возможность высказаться лично, изложить свою точку зрения...

– А если он будет все отрицать? – спрашивает Джеп.

– Значит, будет отрицать, – говорит Кристиан. – Но я так не думаю. – И снова обращается к Элин: – Я довольно хорошо его знаю.

– Уж ты знаешь, – говорит она тихо.

Он скромно пожимает плечами.

– Конечно, это тоже надо учитывать, – говорит Элин. – Далин нам нравится, так ведь?

– Мы не можем отказаться от материала только из-за этого, – говорит Джеп.

– Мы не можем отказаться от материала по разным причинам, – возражает Кристиан. – А значит, должны сначала поговорить с ним. Он будет к этому готов. Мы хотим представить его в наиболее выгодном свете. Так мы ему скажем. Если он будет думать, что мы напишем об этом в любом случае, ему просто не будет смысла это отрицать.

– Ты должен поговорить с ним, – говорит Элин Кристиану.

Джеп недовольно вздыхает.

– Больше никто об этом не знает? – спрашивает его Элин.

– Нет, – отвечает Джеп. – Я так не думаю.

– Ты так не думаешь?

– Нет, – говорит он. – Никто не знает.

– Все равно надо действовать быстро, – говорит Кристиан. – Мы не хотим, чтобы кто-то другой что-то разнюхал. И нам нужно успеть до того, как она его бросит, если бросит. Мне поговорить с Эдвардом сегодня?

– Хорошо, – соглашается Элин, – поговори с ним. Посмотрим, что он скажет. А вы, ребята, молодцы, – хвалит она остальных. – Ладно, на этом все.

Все начинают расходиться, но Кристиана она просит остаться.

Мортен оборачивается:

– Если вы решите написать об этом, я советую не называть имени женщины. Она – частное лицо. Она сможет выдвинуть против вас обвинение во вторжении в частную жизнь, даже если история будет на сто процентов правдива и без всяких других оснований для судебного преследования.

– Хорошо, – кивает Элин. – Я подумаю об этом. Спасибо, Мортен.

Когда они остаются одни, она просит Кристиана устроить встречу с Далином, и он звонит Ульрику Ларссену, советнику министра обороны по связям с общественностью. Кристиан довольно хорошо знаком с Ульриком.

Они общаются почти каждый день.

– Ульрик, – говорит он в трубку, – это Кристиан.

После обмена любезностями он переходит к делу:

– Слушай, Ульрик, мне нужно встретиться с Эдвардом. Лицом к лицу.

Ага. – Он смотрит на Элин. – Значит, он в Испании? Так я могу с ним там встретиться? Могу вылететь этим же утром. Это *важно*. Это очень важно.

Он захочет услышать то, что я скажу ему. Нет, по телефону не получится. Хорошо, дай мне знать, что он скажет. Спасибо, Ульрик.

Повесив трубку, Кристиан сообщает:

– Он в Испании на несколько дней.

– Официально?

– Нет, у него отпуск.

Пока они ждут звонка от Ульрика, Элин говорит ему:

– У нас тут ожидается большая встряска, Кристиан. Наш новый владелец хочет сильно сократить расходы. Ему так нужно. *Нам* это нужно. Ты это знаешь.

Он кивает ей с улыбкой.

Она говорит:

– Нас ждут потери. Придется со многими расстаться.

– Я знаю, – говорит он.

Они сидят рядом за длинным столом. Его телефон лежит перед ними.

– Ты всегда с таким вкусом одет, – говорит она, улыбаясь ему с восхищением.

– Стараюсь.

– Джеп раздолбай.

Он молча выравнивает свой телефон по краю стола.

– Что ты думаешь о нем?

– Ты хочешь расстаться с ним? – спрашивает он, не сводя глаз с телефона.

– Он висит на волоске, – признает она.

– Это может пойти нам на пользу. Если дело выгорит.

– Я уверена, всю работу сделал Дэвид.

– И я уверен, – соглашается он.

– Ты можешь представить Дэвида на месте Джепа? – спрашивает она.

Она смотрит на него тем особенным взглядом, словно только он один интересует ее во всем мире. Это очень льстит ему.

– Не уверен, – отвечает он.

– Я не могу, – говорит она. – Если честно.

– Может, вырастет со временем, – предполагает Кристиан.

– У нас нет возможностей для экспериментов.

– Нет, – соглашается он.

– Ты узнаешь немало интересного от Далина, так? – спрашивает она.

– Порядочно. Он хороший источник. Мы с ним приятели.

– А это не повредит вашим отношениям?

Кристиан сплетает пальцы холеных белых рук и задумчиво хмурится.

– Нет, – говорит он наконец. – Это пойдет на пользу каждой из сторон.

Ничего не изменится. А даже если изменится, дело того стоит. Я думаю.

– Я могла бы послать кого-то другого.

Легкая улыбка только подчеркивает ее задумчивость. Он качает головой – его мышиного цвета волосы аккуратно подстрижены.

– Нет.

– Это может стоить ему должности? – спрашивает она.

– Нет, полагаю, нет, – говорит он и задумывается на какое-то время. –

Нет. Если бы он был женат, тогда, возможно. Но он не женат.

– А как насчет Наташи Омсен? – спрашивает Элин.

– Ну, да, я размышлял об этом, – говорит Кристиан, снимая очки. –

Нам нужно следить за ней. Выяснить, где она живет. У нас есть ее номер, очевидно, мы можем отследить ее по телефону. Понять, как она настроена. Если Эдвард меня отбреет – он может быть упертым, когда хочет, – мы получим, что нам нужно, от нее.

– Я поручу это кому-нибудь.

Какое-то время они сидят молча.

Затем она спрашивает с мягкой улыбкой:

– Как твои девочки?

Он уже готов ответить что-нибудь расплывчатое и положительное, когда звонит его телефон. Ульрик.

Поговорив с ним, он убирает телефон в карман пиджака. И говорит Элин:

– Эдвард ждет меня в своем доме в Испании сегодня вечером.

Глава 2

В Малаге сорок градусов, когда он прибывает ближе к вечеру. Из самолета море казалось темным, цвета денима, а горы – древними. Прилетев в Испанию, он берет в прокате белый «фольксваген-пассат» и, включив кондиционер на полную мощность, вводит адрес Эдварда в навигатор.

Дом расположен в деревне, где-то вверх по дороге в сторону Кордовы. Дорога займет, вероятно, около часа.

Кристиан виделся с Эдвардом последний раз всего неделю назад. Он думает об этом по дороге из аэропорта. Новый владелец газеты закатил вечеринку. Эдвард был там не единственным, но самым влиятельным министром – заместитель руководителя правящей партии. Он сыграл в пользу Кристиана – личный подарок новому владельцу на новоселье от Кристиана – и пробыл там не дольше получаса, потягивая шампанское на газоне скромного старинного особняка в датском стиле, арендованного по такому случаю. Кристиан представил их друг другу: «Владелец газеты, миллионер, – министр обороны. Министр обороны – владелец газеты, миллионер». Он стоял там и смотрел не без гордости, как они ведут светскую беседу. После этого он сам немного побеседовал с Эдвардом в стороне от остальных гостей, у безупречно подстриженной живой изгороди. Они обменялись сплетнями, обсудили перспективы Эдварда. В политическом плане газета была на стороне министра. Он даже что-то писал для них от случая к случаю. По крайней мере, под статьями стояло его имя. Иногда их писал Кристиан. Как, например, одну, не так давно, – о преимуществах некоторых мер по регулированию рынка труда. Немного странно, что министр обороны публиковал что-то, связанное с экономической политикой. Он метил на ключевой пост – это был секрет, известный всем. Отчасти еще и поэтому он простоял на том газоне с полчаса, вертя в руке бокал шампанского, приятным летним вечером на прошлой неделе. Было чуть облачно, но дождя никто не опасался.

Шоссе пролегалo среди засушливых холмов. На протяжении долгого пути единственными представителями флоры были оливковые деревья, миллионы деревьев, посаженных ровными рядами.

Вблизи городка под названием Лусена навигатор велит съехать с шоссе. Теперь вокруг чуть менее сухо. Встречаются другие деревья, помимо олив, хотя и не много, они стоят в отвесном солнечном свете,

отбрасывая четкие тени. Тощие овцы на склоне холма. Деревня с белой церковью, колокола под маленькими сводами. Улицы пусты. По-видимому, сиеста. На краю деревни дом.

Он-то ему и нужен.

Навигатор сообщает, что он на месте.

Дом с прилегающим участком обнесен стеной, рядом растет одно дерево, в скромной тени которого Кристиан пытается поставить арендованную белую машину. Затем он проходит через ворота, поскрипывающие на петлях, его проворно обыскивают личные охранники министра – двое из них потеют на жаре, ожидая его – и дорожка ведет его к дому.

Дом выглядит скромно. Одноэтажный, белый, впереди терраса с белыми же колоннами. Несколько различных размеров деревьев, напоминающих пальмы, в кадках. Пыльный олеандр. На террасе простенькая мебель – стол и несколько стульев: металл, покрашенный зеленым, и кушетки в бело-зеленую полоску. На стене дома под навесом террасы декоративные эстампы.

Кристиан видит министра обороны в шортах, вьетнамках и рубашке без рукава, он несет куда-то разбрызгиватель. В ворота расстегнутой рубашки седые волосы. На голове – панамы и солнечные очки. Министр замечает гостя:

– О, привет. – И ставит на землю разбрызгиватель.

По сухой земле тянется зеленый шланг к трубе с краном у стены дома. Шланг, очевидно, прикреплен не очень плотно – из-под его края брызжет вода.

Министр подходит к Кристиану, который, сильно потев, стоит на дорожке.

– Привет, Кристиан.

– Привет, министр.

Они жмут руки. Рукопожатие министра нарочито крепкое. Лицо у него загорелое, симпатичное, напряженное.

– Пойдем, присядем, – предлагает он, указывая в сторону террасы. – Ты одет не по погоде, да?

Он смеется, пока они шагают рядом.

Кристиан вышел из машины с кондиционером пару минут назад, а его рубашка уже липнет по всей спине, собравшись складками. Пиджак он перекинул через руку, и рукав сразу стал влажным.

– Не было времени подумать об этом, – говорит он.

- Не было, – кивает министр. – Пожалуйста, садись. Хочешь выпить?
- Только воды, пожалуйста.

В открытых дверях шторы из нитей бус, и министр исчезает за ними, входя в дом за напитками.

Через минуту он возвращается, и нити снова приходят в движение. Он протягивает Кристиану стакан газированной воды со льдом и кусочком лимона. Себе он налил пива «Сан Мигель». Он тяжело опускается на стул напротив и говорит:

- Будем здоровы.

Он тоже потеет, хотя и меньше, чем его гость.

- Будем здоровы, – повторяет Кристиан.

Они с жадностью пьют, а вокруг жужжат насекомые, ищущие на террасе укрытия от солнца.

- Это твой дом? – спрашивает Кристиан.

– Моей бывшей жены, – отвечает министр. – Она иногда разрешает мне жить в нем. Она испанка.

- Я этого не знал.

- Ну, теперь знаешь.

Кристиан нервно обводит взглядом чахлую растительность.

– Ну так, – говорит министр, заканчивая светскую беседу, – для чего ты здесь, Кристиан, и почему так спешил?

Он явно настроен на откровенность. Одной ногой во вьетнамке он уперся в железную ножку стола и обхватил ее пальцами.

Кристиан делает еще один глоток газировки и ставит влажный стакан на стол. Он заставляет себя взглянуть министру обороны в глаза:

- Наташа Омсен. Мы знаем о тебе и Наташе Омсен.

Насекомые жужжат, точно бензопила.

После паузы министр спрашивает:

- И что дальше?

Кристиан спокойно улыбается, снимает очки и вытирает пот с лица рукавом. Затем надевает очки и спрашивает:

- Ты ведь знаешь ее?

- Да, я знаю Наташу, – отвечает Эдвард. – И что?

- У меня есть источники, – говорит Кристиан. – Люди говорят.

- Кто? Какие источники? О чем ты?

- Я думаю, ты знаешь, о чем я.

- Ну, не знаю, что ты слышал...

– У меня нет оснований сомневаться, – говорит Кристиан, – в информации, которой я владею.

– А именно?

– А именно – у тебя с миссис Омсен роман.

– Чушь какая-то.

Кристиан качает головой:

– Я так не считаю.

– Что ж, я говорю тебе – это чушь. Да, мы друзья. Наташа...

– Вы больше чем друзья, – перебивает его Кристиан. – Это не история о дружбе. Это история о том, что ты и миссис Омсен – и уже довольно давно – намного больше чем друзья.

Эдвард ничего не говорит, и Кристиан снова улыбается. По-дружески.

– Слушай, я бы не стал устраивать все это сегодня, если бы не *знал*, что это правда. – Он делает глоток воды и продолжает: – У меня нет фотографий, чтобы показать тебе, или чего-то подобного.

– Тогда почему ты так в этом уверен?

– Это моя работа – знать, что правда. И это правда. Информация, которой я владею, получена от источников, которым я абсолютно доверяю.

– Кто это? – спрашивает Эдвард жестко.

Кристиан вздыхает:

– Все, о чем я прошу, – это твое внимание к моей работе – к тому, что я здесь, лично, прилетел в Испанию, увидеть тебя – и, возможно, чтобы ты просто признал: информация, которой я владею, достоверна.

Министр обороны нервно вертит в руке влажный бокал с эмблемой «Сан Мигель». Он ничего не говорит. Из-за солнечных очков сложно сказать, о чем он думает. Его губы сжаты в тонкую линию.

Кристиан мягко произносит:

– Люди знают об этом романе, Эдвард. Люди об этом знают.

Эдвард все так же молчит, потому он идет дальше:

– Мое мнение таково: если я не напишу об этом, как минимум один из моих источников передаст информацию в другую газету. История вышла наружу. Тебе нужно принять это.

– Я не сделал ничего плохого, – говорит наконец Эдвард.

– И мы не намерены, – сообщает Кристиан, – вредить тебе, политически или как-то еще. Мы бы не хотели, чтобы что-то из опубликованного нами причинило тебе вред.

– Тогда зачем это публиковать?

– Эдвард, – говорит Кристиан, – история вышла наружу. Она *будет* опубликована. Вопрос – когда и кем. И, как я сказал, *мы* не намерены вредить тебе политически...

– Это *повредит* мне политически.

- Может, и нет. Смотря как это преподнести.
- В любом случае, политика – это одно, – говорит Эдвард сердито, – а частная жизнь – другое. Я хочу иметь частную жизнь. Я достаточно молод, чтобы хотеть этого. Ты должен меня понять...
- Конечно, я могу тебя понять.
- Если у тебя нет частной жизни, у тебя нет ничего, *ничего*. Ты *сам* ничто. Ты не личность, ты просто...
- Я понимаю...
- Понимаешь?
- Лицо у министра красное и блестит от пота. Кристиан немного выжидает. А затем говорит нейтральным тоном:
 - Моя позиция такова: есть определенные темы, определенные истории, с которыми приходится считаться.
 - Это твоя позиция, да?
 - Да.
 - Что за истории? Такие, как эта? – спрашивает Эдвард.
 - Как эта, да...
 - Почему? Это моя *частная* жизнь. Я не женат. Я всегда оберегал свою частную жизнь. Я не говорю другим, как им жить. Ты это знаешь. Я имею право на частную жизнь.
 - В идеальном мире так, вероятно, и было бы.
- Эдвард скептически усмехается:
 - В идеальном мире? Почему? Почему не в этом мире?
- Выждав несколько секунд, Кристиан отвечает:
 - Ты ключевой министр, и я не думаю, что ты можешь прибегать к аргументам в пользу частной жизни, чтобы отбросить обвинение в том, что у тебя роман с замужней женщиной.
 - *Обвинение*? Интересное слово.
 - Ну, подозрение...
 - Я не женат.
 - Я это знаю...
 - Я никому не лгал...
 - Я и не намекаю на это.
 - Что я сделал плохого?
 - Ничего.
 - Тогда почему я должен быть наказан?
 - Дело не в наказании.
 - А в чем тогда?
 - В том, что общество имеет право знать...

- Да к чертям собачьим! – бормочет Эдвард.
 - При всем уважении, ты должностное лицо, государственный деятель.
 - Это значит, у меня нет права на частную жизнь?
 - Это значит, что твое право зависит от многих условий.
- Эдвард понемногу отковыривает этикетку «Сан Мигель».
- Другими правами... – говорит Кристиан.
 - А Наташа? Она что, должностное лицо?
 - Нет.
 - Так у нее тоже нет права на частную жизнь?

Кристиан задумчиво хмурится.

– Если это будет опубликовано, – говорит Эдвард, тыча в него пальцем, – начнется вторжение в мою и ее частную жизнь. Ты это *знаешь*.

Кристиан снова вытирает пот с лица. И смотрит на часы. Без четверти пять. У него мало времени, если материал хотят дать в утреннем выпуске.

– Вот что я тебе скажу, – говорит он. – Мы не станем называть миссис Омсен. Хорошо? Мы не будем упоминать ее имени, если ты поможешь нам со статьей.

Он подается вперед. И чувствует, как рубашка опять липнет к спине.

– История вышла наружу, Эдвард, – говорит он. – Она будет опубликована. Мы хотим помочь тебе. Мы хотим это максимально обернуть в твою пользу. Так что работай с нами. Хорошо?

Эдвард встает. Он смотрит на пестрый газон, приложив руку к белой колонне.

– Неправда, что это не повредит мне в политическом плане, – произносит он.

– Почему? Ты же сам сказал, ты не женат...

– И в любом случае, – говорит он, – я думаю, все уже в прошлом. С Наташей.

Кристиан разыгрывает удивление.

– Да, – говорит Эдвард. – Она хочет это прекратить.

– Я не знал.

– Откуда тебе было знать? – спрашивает он с глухим смешком. – Только если твой источник не сама Наташа.

– Это не она.

– Не я хочу, – говорит Эдвард, – закончить наши отношения.

– Как давно это у вас? – спрашивает Кристиан.

– Два года. Примерно. Я надеялся, – признается Эдвард, продолжая смотреть туда, где разбрызгиватель проложил грязную дорожку посреди газона. – Я надеялся, она уйдет от мужа. Но нет. Она не хочет делать этого.

Он вздыхает болезненно. Ему идет шестой десяток. Он еще в приличной форме. Живот лишь слегка выдается вперед, лоснясь на солнце, щедром испанском солнце. Длинные, поджарые ноги.

Он поворачивается к Кристиану и снимает очки. Брови у него плотные и ровные. Глаза светло-голубые.

– Я чувствую себя как дурак в моем возрасте, Кристиан, – говорит он. – Так себя чувствовать из-за женщины.

– Это ты зря.

– Что ж поделать.

Он отвернулся от сада, сухого поля, кишящего насекомыми, и теперь смотрит на Кристиана, который по-прежнему сидит, потев.

– Когда мне сказали, ты хочешь со мной встретиться, я надеялся, что не по этой теме.

Кристиан грустно улыбается.

– C'est la guerre^[43], – говорит он.

– Ты знаешь, я теперь никогда не буду премьер-министром.

– Нет, я этого не знаю...

– Да, знаешь. Мы ведь живем не во Франции, Кристиан.

– И слава богу.

Министр игнорирует остроту Кристиана и спрашивает:

– Это представит меня легкомысленным, разве нет? Не столько морально, сколько эмоционально... Несерьезным...

Кристиан говорит:

– Я думаю, тебе стоит рассказать мне, что между вами было, с самого начала, просто чтобы быть уверенным, что мы все напишем правильно.

– Ты ожидаешь, что я расскажу тебе все?

– Ну, не все – только основные пункты. Где это началось? Как вы познакомились?

Глава 3

В припаркованном «пассате», включив кондиционер на полную мощность, он звонит Элин.

– Все нормально, – говорит он. – Он не сильно сопротивлялся. Он будет работать с нами. Я попробую набросать что-то в аэропорту и перешлю тебе. И еще, – говорит он, забегая вперед, – посмотри, не удастся ли найти фотографии, где они вместе. Они встречались на светских мероприятиях. Ее муж тоже там присутствовал, Серен Омсен. Может, есть фото, где они все вместе. Все трое. Это было бы идеально. Мой рейс в семь с чем-то. В офисе я должен быть ближе к одиннадцати. Увидимся там.

Сейчас полшестого. Солнце понемногу сходит с вершины небосклона, убавляя свою силу. Термометр на приборной доске показывает 37°. Несколько минут руль остается слишком горячим, чтобы держаться за него. Приходится то и дело передвигать по нему руки, пробираясь обратно через деревню к шоссе по навигатору, на юг от Малаги.

Он думает о заголовке статьи. Что-нибудь вроде:

ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

И подзаголовок буквами помельче:

СТРАСТИ НА ВЫХОДНЫХ В ЖГУЧЕЙ ИСПАНИИ

У министра обороны Эдварда Далина уже более двух лет тайный роман с замужней женщиной. Пятидесятипятiletний отец двоих детей...

ИСПОЛЬЗУЕТ ДОМ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ ДЛЯ ТАЙНЫХ СВИДАНИЙ

Пятидесятипятiletний отец двоих детей...

Пятидесятипятiletний отец двоих детей попытался на прощание подкупить его.

Кристиан, уже стоя на пороге, с пиджаком, перекинутым через руку, подумал об этом секунду, сильно потя, и сказал:

– Мне приятно знать об этом.

И улыбнулся. И ушел. Прошел по дорожке, мимо двух охранников министра – «Спасибо, парни» – в пропотевших рубашках поло и спортивных солнечных очках. Охранники сидели на белых пластиковых стульях в тени пышно разросшейся бугенвиллеи. Кристиан вышел за ворота.

Это было предложение из разряда «ну, а вдруг». Несерьезное, по большому счету. Не такое, чтобы можно было всерьез думать о нем. Да и

Эдвард, если уж по-честному, был не в том положении, чтобы делать предложения.

Пятидесятипятiletний отец двоих детей говорит, что у него «разбито сердце» из-за этой таинственной замужней женщины...

Вот о чем стоит подумать. О том, чтобы не называть ее имени. Ее имя станет известно в какой-то момент. Отсюда и интерес к фотографиям. Ее имя станет известно в течение двух суток, думает он, глядя на шоссе и обходя очередной голландский дом на колесах. Как только люди узнают о ее существовании, ее разыщут и назовут по имени в течение двух суток. Эту честь придется предоставить кому-то другому. В завтрашней статье надо будет дать намеки. Упомянуть, к примеру, возраст...

Пятидесятипятiletний отец двоих детей говорит, что у него «разбито сердце» из-за таинственной сорокалетней замужней женщины...

Возможно, следует что-то сказать о ее муже. Например:

Ослепительная сорокалетняя брюнетка отказывается оставить мужа, одного из богатейших людей Дании...

Хотя так можно слишком сузить горизонт. Нам просто нужно, чтобы кто-то открыл ее имя как можно скорее, вот и все, так что надо все как следует обставить. Использовать фотографии. Он уверен, что видел их вместе на каком-то снимке, Эдварда с Наташей Омсен и, возможно, Серена Омсена тоже. Было бы идеально найти фото с ними тремя, где бы она смотрела на Эдварда. Откуда же было то фото, которое он видел? С какого-то мероприятия в Национальной галерее? Делает ли Омсен пожертвования галерее? Возможно.

А знает ли Омсен вообще об этом романе?

Что, если мы просто позвоним ему и скажем: «Добрый вечер, господин Омсен. Вы знаете, что у вашей жены роман с министром обороны?» Посмотрим, что он скажет.

Муж этой женщины, один из богатейших людей Дании, сказал, что он «шокирован»...

«Вы в шоке, господин Омсен? Вы потрясены?»

Муж этой женщины, один из богатейших людей Дании, сказал, что был «шокирован» и «потрясен», узнав об этом...

Овеваемый волнами холодного воздуха из кондиционера, Кристиан снова фокусируется на дороге, на бесконечном караване мигрирующих тевтонцев в правом ряду.

Вообще будет даже лучше придержать ее имя в секрете пару дней – так статья станет только острее. Это большая история, и появится очень

вовремя. Через несколько дней им предстоит месячный отчет. Об этом сегодня утром думала Элин – больше, чем обо всем остальном. В этих отчетах вся ее работа. Если они показывают рост, она в прибыли. Если нет, значит, нет. Это на самом деле просто. Больше ничто не имеет значения, в конце-то концов. Все довольно просто, все в окончательном анализе, так он думает. Видеть подлинную простоту всего – вот что важно. Вот так человек вроде него, один из тех, кто начал свой путь с низов, прокладывают себе дорогу наверх.

Сейчас шесть часов.

Он недалеко от Малаги. На склонах холмов появляются первые уродливые признаки города. Термометр показывает тридцать четыре градуса.

Он думает о задрипанной школе, в которой когда-то учился, заново покрашенной, чтобы скрыть граффити на стенах. Колочая проволока на заборе по всему периметру. Отвратный запах кухни. В туалетах кабинки без дверей.

Просто так случилось – так ему кажется порой, – что у него теперь другая жизнь. Заместитель главного редактора ведущего таблоида в Скандинавии, решающий судьбу ключевых министров. Он всегда просто делал шаг за шагом. Он обнаружил, когда ему было восемнадцать, что ему нравится работать в газете – местной газете, которую он разносил мальчишкой, куда его взяли набраться опыта после школы. Это был первый шаг. Там оценили его сообразительность, энергичность, готовность браться за все. И еще он обладал инстинктивным пониманием того, как обстоят дела. До последнего времени он никогда не смотрел дальше чем на шаг вперед. До того момента, когда его назначили заместителем. Вот тогда он впервые оглянулся назад и увидел, как высоко поднялся, как близко он теперь к самой вершине, намного ближе, чем там, откуда он начинал, – разносчик газеты, живущий в муниципальной квартире. На четвертом этаже. Лифт не работает. Слышен каждый звук от соседей. Его отец по-прежнему живет там, справляется своими силами. Он объездил на своем грузовичке всю Европу, его отец, от Португалии до Польши все исколесил. Это было тем, что он сделал со своей жизнью. А теперь он вряд ли вообще поднимется. Вряд ли он теперь вообще покидает свой клоповник. Когда Кристиан был там последний раз? Больше года назад. Весной, в памяти остался запах цветочной пыльцы. А в квартире – запах сигаретного дыма. Телевизор работал. Повсюду спортивные газеты. Его отец сидел за хлипким столом на кухне, болтая о футбольном клубе «Копенгаген», о том, какой дерьмовый у них сезон. Окно было открыто. Запах пыльцы. Гудение

автострады.

Крики детей.

Иногда у него возникает чувство, что он очень далеко от дома. Что никого не будет рядом, если все пойдет не так.

Когда он возвращает машину в аэропорту, температура еще держится выше тридцати. Жара продолжает вызывать у него изумление – все равно как открыть дверцу духовки, – когда он выбирается из кондиционированного салона и идет по дорожке из мягкого щебня к офису, чтобы отдать ключи и подписать бумаги. Затем он направляется к терминалу – его самолет вылетает через час с небольшим.

Вылет – всегда кошмар. Тысячи людей путешествуют этим августовским вечером, тысячи опаленных солнцем северян стремятся домой – в Дублин, Манчестер, Гамбург, Хельсинки. Так они проводят выходные. Лично он ненавидит выходные. Что полагается делать в выходные? Он этого не понимает. Он бы никогда не брал выходные, если бы не жена и дети. Десять дней провели они этой весной в Дубае. И даже тогда он так часто висел на телефоне, общаясь с кем-то по работе, что Лора в конце концов спрятала телефон. Они тогда сильно повздорили. *Где мой гребаный телефон?*

Где мой гребаный телефон?

Он стоит в очереди на досмотр, снимает туфли, когда слышится знакомое пиликанье с вибрацией. Его телефон. Он отвечает. Это Элин.

– Не может быть, – говорит он, выслушав то, что она хотела сообщить ему. – Ты шутишь.

Он показывает людям в очереди, что они могут пройти раньше его.

– Ты уверена? – спрашивает он, отходя в сторону. – А затем надевает туфли и говорит: – Хорошо. Да, позвони ему, скажи, я буду на месте где-то через час. Ладно.

Спустя несколько минут он снова в автопрокате. Ему кажется, что с ним возятся ужасно долго, и это выводит его из себя.

– Мне не нужно, чтобы это была та же машина, – говорит он. – Любая машина.

Ему дают другую машину, «Сеат».

И снова то же шоссе, в сторону Кордовы, скорость выше 140 километров в час.

Уже почти восемь.

На термометре двадцать девять градусов.

Он так же съезжает с шоссе у Лусены. Уже опустились сумерки. Небо на западе пылает в истоме. На улице появляются люди. Рынки и магазины еще открыты, как и супермаркеты на окраинах городка, ярко светящиеся на фоне темнеющей зелени. Какой-то стадион. Футбольный, думает он сначала. Сегодня вечером матч. Проектора сияют. Пробка на дороге на выезде из городка. Затем он понимает, по указателям и постерам, что на стадионе вовсе не футбол. И вот он уже проехал это место и едет дальше в вечернюю темноту, удаляясь от огней городка, едет к деревне, где живет Эдвард.

Ему почему-то кажется странным само существование корриды. Он, разумеется, знает об этой забаве. Просто ему не по себе оттого, что он видит это сейчас своими глазами. Видит нечто настолько варварское, непереносимое для его чувствительной нордической натуры, причем происходит это с привлечением всех современных средств – прожекторов, бронирования билетов, платной парковки. А в центре всего этого – бойня. Бойня. Бойня как зрелищный спорт, развлечение.

Что может быть печальнее, чем яростная изнуренность быка? Чем неспособность быка понять даже в самом конце, что его смерть неизбежна и что так было всегда? Это просто часть представления.

Тихая деревня в глубоких сумерках. Только в сквере, рядом с церковью, открыт бар.

По-прежнему невыносимо жарко.

– Что вы здесь забыли? – спрашивает Эдвард, глядя на него со ступеней крыльца. – Что вам надо?

На нем все те же шорты и вьетнамки.

– Вы не сказали мне кое-чего важное, Эдвард.

– Что?

– Она беременна, не так ли?

Эдвард изумлен.

– Так вы не знали?

– Вы о чем?

– Я вам говорю, что она беременна. От вас?

– Пиздец! – бросает Эдвард громко.

Он явно пил. На губах у него следы красного вина.

– О чем вы говорите? Я не понимаю, о чем вы вообще толкуете.

Кристиан уже на ступенях. Смотрит снизу вверх на Эдварда, который выше его на голову, даже и без двух разделяющих их ступеней, и говорит, теперь уже тише:

– Миссис Омсен беременна. Если вы не знали, мне жаль, что именно я вам сообщаю это.

– Откуда, блядь, вы знаете?

Элин организовала слежку за миссис Омсен, и миссис Омсен привела двух журналистов в частную женскую консультацию, где пробыла больше часа. Об этом Элин сообщила Кристиану по телефону.

– Я просто знаю, – говорит он. – А вы не знали?

– Нет, – говорит Эдвард жалобно.

– Вы думаете, ребенок от вас? – спрашивает Кристиан.

– А шли бы вы на хуй, – говорит Эдвард. – Я не знаю, что вы тут делаете. Это моя жизнь, мы говорим о моей жизни.

– Да, это...

– Это моя жизнь. Не ваша.

– Я знаю...

– А почему бы нам не поговорить о вашей жизни? – спрашивает Эдвард. – Вам бы хотелось этого?

– Я здесь не затем, чтобы говорить о своей жизни...

– Но я тоже кое-что знаю о вашей жизни.

– В этом я уверен...

– Я знаю о вас и Элин Молгард, – говорит Эдвард, понижая голос, – о вашем главном редакторе.

После секундного колебания Кристиан бросает:

– Мне это не интересно.

– Вы и Элин, – говорит Эдвард, чувствуя, что он, пусть даже слегка, задел Кристиана, и ему это нравится. – Ваша жена знает об этом?

– Эдвард...

– Знает?

– Эдвард, это никому не интересно. Людям интересны вы. Я им не интересен. Вы министр обороны Дании. И у вас роман с замужней женщиной, миссис Омсен. Миссис Омсен беременна. Возможно, от вас. Это предмет общественного интереса...

– Это не предмет общественного интереса, – возражает Эдвард. Его силуэт вырисовывается в тусклом свете веранды. – Здесь нет общественного интереса.

– А по-моему, есть, – не отступает Кристиан.

– Нет. Это только слова. Просто таким образом люди вроде вас получают власть над такими, как я.

– Люди вроде меня?

– Да.

– Простите, я не совсем уверен, что правильно понял вас.

Эдвард смотрит ему в глаза с гневом и болью.

– Вы расстроены, Эдвард, – говорит Кристиан. – Я это понимаю. И мне правда жаль, что я вот так вывалил все на вас. Я полагал, вы знали. Вы, вероятно, хотите позвонить миссис Омсен, да? И выяснить, что происходит. Почему бы вам так и не сделать? Хорошо? Я подожду здесь.

Эдвард стоит на месте еще несколько секунд. Затем поворачивается и входит в темный дом, а Кристиан ждет на дорожке, в жарких сумерках. Он не присаживается на крыльцо. На столе веранды он замечает остатки еды, приборы для одного человека. Неожиданно он чувствует голод. Он ничего не ел после сэндвича в самолете этим утром. Когда все крутится так быстро, он часто забывает про еду.

Уже темно, когда Эдвард появляется из дома в электрическом свете, отбрасывающем резкие тени. Кристиан, прождавший почти полчаса, наконец, присел.

Теперь он встает. Ему кажется, что Эдвард плакал. Его нос как будто поменял цвет, что свидетельствует о недостатке самообладания.

– Вы говорили с ней? – спрашивает Кристиан.

– Да, говорил.

– И?

– Она не представляет, как вы могли узнать об этом. Она никому не говорила. Она думает, вы просто подкупили кого-то в клинике, куда она ходила.

– Мы не подкупали.

– Ну, еще бы.

– Так ребенок от вас?

– Я не обязан отвечать вам.

– Нет, не обязаны. Но вас об этом спросят. В какой-то момент вам придется с этим столкнуться.

– Может быть.

– Так будет лучше для вас, – говорит Кристиан, – высказать все сейчас, чтобы это не выплыло потом, через какое-то время. Так вам будет меньше вреда и не так болезненно.

– Значит, вы теперь мой советник по связям с общественностью?

– Я пытаюсь вам помочь, Эдвард.

– Нет, не пытаетесь.

Повисает долгая пауза, слышно только неумолчное жужжание насекомых. Затем Эдвард произносит:

- Она говорит, это от меня. И она не оставит его.
- Я сожалею.
- Теперь, пожалуйста, уходите.

– Теперь, – говорит он Элин, снова двигаясь на юг по темному шоссе, не выключая кондиционер, – это сенсационная история.

- О, да, – соглашается она. – Отличная работа.

– Я думаю, – говорит он, – выдать основной сюжет завтра, не называя ее имени, не упоминая о беременности. А потом, надеюсь, кто-то другой назовет ее имя в течение дня. Тогда уже в пятницу мы дадим полную историю, с именами, фотографиями, со всем. Но о беременности не скажем, подождем до субботы.

– Отличный план, – говорит Элин. – Если только кто-нибудь нас не опередит.

- Не опередят.
- Я подумаю об этом.
- Надо помочь тебе с аудитом, – предлагает он.

Она смеется:

- Сейчас это последнее, о чем я думаю.

Он тоже смеется.

– Как скажешь, – говорит он. – Надеюсь, я не пропущу последний рейс. Должен быть в аэропорту в десятом часу. Так что в офисе – после двух.

- Мы будем ждать тебя, – обещает она.

Он не успел на последний рейс. Когда он звонит Элин, чтобы сказать об этом, она предлагает ему остаться на ночь в отеле и вылететь первым утренним рейсом.

– Нет, – говорит он. – Есть рейс «Эйр Франс» на Париж примерно через полчаса, а потом на Копенгаген в четвертом часу. Прибывает в пять сорок пять.

– Ты уверен, что хочешь лететь? – спрашивает она. – Ты же измотаешься. Здесь все в порядке.

- Да, мне это нужно, – отвечает он.

– Зачем?

– Не волнуйся.

– Хорошо. Если ты так хочешь. Сколько тебе придется пробыть в аэропорту в Париже?

- Два или три часа.

– Ну, отлично.

– И я буду наслаждаться каждой минутой, – обещает он.

И на самом деле его охватывает радостное возбуждение – возбуждение от того чувства, что он в гуще событий, в самом центре главных новостей, того, о чем говорят все. Это чувство не отпускает его все то время, пока он летит в Париж, и потом, в аэропорту Шарль де Голль, с часу до четырех утра, когда в зал ожидания прибывает все больше людей, он сидит там и просматривает материал, присланный Элин. Первая редакция:

ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Фотография министра с выражением шока на лице – снимок они нашли в архиве. Еще одно фото на внутренних страницах, где он выглядит печальным.

Ослепительная сорокалетняя брюнетка отказывается оставить мужа, одного из богатейших людей Дании...

В самолете, который вот-вот возьмет курс на Копенгаген, он наконец засыпает.

Уже светло. Париж, знакомый вид в овальном иллюминаторе.

Но он его не видит. Он спит.

А затем мягкий воздух Дании.

Он знает, когда садится в «Ауди», что от него воняет. В буквальном смысле.

Глава 4

Каждое утро он отвозит дочек в школу, а во время летних каникул – на занятия теннисом. Он дал обещание так делать. И он держал обещание.

Когда он паркует машину перед домом в Хеллерупе, уже чуть больше семи. У него есть время принять душ и побриться, съесть миску хлопьев «Альпен», выпить два неспрессо: сначала ристретто, а затем линицию лунго с обезжиренным молоком.

– Выглядишь дерьмово, – говорит ему жена.

– А чувствую себя чудесно, – улыбается он ей.

– Ты спал?

– Час, в самолете из Парижа.

– Ты был в Испании?

Теперь это кажется странным.

– Ага, – говорит он. – Малага, там, рядом.

Тина и Викки смотрят на газетный заголовок на экране айпода:

ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

И на министра, с открытым ртом и испугом в глазах.

Об этом уже говорят в «Новостях». Телевизор в кухне включен, как обычно, и на экране сейчас тот же заголовок, та же картинка, а диктор упоминает о поступивших «обвинениях».

– Кто она? – спрашивает Тина, одиннадцати лет.

Ее отец жует хлопья «Альпен» и пожимает плечами.

– Это секрет, – говорит он.

– Кто она? Скажи нам! Кто она?

– Скажу завтра, – говорит он, весело подмигивая.

– Скажи сейчас! Скажи нам!

– Завтра, – повторяет он.

Интернет также подхватывает эту новость. Домыслы о том, кем же может быть «тайная любовь» министра, расползаются по социальным сетям. Среди множества названных имен есть и Наташа Омсен.

Они выезжают из дома в обычное время, он и дочери со своим снаряжением для тенниса. И хотя вид у него бледный, чувствует он себя до жути превосходно.

Хеллеруп безмятежен в утреннем свете, каштановые деревья пышно зеленеют вдоль тихих улиц, застроенных особняками. Высокие живые изгороди из бука защищают владельцев от любопытных взглядов. Никаких

магазинов. Он один из самых молодых домовладельцев в районе, ему нет еще и сорока. Большинство соседей заметно старше, пожилого возраста.

Где-то в еще более престижном пригороде, там, где теннисные корты и бассейны есть у всех, стоит и дом Омсенов.

Как-то раз, пару лет назад, когда Кристиан был еще редактором отдела шоу-бизнеса и теленовостей, он пошел в паб с Дэвидом Джесперсеном, заместителем редактора отдела новостей и его давним школьным товарищем, чтобы посмотреть матч команды «Копенгаген» на большом экране. Был ранний вечер воскресенья. Они были в офисе, за работой. Дэвид проводил в офисе больше времени, чем обычно, особенно по выходным. Жена вышвырнула Дэвида из квартиры после очередного «опрометчивого поступка», он жил у друзей и не хотел надоедать им все выходные. Кристиан бывал в офисе каждое воскресенье, так что они стали видаться чаще, чем раньше.

Они пришли в паб минут за десять до начала матча.

Дэвид заказал «Карлсберг». Кристиан – томатный сок, так как после матча собирался вернуться к работе.

Они немного поговорили о ситуации Дэвида, о подъемах и проколах в его личной жизни – о сиделках, с которыми он принимал душ, и быстрых перепахонах в туалетах ночных клубов.

А затем Дэвид спросил:

– Ну а ты? Ты не ходишь иногда налево?

– У меня нет времени, приятель, – ответил Кристиан.

– А как же Элин? Давай, колись.

Кристиан забросил несколько орешков в рот и повернулся к телеэкрану, висевшему под потолком в углу зала. Показывали список игроков.

Дэвид улыбался.

– Признай, ведь было, – сказал он. – Везет тебе, приятель. Элин у нас секси.

– Так, между делом, – признал Кристиан и сделал глоток томатного сока, а затем протянул стакан бармену: – Эй, Торбен, добавь немного водки, хорошо?

– Я думал, ты собираешься вернуться на работу.

– Собираюсь.

– Значит, между делом?

– Это было быстро и чисто, – пояснил Кристиан, принимая от бармена полный стакан. – А теперь это в прошлом. Вот и все.

– Значит, *на нее* у тебя было время?

– Это произошло в офисе, приятель. В этом дело. Нам не пришлось искать время. Мы все равно были там постоянно.

– Где вы этим занимались? – любопытно спросил Дэвид с ухмылкой, показывая темные от никотина зубы. – В шкафу?

– В основном у нее в офисе.

– У нее в офисе.

Кристиан поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее перед телевизором.

– Начинается, – сказал он.

И тогда он услышал вопрос посерьезнее:

– А Лора об этом знала?

– Нет, не знала, – сказал Кристиан. – И не узнает. И больше это не повторится. – Он сделал большой глоток из стакана, скривившись от водки, и добавил: – Это была ошибка. – А потом бросил, уже погружаясь в футбольный матч: – Мы оба дали маху.

– Как он это воспринял? – спрашивает его Элин.

– Не особо, – говорит он.

Элин скривилась, изображая сочувствие.

– Проронил *пару* слезинок, – говорит Кристиан.

– Сожалею, что тебе пришлось вытерпеть это, Кристиан.

– *C'est la guerre*, – произносит он. – Мне его было даже жаль.

– Что ж, повторюсь, – говорит Элин. – Сожалею, что тебе пришлось вытерпеть это.

Он улыбается – тихо, даже, пожалуй, печально. Только секунду.

– Так как наша новость? – спрашивает он.

– О, – говорит Элин, – ее называли. Наташу.

– Что, уже?

Он думал, что это случится скоро, но не настолько. Нет еще и десяти утра.

– Это повсюду в интернете, – сообщает Элин.

– А в других газетах есть ее имя? Нам нельзя быть первыми...

– Еще нет. Мы следим.

Через некоторое время он вспоминает:

– Я думаю, нам пора сделать звонок Серену Омсену, как считаешь? Он может еще не знать. Я скажу Дэвиду позвонить ему, хорошо?

– А что он ему скажет?

Кристиан произносит безмятежно:

– Доброе утро, мистер Омсен. Вы знали, что у вашей жены роман с

министром обороны?

Она хихикает:

– Мы ужасные, да?

– C'est la guerre.

– Это твоя фирменная фраза?

– Похоже на то, ага, – говорит он. – Ты нашла то фото? С ними тремя?

Я уверен, есть такое.

– Миккель будет с минуты на минуту, – говорит она, – с материалом.

Они в секретном офисе, предназначенном для решения конфиденциальных вопросов. На самом деле, он не то чтобы секретный, просто в стороне от шумной редакции, на другом этаже.

Она интересуется:

– Ты не хочешь отдохнуть несколько часов – поехать домой, поспать?

– Я так плохо выгляжу? – улыбается он. – Лора сказала, вид у меня дерьмовый.

– Как Лора? – спрашивает Элин.

Кто-то стучит в дверь. Они ожидают увидеть Миккеля. Но это не он. Это пресс-секретарь Элин, дама по фамилии Пернилль.

– У меня Ульрик Ларссен на проводе, – говорит она. – Из офиса Далина. Он сердится.

– Я с ним поговорю, – говорит Кристиан. – Хорошо?

– Я не против сама с ним поговорить, – заявляет Элин.

– Думаю, лучше это сделать мне.

– Ладно, – соглашается она. – Отлично.

Он говорит Пернилль:

– Передай ему, я перезвоню через минуту. Спасибо.

– Что ты ему скажешь? – спрашивает Элин, когда Пернилль оставила их вдвоем.

– Что мы собираемся представить это в максимально позитивном виде. Что не хотим вредить Эдварду и так далее и тому подобное. То же, что я сказал Эдварду. Это ведь правда. Ну, как бы. Спрошу его, не хочет ли Эдвард дать интервью.

– Ты бессовестный. – Элин дарит ему ту особенную улыбку, которая ему нравится.

– У меня толстая кожа, – говорит он ей и добавляет: – Ты знаешь, вчера вечером Эдвард сказал мне, что если он станет премьер-министром, то предложит мне должность Ульрика.

– Ну, да, да. Думаешь, он говорил всерьез?

– Кто знает? Это гипотетическая ситуация, так ведь? Теперь.

– Полагаю, нам надо повысить тебе зарплату, – снова улыбается она. – Опять.

– Ты знаешь, я этим занимаюсь не ради денег.

– Я думала, ты сказал, это не повредит ему. Эдварду.

– Ну, смотря что ты понимаешь под словом «повредит». На своем месте он сидит прочно, я бы сказал. Лучше я позвоню Ульрику.

Из трубки раздается:

– Что ты, *мать твою*, по-твоему, творишь?

– Доброе утро, Ульрик...

Кристиан стоит на пожарной лестнице, в пятне солнечного света.

Закончив с Ульриком примерно через десять минут и поговорив с Дэвидом Джесперсеном, он находит Миккеля, фоторедактора, в секретном офисе с Элин. Миккель выложил на стол множество фотографий, и они их рассматривают. Элин поднимает глаза:

– Что сказал Ульрик?

– Он считает, нам не следовало выпускать эту историю.

– Он нам угрожал?

– Не судебным процессом. Все в порядке, – говорит Кристиан, касаясь ее локтя. – Привет, Миккель.

– Ну, хорошо. – Миккель лишь чуть поднимает взгляд от фотографий, которые то и дело сосредоточенно и бессмысленно перебирает дрожащими пальцами.

На большинстве из них Эдвард – в самых разных позах и в различном настроении. Наташа Омсен только на нескольких. Есть одно или два фото с Сереном Омсеном. И...

– Вот оно! – выкрикивает Кристиан, припечатывая фото указательным пальцем; он почти никогда не кричит, ощущение довольно странное. – Вот оно.

Они трое. И да – она смотрит не на своего приземистого мужа, которого держит под руку, а на министра обороны, высокого и симпатичного, который с восхитительно хитрой улыбкой устремил взгляд прямо в объектив.

– Это, блядь, идеально, – говорит Кристиан. – Завтра на первую полосу, да?

– Думаю, да, – говорит Элин.

Миккель молча откладывает снимок в сторону.

Они еще продолжают смотреть фотографии, пытаясь выбрать одну с

Наташей, когда в комнату без стука вваливается Джеп, редактор новостей, и спрашивает:

– Что здесь происходит?

Кристиан отвечает:

– Мы просто рассматриваем фотографии, приятель.

Словно не замечая его, Джеп обращается к Элин.

– Это моя история, – говорит он, возмущаясь. – Это, мать вашу, моя история. Вы сначала даже не хотели братья за нее.

– Да, – поворачивается к нему Элин, – твоя, Джеп, и ты должен гордиться.

– Тогда почему вы теперь все решаете тут без меня?

– Что мне нужно от тебя этим утром, Джеп, – говорит Элин, как бы отводя его в сторонку, – так это быть в курсе всех других новостей. Есть ведь и другие новости, не так ли? – смеется она.

– Почему вы решаете без меня? – допытывается Джеп.

– Ты слышал меня, Джеп? – спрашивает Элин уже без смеха. – Ты мне нужен, чтобы быть в курсе всех новостей сегодняшнего утра. А с этим разбираюсь я. Ясно?

– Разве это не работа заместителя редактора? – говорит Джеп. – Быть в курсе всех новостей?

Элен выжидает несколько секунд и говорит:

– Это то, что мне нужно, чтобы ты сделал. Понятно? Так что иди и делай.

Джеп не двигается с места.

Ты покойник, приятель, думает Кристиан, по-прежнему склонясь над фотографиями.

И тут входит Дэвид Джесперсен, горя от возбуждения.

– Я только что говорил с Омсеном. Мужем.

– И? – спрашивает Элин, отворачиваясь от Джепа, который продолжает стоять на месте.

– Он послал меня на хер.

– И все?

– Нет, – говорит Дэвид. – Он сказал, что я подонок.

– Он знает, о чем говорит, – шутит Кристиан, поднимаясь. – Он уже знал о романе?

– Как мне кажется, – говорит Дэвид, – он знал. Как мне кажется, вчера вечером Далин сказал Наташе, что сегодня утром это все выплывет и она может сама сказать мужу. Она ему и сказала.

– Ну да, возможно, – кивает Кристиан.

– И знаешь, что еще добавляет соли? – говорит Дэвид. – Сегодня у него, мать вашу, день рождения. У Серена Омсена.

Кристиан смеется:

– Ты шутишь.

– Я смотрел его страницу в Википедии. Пятое августа пятьдесят восьмого года. *Сегодня* день его рождения.

– Не может быть.

– С днем рождения, мистер Омсен, – говорит Дэвид с наслаждением.

– Взгляни-ка на них, – говорит Кристиан, показывая на фотографии.

– А, картинки блеск. – Дэвид присаживается за стол. – Хорошо, Миккель.

Миккель, человек немногословный, просто кивает и передвигает дрожащим средним пальцем одну из фотографий на миллиметр влево.

– Значит, с Омсена взять нечего? – спрашивает Кристиан. – Никаких подходящих цитат?

Дэвид говорит:

– Вы шокированы, мистер Омсен? Уф, фух. Вы потрясены? Вы, сэр, подонок. Вы хотели бы что-то сказать, мистер Омсен? Мистер Омсен? Тишина. Повесил трубку.

Дэвид смотрит на фотографию Наташи Омсен, на которой она по-настоящему аппетитна.

– Вообще-то, – говорит он, – он сказал кое-что еще.

– Что?

– Откуда у вас этот номер?

– Откуда у нас номер?

– Из телефонных распечаток его жены.

– Помалкивай об этом, – говорит Элин, включаясь в беседу.

Она стояла в стороне, в своих мыслях, после того, как минутой раньше ушел Джек.

– Так, – говорит она, – какие мы используем?

Пока они с Кристианом решают этот вопрос, Миккель безмолвно показывает Дэвиду несколько других снимков – он просто передает их ему по одному, без лишних слов, на них известная актриса, загорающая нагишом.

– Пиздец! – говорит Дэвид.

– Когда закончите это смотреть, – бросает ему Элин, – я хочу, чтобы ты съездил в эту женскую консультацию. Мне нужно больше информации об этом, прежде чем мы что-то предпримем. На данный момент все, что у нас есть, – это слова Эдварда.

– Верно, – говорит Кристиан.

Он уже обсуждал это с Элин, свою догадку, возникшую в середине ночи, пока он ждал самолета в Шарль де Голль, – что, если Эдвард солгал ему, сказав: «Она говорит, это от меня. И она не оставит его»? Было что-то странное в том, как он это сказал. А если они напечатают это и это окажется ложью – если ребенок не от него, или она собирается рожать, или если она вообще не беременна, – тогда у него будет основание для судебного иска, и он сможет засудить их ко всем чертям.

– Что, думаешь, он мог тебе соврать? – спрашивает Дэвид, продолжая принимать фотографии от Миккеля. – Черт побери! – произносит он с чувством.

– Кто знает?

– Это было бы коварным ходом, а?

– Мне нужно что-то большее, чем его слова Кристиану.

– Вполне справедливо. Только я всю ночь был на ногах, – уточняет Дэвид.

– Я с этим разберусь, – обещает Кристиан.

– Да? – говорит она. – Хорошо.

– Я подключу Катрин, – поясняет он, просматривая последнюю подборку фотографий. – Это по ее части.

– Это значит, я могу ехать домой и маленько прикорнуть? – спрашивает Дэвид.

– Полагаю, можешь, – отвечает Элин мягко. – Ну, иди тогда, отваливай.

Отослав Катрин в женскую консультацию, предварительно снабдив наличностью, чтобы она выяснила, для чего именно к ним вчера приезжала на час Наташа Омсен, Кристиан спускается в «Старбакс». На первом этаже есть несколько подобных заведений, и иногда он заглядывает на десять минут в «Старбакс», чтобы выпить чашку латте и прочистить голову.

Там он видит Дэвида Джесперсена, жующего сэндвич.

– Я думал, ты собираешься домой, приятель. – Кристиан присаживается рядом.

– Собираюсь, доем вот, – говорит Дэвид. – Ты видел эти фотки Миккеля, с этой, как ее там?

– Ага.

– Дырка крупным планом, полный отпад.

Кристиан спокойно снимает крышечку со стаканчика латте.

– Нам можно их использовать? – спрашивает Дэвид.

– Может, одну топлес. На следующей неделе, когда все поутихнет. Они

с Мортенем.

– Это из-за меня, – спрашивает Дэвид, – или утром был какой-то хай?
Я про Джепа, когда я вошел.

– Не из-за тебя.

– А что тогда?

Кристиан пожимает плечами:

– Я не знаю. Скоро ожидается встряска. Может, что-то в связи с этим.

– Какая еще встряска?

– Такая, от которой люди вылетают.

– Seriously?

– Так мне сказали.

– У нас и так мало людей, – говорит Дэвид.

– Знаю.

– То, что теперь делает каждый, раньше выполняли двое, трое человек.

– Те дни уже не вернуть, – говорит Кристиан.

Они сидят на высоких табуретах за стойкой, у окна. За окном проходят люди. В костюмах, офисные работники. Спокойная поверхность озера Паблинге отликает чернотой, по ней плывут облака. Один из свежих дней северного лета. Листва лениво колыхнется на тихом ветру.

– Что насчет меня? – спрашивает Дэвид.

– А что насчет тебя?

– Мне ничто не угрожает?

Кристиан отпивает латте.

– С тобой все нормально, – говорит он. – Не волнуйся об этом.

– Мне нужна эта работа, – говорит Дэвид. – Через два года мне сорок.

– Мне тоже, приятель.

– Мне двух детей обеспечивать.

– Я сказал, не волнуйся. Ты можешь спокойно идти домой, если ты об этом.

– Меня ничто не остановит, – говорит Дэвид. – Я, хули, зомби. А ты?
Ты в порядке?

– Отлично.

– Ты ведь тоже полуночничал, да?

– Ну, да. Полагаю.

– Не хочешь пойти домой на пару часов?

– Нет.

– Что, – говорит Дэвид, пытаюсь понять, – ты сам волнуешься насчет этой встряски?

– Вовсе нет.

– Тогда почему бы тебе не отдохнуть?

Кристиан, уставший, смотрит на озеро.

И говорит:

– Ты не понимаешь, приятель. Я никуда не хочу уходить отсюда. Я хочу быть здесь.

На секунду повисает тишина.

Дэвид смотрит на него, пытаясь понять.

– Для этого я живу, – поясняет Кристиан. – Для этого. Что происходит здесь.

И это правда, думает он, допивая латте, когда Дэвид уже ушел.

Дэвид Джесперсен ушел.

Направляется домой, в свою квартиру в Нерребро. Квартиру с минимумом мебели. Пустым холодильником – несколько лагеров, больше почти ничего. Одноцветная спальня. Не очень отличается от той, которая была у них...

Что?

Почти двадцать лет назад.

Иногда выбирались вместе на поиски перепихона. Субботними вечерами смотрели футбол. На диване «ИКЕА». Пустой холодильник – несколько лагеров, больше почти ничего. Как странно, что та, прошлая, жизнь Дэйва снова возникла сейчас. В поисках перепихона.

Он допил латте. И все так же смотрит на гладкую поверхность озера.

Должен бы устать, чтобы сидеть здесь и глазеть вот так.

В поисках перепихона.

Кажется, там другой мир.

Одну секунду он думает об Элин, с чувством, близким к боли, о том, как это у них было. Два года назад.

Два с половиной.

Они сделали это очень профессионально.

Дали маху. На работе. Выпустили пар. На работе. Работа. «Для этого я живу». И это правда. Он вышел из «Старбакса» и стоит в холле – кругом новый мрамор – в ожидании лифта. Думает уже об Эдварде, о Наташе Омсен. Об этой истории. Опасная информация взрывается как бомба, разрывая в клочья ткань общественной жизни. Он чувствует, как начинает бушевать адреналин. Двери лифта закрываются. Ага, вот оно, его дело. Оно самое. Война.

Часть 6

Глава 1

Он уходит из офиса на два часа раньше обычного. День клонится к вечеру, полупустой поезд на Гатвик. Место у окошка в самолете. Слабый чай и кусочек шоколада с картинкой альпийского пастбища на обертке. И вдруг его подбрасывает. Он парит над миром, твердая земля уходит вниз за пелену тумана и пара, и эта мысль поражает его как реактивный снаряд. Бах. Вот оно. Есть только это. Больше ничего *нет*.

Беззвучный взрыв.

Он по-прежнему смотрит в окошко.

Есть только это.

Это не шутка. Жизнь не шутка.

Она ожидает его в зоне прибытия, держа айпад с его именем на дисплее, хотя по фотографии на его сайте она знает, как он выглядит, и подходит к нему, улыбаясь, пока он стоит перед шеренгой водителей с их хлипкими табличками.

– Джеймс? – спрашивает она.

Разница в росте значительная.

– Вы, должно быть, Полетт.

У нее шрам – да? – на нижней губе, маленький бледный рубец, чуть ли не по центру. Следует рукопожатие.

– Добро пожаловать в Женеву, – говорит она.

А затем шоссе – на сваях, сквозь туннели. Франция. Низкое солнце на его щеке. Свежий вечерний свет.

Она говорит:

– Значит, завтра.

– Да. – Он что-то высматривает за окошком, что-то, движущееся в золотисто-зеленом свете. Повсюду, куда бы ни смотрел, он видит деньги.

– Я организовала встречу с ними на площадке, – сообщает она.

– Отлично. Спасибо. – Она исполнительна, он это знает. Она оперативно отвечает на его письма, и ее ответы полностью его устраивают.

Поначалу он разговаривал с Полетт по-французски, пока шел за ней из зоны прибытия. Она же отвечала ему по-английски, и в первые минуты они ощущали неловкость, обращаясь друг к другу на неродных для себя языках.

Безупречный поворотный туннель – звук такой, словно к уху приложили огромную ракушку.

А затем снова долгие сумерки позднего лета.
Он интересуется по-английски:
– Какой будет погода? Завтра.
Это важно, погода может иметь значение.
– Как сейчас, – отвечает она. – Идеальная.
– Это приятно.
– Я устроила это для вас.
Это звучит слегка нелепо – то, как она сказала это.
Он устало улыбается.
Перестает улыбаться.
Передвигает ноги по коврику.
– Что ж, – говорит он после затянувшегося молчания, – спасибо вам.
Дорожное движение клонит его в сон.
Пышное зарево на всем. Зеленые склоны возносятся к небу, озаренные
вечерним густо-золотым светом.

Жилой комплекс [Les Chalets du Midi Apartments](#)^[44] включает двенадцать совершенно новых квартир в одной из самых чудесных долин во Французских Альпах. Имеется широкий ассортимент одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир по цене от 252 000 евро без НДС, расположенных в центральном районе в оживленной и популярной деревне Самоен. Самоен – это очаровательная французская деревня со множеством магазинов, ресторанов и баров...

Сколько лет он уже занимается этим?
Они съезжают с шоссе перед Ключом, и она платит пошлину.
Ключ прозаичен – состоит из ряда маленьких кольцевых развязок. С фонарей свисают цветы в горшках. Миниатюрные платаны, безжалостно обрезанные по французской моде. Здесь она живет, говорит она ему. Она нагибается над рулем, вглядываясь в какое-то окно и указывая на него своим маленьким пальчиком, говорит:
– Вот там я живу.
– Ясно, – кивает он, делая вид, что ему интересно.
Затем они выезжают из города и взбираются зигзагами по склону долины. На другой стороне горы отсвечивает заходящее солнце.
Она чуть опускает свое стекло. Пахнет навозом, мокрой травой.
– Вам знакома эта область? – спрашивает она.
Он говорит, что нет.
– В основном мы работаем чуть дальше к югу, – объясняет он. – Хам. Валь-д'Изер.

Она кивает.

– Куршевель.

Она работает на застройщика, Нойера.

– Я охватываю часть Швейцарии тоже, – поясняет он.

– Понятно.

Зигзаги кончаются. Дальше дорога идет через деревни, под кронами деревьев, в густой тени.

– Здесь приятно, – говорит он вежливо.

Она опять кивает.

– Да, здесь, наверху, приятно.

– Очень. А месье Нойер имеет другие планы? – спрашивает он, стараясь не казаться слишком заинтересованным. – После этого.

– Я так думаю. Вы можете спросить его, в пятницу.

– Спрошу.

Он пытается представить Нойера, думает, поладят ли они. Как Нойер воспримет его предложение? Он даже пока не уверен, в чем оно будет состоять. Ему нужно все обдумать.

– Это становится все популярнее, эта область, – говорит она.

– Держу пари.

– Здесь все более традиционно, – говорит она, – чем в более обустроенных местах.

– Похоже на то.

Деревня. Они заметно сбавляют скорость – повсюду «лежачие полицейские». Деревья поросли мхом. Прокат лыж – Location du ski – закрыт, сейчас не сезон. Реклама о продаже меда.

– Мы почти на месте, – говорит она, ускоряясь на выезде из деревни. – Наша следующая.

Сейчас уже вечер, однозначно. Она включила фары.

Впереди долгая прямая дорога с величественными высокими соснами. Затем шоссе берет влево, проходит над шумной рекой – он видит, как вода бурлит на валунах, – и вот они на месте.

– Мы приехали, – говорит она.

Они видят массу указателей – к отелям, пиццериям, прогулочным дорожкам, лыжным подъемникам. Все кругом как-то зарабатывают на жизнь.

А затем сумрачные тени на скромной улице, обсаженной деревьями.

Многоквартирные дома по обеим сторонам дороги, несколько почерневших от старости конюшен все еще стоят на непроданных полях.

Видя их за мелькающими деревьями, он пытается прикинуть

стоимость этих полей.

Он недолго прохаживается в угасающем свете дня. Вершины гор, нависающие над деревней, еще окрашены розовым. Особенно одна из них, упрямая. Бледно-розовая. Где-то плещется фонтан. Вода ледяная. В старой деревне, за бензоколонкой, есть замечательные каменные дома. Ему становится грустно.

Из-за этих поездок в Альпы в одиночестве. Пустые вечерние часы.

Теперь причудливый синий свет покрывает скалистые вершины гор. На улицах становится темно.

В Самоене немало интересного и после того, как перестают работать подъемники, – многочисленные бары и рестораны, где предлагается широкий ассортимент местных блюд, не дадут вам скучать...

Ничего похожего этим вечером.

Вместо этого еда в уединении в столовой отеля, розовато-персиковые скатерти и угнетающая тишина. Столик на одного. В ожидании еды он просматривает глянцевые брошюры – его собственную прозу, – он почти слышит свой голос в этих текстах, он словно сам читает это вслух.

В Самоене немало интересного и после того, как перестают работать подъемники... Немало интересного...

Да уж.

Как если бы он что-то знал об этом. Сейчас он здесь впервые. Хамфри выезжал сюда весной и заключил сделку с Нойером – эксклюзивную рыночную сделку. С тех пор Джеймс, разговаривая с Нойером по телефону на гладком французском, испытывал ощущение, как будто тот считает, что им пренебрегли. И Джеймс к этому причастен. Эта мысль посетила Джеймса не так давно, однажды утром, когда он стоял в ожидании поезда на мокрой платформе Эрлсфилд. И в этом он вдруг увидел для себя новую возможность.

Факт в том, что для Хамфри это было не такое уж важное событие. Сам он не разговаривал с Нойером со времени того весеннего визита. Сейчас Хамфри в Гонконге или, возможно, в Сингапуре – продает альпийскую недвижимость китайцам. Продает целые застройки. (Сколько будет пять процентов от двенадцати миллионов евро? Хорошая выручка за день.) Хамфри-Дьюти-Фри.

– Дьюти-Фри сегодня появлялся? – говорят они, Джеймс и другие, входя в офис в Эшере, чтобы обзванивать клиентов и делать рассылки.

Сколько зарабатывает Хамфри? Они обсуждают это за обедом, жуя

сэндвичи.

И сколько он стоит?

Он основал фирму в конце восьмидесятых. Он участвовал в одной из ранних сделок, владел долей капитала, так говорит Джон – Джон, бывший там с самого начала, однако ничего такого не урвавший. Он не принимал участия в какой-нибудь из ранних сделок.

Никто не хотел бы закончить, как Джон.

Один за столиком в столовой отеля, он перелистывает глянцево-ые брошюры. Легкий запах свежей краски. Les Chalets du Midi Apartments. Очевидно, строительство уже близится к завершению. Дома будут готовы как раз к лыжному сезону. Меблированы, упакованы. Десять из них выставят на продажу в течение нескольких месяцев. Должны быть что надо. Он побывает здесь не раз. Узнает это место, отель «Савой». Он обводит взглядом чопорное помещение в розово-персиковых тонах. Он уже знает его. Ну да, знает. В скольких отелях, подобных этому, он останавливался? В полупустых отелях ранним сентябрьским вечером? В первую неделю сентября летний сезон по большей части окончен.

Он думает, допивая бокал альпийского лагера, Нойер какой из себя, поладят ли они.

После еды он идет смотреть апартаменты. Это в пяти минутах пешком от отеля, от каменного центра деревни, в тишине еще оставшихся открытых полей в лунном свете.

Помимо маршрутов для горных велосипедов здесь также имеется ряд прогулочных маршрутов с прекрасными видами. Вы можете посетить обширные природные парки, находящиеся в этой области, и насладиться яркой природной красотой Альп. Если же у вас есть вкус к приключениям, к вашим услугам парашютный спорт на горных склонах, скалолазание, а также вождение 4×4 по бездорожью. Но если вы не любитель приключений, вам не нужно будет испытывать столько физических нагрузок...

Новые дома располагаются на бугристом пустыре. Он останавливается на подходе к ним, на щебенке, освещенной лунным светом, держа руки в карманах. В темном воздухе разливается приятный запах молодого леса. Хороший материал для своей ценовой категории – это он видит сразу. Стандартный дизайн с легким налетом «швейцарского стиля», все выстроено в спешке за одно короткое лето.

– Мири?

Он лежит на кровати в номере отеля, в одном белье. Из открытой

двери ванной комнаты падает электрический свет.

– Это я.

Его голос кажется громким в сдержанной тишине комнаты.

– Все было замечательно, – говорит он. – Нет, все замечательно.

Сосновые стены, воцеленная сосна.

– Это, ну, вы понимаете – Альпы. Нет, мило. Именно что мило...

Завтра я должен буду провести день с инвесторами. Выполнить *свою работу*. Напоить их. Накормить. Показать им магазин, где продается приличный сыр. Вам нужен магазин, где продают приличный сыр.

Он смеется чему-то.

– Мне говорили, здесь есть один... Нет, в пятницу будет застройщик... Как вы там? Как обстоят дела?.. Да? Что ж, мы этого ожидали, разве нет?.. Полагаю. Я не знаю. А почему вам самой не спросить его?.. Я бы об этом не волновался. – Он зевает и повторяет: – Что ж, я бы не волновался об этом... Я волнуюсь?.. Полагаю, да. Ну, да. – После недолгой паузы он говорит: – Здесь все так же. Спокойной. Хорошо. Спокойной.

Глава 2

Утром она ждет его в отеле, он на это не рассчитывал. Она стоит в просторном холле, отделанном сосной, разговаривает с менеджером так, словно хорошо знакома с ним.

– Привет, – говорит Джеймс, подруливая к ним.

На нем тщательно отглаженная рубашка с открытым воротом. Она поворачивается к нему, и он видит, словно впервые, шрам на ее нижней губе. Шрам отчетливо выделяется на гладкой коже, словно капля застывшего воска, очень похоже. Он старается не смотреть на шрам.

– Вы пришли ко мне? – спрашивает он.

– Конечно.

– Очень мило с вашей стороны.

Она знакомит его с менеджером, и они говорят несколько минут по-французски, с преувеличенной почтительностью о деревне, о том, как идет застройка.

На выходе из отеля, в окружении открыток и сувениров на горную тему, она надевает очки «Рэй-Бан» в черной оправе.

Ее маленький «пежо» припаркован перед магазином, продающим традиционные eaux-de-vie^[45].

Они подходят к машине.

Как хорошо ему знакомы эти альпийские деревни. Безукоризненно опрятные. Повсюду цветы и флажки. Горы парят в воздухе, как декорации, прекрасные и безобидные, словно пейзажи маслом. А на улицах витает дух зажиточного пригорода. Все с иголочки. Угнетающая опрятность во всем. И все же здесь что-то есть – едва ощутимое чувство, что это место живет своей жизнью. Несколько еще не испорченных улочек, думает он. Другими словами, пока есть места, на которых можно делать деньги.

Она ищет ключи, вынимая из большой кожаной сумки горсти всякой всячины, и спрашивает, как он спал.

– Идеально, – отвечает он. – Спасибо.

– Это хорошо.

Его седеющие волосы зачесаны назад волнами от высокого лба. С возрастом его кожа становится все более неровной – солнечные очки только подчеркивают это. И также в нем прибывает солидности. Он ждет, пока она отыщет ключи.

– А откуда пойдет новый télécabine^[46]? – спрашивает он.

– Вон оттуда.

Она поправляет очки и указывает за бензозаправку, по направлению ко въезду в деревню, туда, где они проезжали вчера, по улице, обсаженной липами.

– И когда его закончат?

Вопрос важен.

– К началу сезона, – говорит она.

Она нашла ключи и теперь читает сообщение, пришедшее на телефон.

– Обещаете? – настаивает он.

Она поднимает взгляд.

Он улыбается.

– Я обещаю, – кивает она.

Дорога на машине до Les Chalets du Midi Apartments занимает меньше минуты. В свете дня постройка кажется меньше, чем вчера вечером, и уже не так впечатляет. Пустырь вокруг теперь еще непригляднее, весь в сорной траве и слякотных ямах, в которых только высохли большие лужи после недавней бури, прокатившейся по долине.

Он стоит, глядя на все это, пока она разговаривает по телефону.

Возможно, она говорит с Нойером, и он пытается расслышать ее слова.

Когда она заканчивает, он чуть поворачивает голову в ее сторону и спрашивает:

– Это был босс?

– Он.

– Все в порядке?

– Да.

– Какой он из себя?

Вопрос как будто удивляет ее.

– Ну да. Какой он из себя?

– Он... – Она задумывается на секунду. – Опрятный.

– А он знает, что делает?

Она снова как будто удивлена, но отвечает:

– Уверена, что знает. А почему вы спрашиваете?

– Так, интересуюсь.

Ее английский не просто идеален: в нем слышится – в том, как она произносит отдельные слова, особенно гласные звуки, – настоящий английский акцент, некий мажорный лондонский налет.

– Должно быть, вы жили в Лондоне какое-то время, – предполагает он, улыбаясь ей в своих солнечных очках, неподвижно стоя на месте.

– Жила, – говорит она.

– Так и думал.

Он продолжает смотреть на нее. У нее миниатюрная, аккуратная фигурка. Платье доходит до середины бедер. Довольно стильно. Он думает: *La belle plume fait le bel oiseau*^[47]. Эта мысль заставляет его улыбнуться снова.

– Так что вы думаете? – спрашивает она серьезно.

Она касается пальцем шрама на губе. Она делает это периодически, просто притрагиваясь к нему на секунду.

Он обращает внимание на бурую застройку с угрюмыми окошками.

В любом случае ничего достойного внимания.

– Мило, – произносит он наконец. – Пойдемте посмотрим?

Что касается планировки этих просторных апартаментов, архитектор приложил все усилия для того, чтобы максимально использовать доступное пространство. В результате планировка получилась очень практичной. Гостиная с открытой кухней имеет доступ на просторную террасу площадью 8 м². С террасы, выходящей на юг, открываются впечатляющие виды на долину. Кроме того, в этих апартаментах вы увидите большую спальню...

Его собственные слова, написанные еще до того, как он увидел это место. Проза на стадии застройки.

Они стоят в демонстрационной квартире.

Даже после малообещающего экстерьера он разочарован. Впечатление полного отстоя. Ламинированный пол, мебель под «ИКЕА», дерьмовые картинки на стенах. Здесь явно сэкономили – эта мысль приходит к нему, едва он переступает порог. Слишком мало пространства. Здесь ничуть не «просторно», даже в понимании агента по недвижимости. Ощущение тесноты. Никаким «вау-фактором» здесь не пахнет, не считая разве что террасы, с которой открывается вид на горы в солнечном свете.

Так или иначе продать такое будет нелегко. Не по объявленной стоимости.

Он возвращается в квартиру. Интересно, кто был советчиком Нойера? Такая экономия просто не оправдывает себя. Только если у него совсем не было денег. Но в таком случае нужно было найти других инвесторов. Никакой проблемы. Джеймс знает, где их найти, где найти денег на такие проекты. Однажды Хамфри взял его с собой на мероприятие в «Огурец»^[48] – деньги их там просто ждали, разодетые, улыбающиеся, жующие закуски.

Должно быть, Дьюти-Фри просто оставил проект без внимания. Это

действительно второстепенное дело. Никакие олигархи не потянутся в эту сонную долину. Ничего похожего на Мерибель-Виллидж^[49]. Но даже если так, можно было сделать все на должном уровне. Выжать из проекта все, что можно. А теперь придется в итоге делать скидку на пятьдесят тысяч. Зачем бросать деньги на ветер? Несколько достойных предметов мебели, холодильник «Смег», немножко мрамора в ванной. Такие детали делают сделку успешной. Эти люди приходят сюда на день. Первое впечатление – все, что у них остается.

Он открывает и захлопывает дверцы хлипкого кухонного гарнитура.

Ну должен же быть *хоть какой-нибудь* вау-фактор.

Занавески, думает он, слово из студенческого общежития. Какой-то жуткий цветочный орнамент – полная хрень.

Она видит, что он не в восторге.

– Вам не нравится?

– Все отлично, – говорит он ей. – То есть пришлось экономить, конечно.

Он улыбается ей. И видит, что она его понимает. У нее то же ощущение.

– Кто был советником месье Нойера в этом деле? – спрашивает он и сразу добавляет, улыбаясь: – Я знаю, что не вы.

Он понимает это уже по тому, как она одевается. И подумывает, не сказать ли ей об этом. Что-то в этом роде.

Но момент упущен. Она говорит:

– Нет, не я. Не знаю, кто это был.

– Возможно, мадам Нойер?

Он говорит это как бы в шутку, и она снова повторяет:

– Я не знаю.

– А есть *вообще* мадам Нойер? – спрашивает он.

– Да, есть.

– Давайте тогда посмотрим остальное, – предлагает он.

Другие квартиры без мебели выглядят более привлекательно. Их пустота хотя бы предполагает какие-то возможности. Впрочем, все они будут такими же, как демонстрационная квартира. Несмотря на то, что она сказала, Нойер очевидно *не* знает, что делает. Ему нужна помощь. Нужен кто-то, чтобы держать его за руку. Именно на это Джеймс и надеялся – найти кого-то, кому нужна помощь.

Он подумывает, а стоит ли вообще *показывать* демонстрационную квартиру. Уж лучше показывать эти, пустые.

Он стоит у окна «пентхауса» – четыреста двадцать пять тысяч евро (без НДС) – дуплекс на самом верху здания, с видами на всю долину. Долина замыкается массой пересекающихся пиков. Целой стеной. С другой же стороны горизонт низкий.

Пол здесь еще не положен, он шагает по бетону.

– Здесь спят шестеро, так? – спрашивает он.

– Восемь, – говорит она.

– Восемь? – переспрашивает он скептически, словно журналист, берущий телеинтервью у политика.

Она говорит:

– Будет диван в гостиной.

– Верно. Ясно.

Он подходит к одному из окон. Здесь просторнее, чем в других квартирах.

– Каминны были бы очень кстати, – рассуждает он.

– Возник вопрос, – говорит она, – в связи со страховкой.

– Да? – Он стоит, глядя в окно. – И все же.

Его рука на холодном стекле. По другую сторону вздымаются зеленые склоны, по сторонам долины высокие пастбища и сосновые рощи. Деревья отсюда кажутся игрушечными. Островерхие игрушечные деревья. Он смотрит на них. Все такое неподвижное.

– Окна на обе стороны – приятное решение, – говорит он.

Она ждет у двери, в соседней комнате.

– Да.

– В деревне есть магазин, где продают приличный сыр? – спрашивает он.

И снова вопрос как будто удивляет ее.

Она переспрашивает:

– Приличный сыр?

– Понтовый сырный магазин, – поясняет он, поворачиваясь от окна. – Есть такой?

– Тут есть сырный магазин, – говорит она. – Не знаю, что для вас значит понтовый.

– Уверен, знаете, – улыбается он ободряюще.

– Ну, думаю, его можно назвать понтовым.

– Много приличного сыра?

– Да, – говорит она и кивает.

– Отлично. Нам такой понадобится. Нам нужен магазин, где продают приличный сыр. Это важно для людей, с которыми мы сотрудничаем. Это

для них обязательный компонент покупки недвижимости во Франции. La douceur de vivre^[50]. Сколько сейчас времени?

Она смотрит на свои часы:

– Почти без четверти одиннадцать.

– Подбросите меня наверх? – спрашивает он. – Я думаю, мне стоит осмотреть инфраструктуру сверху. Чтобы я мог хотя бы *сделать вид*, что знаю, о чем говорю. – Он улыбается. – А потом мы пообедаем.

Они уезжают тем же путем, каким приехали вчера, вниз по маленькой улице, обсаженной липами. Но сразу на выезде из деревни они сворачивают на дорогу, идущую крутыми зигзагами через лес. Она переключает скорости со второй на третью и снова на вторую, вписываясь в резкие повороты.

Потом они проезжают около километра по открытому пастбищу на четвертой. Солнце. Под большими навесами фермерский дом, потемневший от времени.

И еще несколько домов, настоящая деревня.

Вся эта земля – сколько она стоит? В ней целые состояния.

И снова лес. И виды на долину, теперь отступающие, иногда сквозь деревья, пока машина делает поворот за поворотом.

Вторая скорость, третья. Третья, вторая, третья. Ее тонкая загорелая рука все время в движении. Как и ее ступня в элегантной сандали. (Ухоженные ногти, отмечает он – насыщенный розовый цвет, как внутри ракушки.)

Путь до вершины занимает двадцать минут.

– О! – произносит он, когда они берут последний участок дороги, выезжая из тени на открытое пространство.

Неожиданно много щебенки кругом, и дальше вверх, там большая застройка, не очень новая – квартиры, отель, возможно. Домики, здания. Она паркуется на свободном участке щебеночной дороги, в тени, и выключает двигатель.

Вокруг никого. Стоя в солнечном свете, он слышит drobный топот с пастбищ. А когда дует ветер, над головой тихонько поют линии электропередачи. В остальном – тишина.

– Ну, расскажите мне об этом, – просит он.

Она начинает рассказывать о горнолыжных подъемниках и лыжных трассах.

Слушая ее вполуха, он подходит к краю щебеночного покрытия.

Склоны расходятся медленными волнами. Видна crêperie^[51] с закрытыми ставнями. Жужжание насекомых. Холодный горный ветер. И откуда-то – ленивое звучание коровьих колокольчиков, словно кто-то помешивает ложечкой чай.

Она рассказывает о лыжной школе, École du Ski Français^[52].

Да, он тоже помнит что-то подобное. Давным-давно это было, когда он шагал на лыжах вслед за алым комбинезоном. Туманный день. Влажный снег.

Солнце светит в глаза. Ветер на коже. Руках.

Лице.

Он закрывает глаза и слышит в порывах ветра коровий колокольчик.

Жизнь так уплотнилась в последние годы. Столько всего происходит. Одно за другим. Так мало пространства. Он в самой гуще жизни. Слишком близко, чтобы разглядеть ее.

Солнце светит в глаза.

В порывах ветра коровий колокольчик.

Тепло солнца.

Ветер на коже.

Раствориться бы в этих ощущениях.

Безнадежно.

Это не шутка. Жизнь не шутка.

Он открывает глаза.

Трава колышется, поблескивает.

Она говорит:

– Восемьдесят процентов склонов смотрят на север. Особенно хорошо кататься на лыжах весной.

Вот оно. Вот его жизнь, то, что сейчас происходит.

Это все, что есть.

Она стоит рядом с ним, довольно близко.

– Да? – говорит он. – И сколько там? Длина лыжни. В километрах.

– Считая весь Гранд-Массив?

– Так или иначе.

– Около двухсот шестидесяти километров.

– Ух ты!

– Включая Флен, Морийон, Ле Карро, Сикст и Самоен.

– И они все взаимосвязаны подъемниками?

– Конечно.

– Один переход покрывает их все?

- Это можно устроить.
- Хорошо, – говорит он.
- Приятно знать кое-какие факты.

На секунду он снова закрывает глаза, но очарование момента уже пропало.

Обед. Несколько признаний за пиццей. Она училась в художественной школе в Лондоне, откуда была исключена...

- Почему? – спрашивает он.
- Я влюбилась.
- Влюбились, – повторяет он. – Любовь все портит, не так ли?
- Вы очень циничны.
- Да, пожалуй, – соглашается он.
- Разве не в любви весь смысл?
- Весь смысл чего?
- Жизни.
- Я слышал об этом. И что вы сделали? – спрашивает он. – После исключения.

Она нашла работу агента по недвижимости.

И они говорят о недвижимости – он тоже занимался этим когда-то. И снова занимается теперь.

- Похоже, такова моя судьба, – говорит он.
- А вы *верите* в судьбу? – спрашивает она с удивлением.
- Теперь да.
- А я не верю.
- Конечно, не верите, – кивает он. – Вы слишком молоды.

Она смеется:

- Молода?
- Сколько вам?
- Ей двадцать девять.
- Я бы дал двадцать пять.
- Ах, – говорит она, явно польщенная.

Он улыбается.

- А вам сколько?
- Мне сорок четыре.
- И когда вы начали верить в судьбу?
- Не знаю, – говорит он.

Ему очень нравится разговаривать с ней – в ней есть особая свежесть и прямота, – и он пытается придумать, что бы еще сказать, что-то настоящее.

И произносит:

– Однажды утром я проснулся и понял, что уже поздно что-то менять. То есть по большому счету.

– Я не думаю, что когда-нибудь поздно что-то менять, – говорит она.

Он просто улыбается. И думает: «Вот такая штука с судьбой, ты только тогда понимаешь, что это судьба, когда уже поздно что-то с этим делать. Поэтому это и есть твоя судьба – просто уже поздно что-то с этим делать».

– Значит, это что-то, существующее только в ретроспективе?

– Полагаю, да.

– Тогда на самом деле этого не существует?

– Разве это следует из моей фразы? Я не знаю, – пожимает плечами он. – Я не философ.

– А вы счастливы? – спрашивает она, выдавливая кетчуп на последний ломтик пиццы.

– Да, думаю, счастлив. Смотря что иметь в виду. У меня нет всего, чего бы я хотел.

– Это ваше определение счастья?

– А ваше? – И, не дожидаясь ответа, добавляет: – У меня нет определения счастья. Зачем оно?

– Вы должны знать, счастливы вы или нет.

– Я не несчастлив, – говорит он и сразу задумывается, так ли это.

– Это не одно и то же.

– А вы? – спрашивает он. – Вы счастливы?

– Нет, – сразу отвечает она. – То есть моя жизнь идет не так, как я хочу.

Он думает, не спросить ли ее, как ей хочется, чтобы шла ее жизнь, что бы это ни значило. Но решает, отпив глоток воды, не спрашивать.

Они говорят о горных лыжах.

После обеда они идут вместе к Les Chalets du Midi Apartments. Аккуратные буковые изгороди, обрамляющие аккуратные улочки деревни, уже тронуты осенним румянцем.

– Вот теперь я примусь за свое дело, – говорит он.

– А мне теперь *хочется* это увидеть.

Он смеется.

Его вдруг охватывает странное чувство при мысли о том, что он познакомился с ней только вчера.

В долине жара. В небе ни облачка.

Он показал клиентам квартиры, и они сидят на террасе бара «Самоен» на главной площади. И вот он «делает свое дело».

На тротуаре пластиковые столы и стулья, и он следит за тем, как официантка составляет вместе два стола для их вечеринки. Затем он принимает у всех заказы.

Полетт, как он отмечает, сидит рядом с ним. Он улыбается ей:

– Порядок?

Она кивает.

И он снова возвращается к своему делу.

– Так вот, то дерево, – говорит он, выдавая с авторитетным видом сомнительный факт, который узнал только недавно, – является одним из самых старых во всей Франции. Ему, я думаю, около семисот лет.

Все поворачиваются к дереву.

Его мощный ствол два метра шириной. Сверху, на больших ветвях, поросших мхом, листва местами порыжела.

– А что это за дерево? – спрашивает кто-то.

– Липа, я думаю? – Джеймс поворачивается к Полетт.

– Да, это липа, – подтверждает она. – Она посажена знаменитым герцогом Савойским.

– Герцогом Савойским, – повторяет Джеймс. – Вся эта деревня просто полнится историей. Люблю я это место.

Кто-то вышел из-за стола и, подойдя к дереву, читает табличку.

– Тысяча четыреста тридцать восьмой! – кричит этот педант, коротышка средних лет, тыча в табличку.

Он крайне предусмотрительно одет в водоотталкивающий костюм, который сильно шуршит при движении, и прогулочные туфли с пористыми ремешками.

– Так что получается меньше шести сотен лет, – заявляет он, занимая свое место, рядом со своей не менее предусмотрительной женой.

– Ну, сущий саженец, – произносит Джеймс, под смех остальных.

Приносят напитки.

– Однако, – не унимается тип, – я не могу поверить, что это дерево – одно из старейших во Франции. Меньше шести сотен лет?

Джеймс решает игнорировать его. Он помогает официантке расставлять напитки.

– Есть же оливковое дерево, – разъясняет педант остальным, – которому, вроде бы, две *тысячи* лет...

Они пенсионеры, этот педант и его жена. Джеймс догадывается, что они могут подумывать перебраться сюда насовсем. Продать свою квартирку в Стоук-Ньюингтоне и получить взамен пентхаус в «Les Chalets du Midi Apartments». Они говорят на французском так же, как Дьюти-Фри –

Джеймс слышал, как миссис Педант осведомилась насчет сортира – не столько с английским акцентом, как именно *по-английски*. Они говорят на французском *по-английски*. Как и Дьюти-Фри, в манере старой школы.

Джеймс передает педанту светлый альпийский лагерь.

– Merci, – говорит педант, – monsieur^[53].

– Где еще вы смотрели квартиры? – интересуется Джеймс.

– О, повсюду, правда, – отвечает мужчина, отхлебнув пива и навесив себе пенные усы. – Мы просто как бы разъезжаем по окрестностям. Ну, понимаете.

К Джеймсу обращается Арно (француз, живущий в Лондоне и приехавший сюда со своим партнером, Маркусом):

– А что вы нам скажете о горных лыжах?

– Они здесь великолепны, – говорит Джеймс.

– Вы катались? – спрашивает Арно.

После мимолетной заминки Джеймс отвечает:

– Лично я не катался, нет. В этой области у нас эксперт Полетт. Она вам все об этом расскажет. То есть я не стану вас заверять, будто это второй Вербье^[54] или что-то такое. Но здесь достаточно серьезное место. То есть, если брать весь э... Массив. Это ведь около двухсот пятидесяти километров лыжных трасс. Один билет на все. И потом Флен, там высота доходит до... двух восьмисот, двух девятисот?

Полетт говорит:

– Там две тысячи пятьсот. Плюс-минус.

– Хорошо, – говорит Джеймс примирительно.

Она тем временем отвечает на чей-то вопрос:

– Нет, снег тут всегда. Горные лыжи здесь чудесные.

И продолжает говорить о горных лыжах еще несколько минут.

Джеймс смотрит на нее – как взлетают ее брови над оправой солнечных очков, когда она старается проявлять воодушевление. Честно говоря, она немного высокопарна. Сейчас она рассказывает анекдот – что-то про лыжи, – и у нее не очень получается. Он отметил это еще за обедом. Но почему-то его трогает, как она убивает анекдоты. Слишком медленно рассказывает или что-то упускает. Просто ей не хватает беззаботности. Во всяком случае, для таких мероприятий.

И сейчас она теряет внимание публики. Кто-то по доброте душевной продолжает слушать ее с натянутой улыбкой. А кто-то откровенно игнорирует ее. Она пытается рассказывать быстрее, но это только сильнее все портит.

И вот она уже смеется сама, хотя больше никто даже не улыбается.

Вот же черт – она что-то пропустила, какую-то важную деталь, и рассказывает все по новой.

Джеймс поднимает взгляд к ветвям старой липы, в кроне которой блестит солнце.

И наконец, она добирается до конца анекдота. Анекдот окончен.

Люди не сразу это понимают, и раздается несколько сдержанных смешков.

А миссис Педант, снова занявшая свое место, хочет молока к чаю.

Полетт уходит за молоком – Джеймс в благодарность положил на секунду ладонь ей на руку, – и он начинает рассказывать о том, какие замечательные здесь места, развлекает публику, держась очаровательно и непринужденно в своей сиреновой рубашке и солнечных очках:

Во всяком случае, так ему кажется.

Он оплачивает напитки. А затем отводит всех в магазин сыров и помогает с выбором. Один или два человека решаются на покупку, избегая наиболее пахучих сортов.

На выходе из магазина он обещает:

– Мы еще вернемся сюда, если кто-то захочет купить что-то к ужину. Я знаю, некоторые проживают здесь, и мы с радостью покажем вам кое-какие чудесные местечки в деревне. Почему бы нам не встретиться здесь, на главной площади, около семи, если кто-то захочет?

Он, как всегда, играет на публику.

А затем, когда игра окончена и публика расходится по извилистым улочкам деревни, наступает знакомая эйфория, прилив энергии.

Они стоят у витрины fromagerie^[55].

Джеймс спрашивает:

– Выпьем?

Они снова сидят на террасе бара «Самоен».

– Думаю, все прошло хорошо, – произносит он. – Что скажете?

– Очень.

– Полагаю, здесь будет как минимум одна продажа, на этом участке, – говорит он.

Она спрашивает, кого он имеет в виду.

– Арно и Маркуса, – отвечает он. – Они вполне могут клюнуть. Кстати, спасибо, что выручили меня с лыжной темой.

– Всегда пожалуйста, – говорит Полетт.

Джеймс кивает с преувеличенной признательностью, вызывая ее смех.

– Вот ведь черт! Он застал меня врасплох, когда спросил, катался ли я

на лыжах.

– А как насчет Ноттбаров? – спрашивает она.

Ноттбары – это господин и госпожа Педанты.

– Они? – Джеймс делает кислую мину. – Нет. Не думаю. Я не уверен насчет степени их серьезности. Я бы на них не ставил.

И они принимаются перебивать косточки Ноттбарам – в какой-то момент Джеймс встает и подбегает к древней липе, пародируя господина Ноттбара, и тычет пальцем в табличку.

Подходя обратно к столику, за которым смеется Полетт, приложив чуть согнутый палец к губам, он решает, что спиртное слегка ударило ему в голову. Слегка вспотев, он усаживается на место и смотрит на часы.

– Еще по одной? – предлагает он.

Она кивает, и он делает знак официанту.

Семь часов. Никто не появился. Они двадцать минут ждут в ранних сумерках. Затем Джеймс говорит:

– Что ж... Похоже, разжиться сыром к ужину желающих нет. А вы не хотите купить что-нибудь? Или вам пора отчаливать?

Они заканчивают вечер в ресторане на одной из узких улочек, ответвляющихся от главной площади, между высокими каменными домами.

Только после ресторана, после еды, савойского вина и дегустации скандинавской тминной водки местного разлива он догадывается спросить:

– Вы ведь не думаете сесть за руль?

– Нет, – отвечает она. – Конечно, нет.

– Так что вы думаете делать?

Они стоят на темной улице.

– Я не знаю.

Вопрос остается открытым, пока они идут по направлению к его отелю. На плечах у нее его куртка – резко похолодало с того времени, когда они принялись за еду. В их деловые отношения закрался флирт.

К примеру, она разрешила ему потрогать ее шрам на губе. (От щепки из-под мопеда, пояснила она, ей тогда было четырнадцать.) Этот шрам в какой-то момент, когда они сидели на террасе бара «Самое», начал привлекать его внимание. Он то и дело смотрел на него, как только они принялись за еду.

Он слегка коснулся его кончиком пальца и спросил, как бы про себя, каково было бы поцеловать его. И хотя она не сказала ему: «Почему бы не попробовать?» – у него возникло ощущение, что она была бы не против.

Она лишь взглянула ему в глаза своими карими глазами, и он отметил, какие они у нее большие и искренние, и предложил перейти к *дижестиву*.

Все это время они общались на французском. После того как были выпиты первые пол-литра «Мондёз», он настоял, чтобы они перешли на французский. И тогда он вынужден был объяснить, почему он так хорошо говорит по-французски – его отец жил во Франции, когда сам он ходил в школу, и все школьные каникулы он тоже проводил во Франции, в Париже или на юге. И она спросила его – с игривым блеском серьезных глаз, – не было ли у него гомосексуального опыта в пансионе в Англии, и он ответил, что не было. Все эти разговоры, сказал он ей, о том, что в английских пансионах это обычное дело, не более чем миф. И тогда она рассказала ему весьма пикантную историю о своем сексуальном опыте с одной женщиной, отчего у него пересохло во рту, и он подлил им еще вина.

Чего она не спросила у него, так это, был ли он женат или состоял ли в серьезных отношениях, и он также избегал этой темы.

Она, как выяснилось, была матерью-одиночкой. Отец ее сына проживал в Норвегии.

И вот после второй порции скандинавской тминной водки и одного десерта на двоих они оказались на улице, под звездами, на которые они смотрели, запрокинув головы к небу.

Ему пришло на ум, что этот эпизод со шрамом – она ведь сама предложила ему потрогать его, – был приглашением к поцелую. (Она тем временем стояла рядом, подняв лицо к небу, и слегка дрожала.) И он, ощущая у себя в крови вино с водкой, уже вознамерился поцеловать ее.

Секунду он чувствовал, что сейчас поцелует ее. А потом понял: нет.

Он окинул взглядом темную улицу. Было очень тихо. Она же по-прежнему смотрела в небо.

И тогда он спросил:

– Вы ведь не думаете сесть за руль?

И едва сказав, он понял, что это звучит как приглашение – так, словно он очень хочет, чтобы она осталась на ночь в деревне.

Она опустила лицо и посмотрела прямо на него хмельным взглядом:

– Нет. Конечно, нет.

– Так что вы думаете делать?

– Я не знаю.

– Вы не знаете?

Она покачала головой.

Еще один момент: вино и водка поют в его крови.

Ничего больше не говоря, они направились к его отелю.

Так что вы думаете делать?

Этот вопрос касался его не меньше, чем ее. В любом случае он почти не сомневался, что было у нее на уме.

Однако в резком свете холла эта мысль вдруг показалась ему глупой. Какой-то неудобоваримой. Возникла некоторая заминка.

– Полагаю, нужно снять вам номер, – услышал он свой голос.

И она после секундного колебания кивнула.

И вот он стоит у конторки и просит для нее номер.

А сейчас он у себя, сидит на кровати.

И снимает носки.

Он устал, это правда.

И все же...

Могло быть хорошо.

Он снимает носки и испытывает печаль от упущенной возможности.

Просто ему не хотелось прикладывать для этого какие-либо усилия. Именно перспектива *усилия*, пусть даже минимального усилия, делала всю ситуацию, когда они стояли в холле, привлекательной.

Вот его друг Фредди приложил бы необходимое усилие. Уж Фредди приложил бы. Фредди поведал ему с гордостью при их последней встрече о том, как играл на пианино в джазовом квинтете в Уэльсе, и после выступления его пригласила выпить к себе за столик одна пара, мужчина и женщина. Женщина была вполне симпатичной, сказал Фредди, так что он принял приглашение, и они хорошо выпили и закинулись амфетамином, после чего его зазвали в гости, где вскоре стало ясно, зачем он был им нужен. Фредди должен был отыметь эту телку, пока ее муж смотрел на них и дрочил. Спасибо амфетамину, это длилось целую вечность, сказал Фредди. Ушел он от них только днем.

В этой истории было что-то жалкое, думает Джеймс, стягивая носки.

Фредди было сорок пять.

Пробавлялся он тем, что играл на пианино на свадьбах и на вечеринках в барах. И спал на чужих диванах.

– А тебя это не беспокоит? – спрашивал его Джеймс.

– Что?

– Твоя жизнь.

– А что с ней не так?

Джеймсу пришлось задуматься, чтобы сформулировать вопрос точнее.

В итоге он сказал:

– Да, ладно. Ерунда.

Фредди был не столь счастлив и не столь доволен своим положением, как пытался показать. Дело не в том, что он ощущал себя как та стрекоза из басни, которую ждала суровая зима. (Хотя так и было.) Все обстояло проще. Он хотел, чтобы на него равнялись. Ему нужен был статус. В двадцать пять он добивался статуса безумными сексуальными подвигами – они обеспечили ему зависть ровесников. Теперь его слава поблекла. Ему еще случалось пробуждать зависть у ровесников, несомненно. Тем не менее им уже не хотелось *быть* им. У него не было денег, а женщины, которых он цеплял теперь, были по большей части не такими уж хорошенькими.

Джеймс смотрит на себя в зеркале, пока перемещает во рту жужжащую электрическую зубную щетку.

На лице у него мертвящая вялость. Сплошное безразличие. Он смотрит на свое лицо так, словно оно чужое. И ощущает определенную дистанцию между собой и этим лицом в зеркале. Неновый свет – ромбовидная лампа на стене – не обнадеживает его. Он слегка пьян. Возможно, чуть больше, чем слегка. Это лишнее. Он выключает зубную щетку, закрывает ее на секунду колпачком. И думает о том, что скажет Нойеру утром – что он должен был быть здесь, а не валандаться со своими помощниками.

Это не шутка.

Жизнь – это вам не гребаная шутка.

Глава 3

Седрик Нойер моложе Джеймса на несколько лет. Однако на нем словно лежит груз возраста, что проявляется в одутловатости лица, бульдожьей нижней челюсти, намеке на сибаритский второй подбородок, нависающий над тщательно выбритым горлом. На нем костюм от «Барбур». Он стоит перед Les Chalets du Midi Apartments и курит сигарету, рядом припаркован «мицубиси-паджеро», забрызганный грязью.

Он владеет, насколько известно Джеймсу, большей частью здешних земель. Его отец был фермером – и фермерствует до сих пор в определенном смысле. У него есть маленькое стадо, и семейный доход разбухает от субсидий на сельское хозяйство. Но ведь сейчас земля – это главное. Поля в Самоене и Марильоне, а также в их окрестностях, и, со стороны матери Седрика, дальше по долине, в Сиксте.

Многоквартирные дома – первый самостоятельный проект Седрика по освоению земель. В течение многих лет, еще с восьмидесятых, его семья продавала поля застройщикам – гектар здесь, два гектара там – по ценам, устойчиво шедшим вверх. (Последний участок земли, с разрешением на планирование, ушел за миллион с лишним евро.) Именно Седрик при поддержке своей сестры Мари-Франс стоял за идею самостоятельного освоения земель – продвижения вверх по «цепочке наращивания стоимости», как он это называл. Эту фразу он усвоил в *École Supérieure de Commerce*^[56] в Лионе.

– Я хочу не просто продавать молоко, – заявил он отцу, пытаясь высказать свои амбиции в терминах, понятных старику. – Я хочу делать сыр, много сыра.

Он устремился к Джеймсу, чтобы пожать ему руку, и одаривает его покровительственной улыбкой – он относится к нему как к подчиненному, техническому специалисту, вроде сантехника или слесаря.

Своими апартаментами он очень гордится, Джеймс это сразу видит.

Так что он держится тактично, когда они принимаются за осмотр, начиная с демонстрационной квартиры.

Полетт тоже с ними. Он ощущает ее молчаливое присутствие. Она покинула отель ранним утром и отправилась домой в Клуз. Когда она появилась снова в девять утра, вид у нее был до крайности уставший.

– Очень мило, – говорит Джеймс Седрику о кухне в демонстрационной квартире.

Тон его сдержан и вежлив, но без энтузиазма. Седрик, бродя по комнатам в своем «Барбуре» и вельветовых брюках горчичного цвета, как будто не замечает этого.

Они стоят на балконе, восхищаясь открывающимся видом.

– Magnifique^[57], – произносит Джеймс с чувством.

Они говорят по-французски.

Этим утром в воздухе чувствуется дыхание осени. Ранний туман рассеялся. Солнце снова греет. Сейчас. Сделай это сейчас. Скажи что-нибудь.

– А есть у вас другие планы по застройке? – спрашивает Джеймс, продолжая смотреть на величественную гору, нависающую над деревней.

– Конечно, – отвечает Седрик тоном, дающим понять: он не настроен обсуждать это.

На его гладком лбу выступили капли пота. Он закуривает американскую сигарету.

– Я знаю, вы были не вполне довольны сервисом, – говорит Джеймс.

Седрик пожимает плечами, не поворачивая головы.

– Если вы продадите квартиры, будет замечательно, – говорит он.

– О, мы их продадим, – заверяет его Джеймс. – Мы их продадим. С этим проблемы не будет.

– Тогда порядок.

– Знаете, почему я этого коснулся? – говорит Джеймс. – Мы фокусировались в основном на более традиционных областях. То есть фирма в целом. И поэтому, возможно, мы оказались не в состоянии уделить вам то время и внимание, которого вы заслуживаете. Теперь же мы планируем нацелиться на новые области.

Повисает короткая пауза. Затем Джеймс продолжает:

– Я планирую кое-что начать.

Вот оно.

Он сказал это.

Это было сказано.

Я планирую кое-что начать.

Седрик вообще слушал?

Джеймс говорит:

– В ряде новых областей имеется большой потенциал. Я уверен, вы со мной согласитесь.

– Конечно. – Седрик не смотрит на него.

– Так что я хочу нацелиться на эту область, – говорит Джеймс. – Сделай так, чтобы здесь что-то состоялось. Думаю, вместе мы сможем

сделать так, чтобы здесь что-то состоялось. – Он улыбается. – Я хотел бы поговорить с вами, – продолжает он, – о том, какие еще у вас планы. Может, подключиться на ранней стадии. К примеру, эти квартиры, они отличные. Они очень милые. Но должен все же сказать, что, по-моему, мы сумеем в будущем захватить верхний сегмент рынка с любыми планами застройки, какие у вас есть. Это великолепная долина. Здесь ощущается такой традиционный дух, которого нет больше нигде во Французских Альпах, насколько я знаю. В плане культурного наследия. Плюс лыжная инфраструктура, которая все время развивается. Можно зарабатывать больше на топовых проектах. Мы могли бы сделать все на элитном уровне. Понимаете, о чем я?

Этим утром он почувствовал себя смертным, проснувшись с головной болью от выпитого вина и водки, все его кости словно стонали. Сквозь занавески просачивался молочно-бледный свет. Он едва смог разглядеть время на часах.

Время теперь от него ускользает.

Он уже не молод.

Я уже не молод, подумал он, сидя на кровати, сложив руки на коленях и тупо глядя в пол. *Когда же это произошло?*

С некоторых пор, год или два назад, его стало одолевать гнетущее чувство, что он в состоянии увидеть свою будущую жизнь до самого конца, что ему уже известно все, что с ним произойдет, что теперь все будет предельно предсказуемо. Вот что он имел в виду, когда говорил с Полетт о судьбе.

И сколько еще возможностей, после этой, останется у него, чтобы убежать от этого?

Немного.

Может, ни одной.

Если вообще есть возможность. В чем он сомневался.

Седрик не проявляет интереса к его предложению. Щурясь на солнце, поднося сигарету к своему маленькому рту, он, похоже, больше думает о немногочисленных машинах на дороге, покидающих деревню в направлении Морильона, чем о словах Джеймса. А именно – о перспективе в будущем увеличить инвестиции на начальном этапе, чтобы максимально повысить потенциал недвижимости.

– В этом больше риска, – говорит Джеймс. – Но если вы хотите частично снизить его, мы можем найти других инвесторов, чтобы задействовать их вместе с вами.

Седрик что-то ворчит, он явно не в восторге от этой идеи.

– В любом случае, – говорит Джеймс, стараясь не замечать собственного разочарования, – давайте поговорим о ваших планах и будем исходить из этого. – Он вручает Седрику визитку, из недавно напечатанных. – Мне хотелось бы, чтобы вы позвонили мне.

После осмотра апартаментов Джеймс ведет Седрика в пафосное модное кафе в деревне и заказывает ему кофе. И смотрит, как тот поедает выпечку – *tarte aux fraises*^[58] – отделяя кусочки вилок.

Полетт сидит с ними. Она выпила чашку эспresso и набирает что-то в своем телефоне.

Седрик *все же* проявляет некоторый интерес к наживке Джеймса – по крайней мере, предлагает проехаться с ним по долине и показать несколько площадок, которые он планирует осваивать.

И Джеймс начинает раздумывать, пока Седрик соскребает вилок *crème anglaise*^[59] с тарелки, где бы ему достать денег – скажем, парутройку миллионов, – чтобы вложить в недвижимость во Французских Альпах. У него есть кое-какие телефоны. Людей, знакомых Дьюти-Фри. Ведь все на самом деле определяют связи. Что бы там ни говорили. Сводить вместе деньги, возможности и снимать проценты. Что-то для себя.

Они едут через долину примерно час. И Седрик, владеющий чуть ли не половиной всей этой земли, то и дело показывает поля, которые принадлежат ему.

На одном из них они делают остановку. Это склон прямо над деревней, где домов меньше и начинаются луга. Седрик говорит, что эта территория принадлежит его семье уже восемьдесят лет – сюда выводили стада сразу после зимовки, пока на пастбищах повыше еще лежал снег. *Le pré du printemps*^[60], так они называют его. Похоже, эту землю он считает самой многообещающей в плане освоения.

– Так что вы, собственно, планируете? – спрашивает его Джеймс.

– Что-то вроде прежнего, – говорит Седрик, имея в виду *Chalets du Midi Apartments*.

Нет, нет. Забудь об этом.

Джеймс думает о нескольких шале малых и средних размеров. Не больше восьми, расположение хорошее. И многоквартирные дома, где-нибудь посередине. Возможно, десять. Парковка в подвале. Объекты досуга и отдыха. Все по высшему классу. Масса шифера, цинка.

Он прикидывает расходы, стоя по колени в пожухлой траве.

Седрик курит.

– Что насчет планировочных норм? – спрашивает его Джеймс. – Вы

знаете кого-то, кто бы мог нам с этим помочь?

Выясняется, что тетка Седрика работает помощницей мэра. Его многочисленное семейство расползлось в местной администрации точно плющ.

– Это превосходная площадка, – говорит Джеймс.

Он смотрит вниз на черепичные крыши деревенских домов: пестрые, яркие, разбросанные в беспорядке. Даже в это время, после полудня, деревня кажется пугающе тихой. Мертвый сезон. Осенью здесь ничего не происходит. Орлы с утра до вечера чертят круги над тенистыми лощинами.

И далеко-далеко поднимаются склоны, поросшие лесом, в тени.

В тиши.

Глава 4

Воскресное утро. Они прогуливаются по Транмер-роуд, мимо домов с террасами, окна которых выдаются вперед точно щеголеватые брюшки. Рядом припаркованы здоровенные черные «ауди», «БМВ»-универсалы, джипы «фольксваген». Пространство между домами и тротуаром отделено низкими кирпичными заборами, а местами – живой изгородью. Ворота, как правило, металлические, ниже пояса. А дальше – дорожка из плитки к узкой входной двери. Джеймс отмечает, что здесь модно помещать номер дома на стекле окошка над дверью, словно темные прозрачные островки в молочной глазури.

Его дом тоже снабжен чем-то подобным. Хотя и поскромнее – цифры просто нарисованы на стекле по трафарету, а не проступают на глазури негативом. Номер уже был там, когда они въехали в дом. Миранда в то время была беременна. В доме царил беспорядок. Старинный газовый камин в гостиной. Разросшийся сад. Слой пыли на всех поверхностях в доме. Раньше здесь жили чьи-то родители, потом они умерли, и дом продали. Он стоил более чем полмиллиона. Поразительно, как мало тебе доставалось за такие деньги – и так повсюду в этой продуваемой ветрами, низинной части Лондона, совсем незнакомой ему, со всеми ее тюрьмами и спортивными площадками.

И огромным пустым небом.

Они заплатили за дом наличными. Миранда заплатила. Открытые пространства, покрашенные в бледные цвета. По саду проложены дорожки, густой дерн, желтые нарциссы. Повсюду галогенные светильники с отдельными выключателями. Все это, надо признать, довольно миниатюрное. Гостиная – улицу скрывают льняные шторы – лишь два шага от стены до стены. За кухонным столом поместится не больше четырех человек. Детская комната такая маленькая, что окно занимает почти всю стену.

А в саду дрожат нарциссы, облака в небе собираются и расходятся.

И это было пять лет назад.

Время идет.

– Томми! – кричит Джеймс, когда его сын слишком забегает вперед. – Том!

Они в конце Транмер-роуд, где она сходится с Магдален-роуд, там стоит начальная школа, а дальше Уэндсвортское кладбище, протянувшееся

вдоль железной дороги на Клэпем.

Том ждет его, Джеймс берет его за руку, и они переходят дорогу.

Они приходят на станцию – это ежеутренний маршрут Джеймса. Названия мест в Суррее, которыми испещрено табло, знакомы ему не хуже собственных снов. Они теперь часть его, эти названия: Нью-Молден, Сурбитон, Эшер...

Вернувшись домой вечером в пятницу, он увидел, что дети спят, а жена смотрит телевизор, какую-то телевикторину. Смех каждые несколько секунд. Он присел рядом с ней на диван, оставив вещи в узком холле. Снял туфли.

Потом они лежат в постели.

В воскресенье, однако, он был не в себе.

На прошлой неделе, когда дул сильный ветер, довольно большой кусок трубы упал с крыши и проломил чей-то новый джип «ниссан», припаркованный неподалеку. Кошмар страховщика. Всю неделю Миранда общалась по телефону со страховой компанией, без особого успеха. Даже просто починить трубу было уже проблематично. Он провел большую часть воскресенья, сгорбившись под склоном крыши, вглядываясь в мелкий шрифт на экране планшета и кипя от бешенства. Том хандрил, портил вещи. Алиса вопила где-то внизу.

Поезд проходит сквозь свет. Мимо земельных участков. Мимо стен, увитых плющом. На секунду мелькает какой-то водоспуск, сияя точно ртуть под темными деревьями. Множество путей идут параллельно друг другу, когда они приближаются к Уимблдону.

Он держит Тома за руку, сходя с ним на платформу. Люди повсюду. Местные поезда стоят в ожидании в полосах света, пока над головой плывут облака.

Сегодня на обед приезжают родители Миранды, из Ньюбери. Миранда на кухне, готовит. Вероятно, какое-нибудь итальянское блюдо из ягненка.

Том говорит:

– Почему деревья такие высокие?

Они в автобусе номер 93, по пути от Уимблдонского стадиона к палате общин, вверх по Уимблдон-Хилл-роуд.

Джеймс раздумывает над вопросом.

Сегодня его очередь гулять с Томом с утра, чтобы Миранда могла приготовить обед, пока Элис будет висеть в своей подвеске, призванной уберечь ее от неприятностей.

Он говорит:

– Полагаю, они пытаются подняться так высоко к солнцу, как только возможно.

– Зачем?

Другие пассажиры – их совсем немного – сдержанно улыбаются им. Они на верхнем ярусе, в передней части.

– Ну, – объясняет Джеймс, – солнечный свет дает им рост. Он нужен им для роста.

Том смотрит с интересом на платаны вдоль дороги, они тяжело нависают над тротуаром. Лондонское воскресенье, людской гомон лишь слегка приглушен. Все целенаправленно шагают вниз по улице. Джеймс видит мужчину и женщину, идущих вверх по холму, туда же, куда едет автобус, – высокая женщина с копной темных волос что-то объясняет на руках.

– Он нужен им для роста, – повторяет Том, в то время как солнечный зайчик играет в листве, на которую он смотрит.

– Именно так, – говорит Джеймс с отцовской гордостью.

Здесь стоят симпатичные дома из красного кирпича.

И новые микрорайоны с многоквартирными домами.

Нойер. Он всегда в его мыслях.

Затем «деревня» Уимблдон. Главная улица с шикарными бутиками – люди энергично что-то покупают – и остатками зеленых зон. Военный мемориал.

Родители Миранды должны быть в пути. Они довольно простые люди, родители Миранды. Ходят на ипподром в Ньюбери. Однажды пошли вчетвером. День «Хеннесси». Черт, кажется, это было так давно. Тот вечер кажется чем-то из другой жизни.

Время идет.

Воздух над пустырем душный и влажный. Кругом люди – сейчас еще лето, к тому же выходные. Папоротники трещат под натиском детей, продирающихся через их зеленые заросли. Деревья простирают ветви, покрытые листвой, над сухими дорожками. Обильный дождь, прошедший ночью, увлажнил сухую почву, а солнце сушит ее с самого рассвета. Солнце печет, пробиваясь сквозь дыры в кучевых облаках. Пруды отсвечивают слепяще-белым.

Джеймс идет за сыном по тихому пустырю, все дальше от людей, играющих в футбол, и собак, носящихся за палками.

Он раздумывает с самой пятницы, в каждую свободную минуту, о Нойере и земельном участке, который тот показывал ему. Нужно составить

план, чтобы представить Нойеру что-то, явно превосходящее его собственные планы по сооружению укрупненной версии Les Chalets du Midi, заставленной дерьмовой мебелью. Восемь шале – вот о чем думал Джеймс, – и десять многоквартирных домов.

Они сошли с изъезженной дорожки с ее длинными коричневыми лужами и углубляются в лес с мощными деревьями. Повсюду папоротники, некоторые закручиваются на верхушках. Не отставая от сына, Джеймс пробирается через влажный кустарник, борясь с одышкой.

– Том, – зовет он, – Том! Эй! Подожди меня.

Восемь шале, десять многоквартирных домов.

Пять миллионов на все? Больше? Понадобится прокладывать коммуникации. Дороги. Сейчас это только тропа. Да, вероятно, больше пяти миллионов.

У Нойера столько не будет. Возможно, он вложит один или два миллиона.

Так что придется достать еще четыре-пять миллионов. И оставить Нойеру где-то – плюс землю – сорок процентов. Он будет рад? Получит почти половину дохода. Практически удвоит свои деньги. Должен быть рад: на Chalets du Midi он денег точно не удвоит.

Джеймс Тома из виду потерял.

– Том! – кричит он.

С завтрашнего дня, с понедельника, ему придется серьезно подумать, кому он может обратиться за деньгами. Он уже об этом думает. У него есть несколько старых знакомых. Для начала. Тристан Элфинстоун, к примеру. (Он еще не сменил номер? Скоро узнаем.) Джеймс прихватил несколько визиток тем вечером в «Геркине» с Дьюти-Фри. Пора отыскать их. Дело в том, что сначала ему, по-видимому, нужно будет уйти от Эшера, если он обратится к людям Дьюти-Фри. Или нет? А то непорядочно выйдет.

Или хуже – судебный иск от Дьюти-Фри его не слишком обрадует.

Уйти от Эшера.

Это будет главный шаг.

Столько лишних расходов в эти дни, вот в чем дело. Ипотека. Школьные взносы. Зарплата Лаймы – няни-литовки.

Он еще не говорил Миранде о Нойере. Ей нравится, что Джеймс работает на Эшера. Ему хорошо платят. Работа надежная. Миранда думает, ему тоже нравятся все эти прогулки в горы. Раз или два, в прежние годы, она ездила с ним. Каталась на лыжах в выходные. До детей, естественно. Эту работу он получил почти одновременно с их знакомством, тем же летом.

Уйти от Эшера. Он борется с этой мыслью. Сначала надо все утрясти с Нойером. Отправить ему план – посмотреть, что он скажет.

И внезапно это кажется ему чем-то чисто умозрительным, иллюзорным. Пустой болтовней.

Он опять потерял Тома.

Тяжело дыша, Джеймс забирается на толстый ствол упавшего дерева, наполовину скрытый кустами. Он видит Тома в кустах, сын на что-то смотрит. Джеймс понимает, что пренебрегает мальчиком, мало общается с ним, он слишком поглощен своими делами. Своими планами.

Это его жизнь – все, что происходит с ним.

– Томми, – говорит он.

Лицо мальчика бледное, когда он смотрит вверх на отца.

У него ясные голубые глаза матери, не отцовские синие.

День безветренный.

Это не шутка.

Жизнь не шутка.

Часть 7

Глава 1

Перл Данди, мать Мюррея, вечером в субботу умерла наконец. Похороны прошли в следующую пятницу.

Сам Мюррей опоздал. Все сидящие на скамьях повернулись в его сторону, когда он открыл тяжелую дверь часовни при крематории. В часовне было блекло и бледно. На улице снова пошел дождь. Священник, произносивший речь – он говорил что-то о «долгой, полной жизни», – подождал, пока Мюррей займет место.

Потом, когда они стоят снаружи, Мюррей объясняет своей сестре, Бекки, что его рейс из Лондона задержали.

– Ну я же тебе говорила, – произносит она с нажимом, – лучше бы ты прилетел вчера вечером.

На них обоих темные, похожие на офисные, костюмы. У Мюррея темный галстук. Он предлагает сестре сигарету, и они принимают соболезнования от какой-то старой леди – подруги их матери, так он думает, которую Бекки, кажется, знает. Эта старушка в пурпурной шляпе говорит им, пока он закуривает, что его мать была «чудесной женщиной».

– О, да, спасибо, – кивает он.

И видит брата, Алека, появившегося в этот последний день сентября, когда опадают листья и блестит от дождя щебенка под ногами. Он еще не говорил с Алеком.

Он много лет не говорил с Алеком.

Кажется, у него нет костюма, у Алека, – поверх белой синтетической рубашки с черным синтетическим же галстуком накинута темно-синяя дутая куртка. Его почти не узнать – так сильно он облысел с тех пор, как Мюррей видел его в прошлый раз.

– Как наш молодой Алек? – спрашивает он у Бетти. – Он ведь набрал пару фунтов, да?

Он говорит это с улыбкой, стараясь казаться непринужденным.

– Почему ты сам его не спросишь? – говорит она.

Мюррей продолжает улыбаться, отходя от нее, чтобы поговорить с кем-то еще.

Алек тоже с кем-то разговаривает, стоя в дверях часовни в своей дutoй куртке, так что людям, желающим выйти, приходится ждать. Никто как будто не хочет попросить его подвинуться, отойти в сторону, чтобы пропустить их. Это ведь похороны его матери – вероятно, в этом дело.

Мюррей затягивается сигаретой и поворачивается к дороге. Подъезжают такси, чтобы отвезти их в дом Бекки на поминки.

Он садится в такси с какими-то стариками.

Один из них, с гнилым дыханием, кажется, знает его.

– Ну, как поживаете, Мюррей? – спрашивает он, крепко сжимая пластиковую ручку трости.

– Я в порядке, отлично, – отвечает Мюррей. – Ну, сами понимаете, печальный день и все такое.

– Это да, – соглашается старик. – Перл была милым созданием.

Мюррей двигает ногами в черных кожаных туфлях, и взгляд его в тревоге скользит по проплывающим мимо улицам, по серым фасадам домов. Мазеруэлл. Давно он не был здесь. Мазеруэлл^[61]? Вообще-то, нет. Она скончалась. Старик спрашивает его о чем-то.

– Нет, – спохватившись, отвечает он, – я теперь не живу в Королевстве. Старик опять задает вопрос.

– В Хорватии, – отвечает он. – Это была часть Югославии.

В маленьком доме сестры, несмотря на присутствие всех этих людей, он не может избежать встречи с Алеком.

Он на кухне, открывает очередное пиво, когда там неожиданно появляется Алек – он ухаживает за гостями, следит, чтобы у всех было что выпить, передает тарелочки с арахисом.

– Привет, Мюррей, – говорит он.

– Алек. Привет...

– Все голосуешь за тори? – интересуется Алек.

Лицо у него неприятно полное, как у пожилого человека. Бросается в глаза большой блестящий лоб.

– За тори? – переспрашивает Мюррей и отхлебывает пиво. – Не-а, эти мудаки слишком ушли влево для меня.

Алек едва заметно улыбается.

– Ну, как ты сам-то? – спрашивает он довольно равнодушно.

– Я в порядке, – говорит Мюррей. – У меня все хорошо. – И добавляет, просто чтобы сказать что-то еще: – Ты до сих пор с профсоюзом?

– Я – да. А ты?

– Не совсем, – произносит Мюррей уклончиво. – Я ведь больше не живу в этой стране.

– Да, я слышал.

– Уже несколько лет.

– Типа, от налогов косишь, да?

Мюррей улыбается, ему нравится, как это звучит – нравится усмешка в голосе Алека при этих словах: «От налогов косишь». Он еще отхлебывает пива.

– Вроде того, – говорит он.

Он ночует в доме Бетти. В комнате, где жил ее сын. Тот уже оставил родительский дом, обитает теперь где-то в Австралии. (Как же его зовут?)

– Давай не будем пропадать, а? – говорит ему Бекки утром, ранним утром, когда они пьют чай на кухне и он ждет такси, чтобы поехать в аэропорт.

– Конечно, – отвечает он, стараясь не смотреть на нее. А посмотрев, думает: *Черт, просто загнанная кляча.*

– Ты уверен, что совсем не хочешь завтракать? – спрашивает она.

– Нет. – *Старше меня меньше чем на два года – и посмотрите на нее. Настоящая старушка.*

– Ты устал, – замечает она.

– Правда?

– Наверное, плохо спал, – говорит она, – в комнате Юэна.

Юэн – вот как его зовут.

– Спал нормально, – говорит Мюррей.

А сам думает о безрадостных ночных часах, когда он ворочался в постели в трусах и майке, под одеялом с принтом человека-паука. Ему было слишком жарко. По окну стучал дождь, словно кто-то бубнил неприятную правду. И еще то фото. В рамке в холле второго этажа. На фото был он, Мюррей, примерно десятилетний, с Максом, немецкой овчаркой, которую так любил. Увидев это фото прошлым вечером – себя с собакой, – он почему-то расстроился.

– Я спал нормально, – повторяет он.

– Везунчик ты, – говорит Бекки. – А я – нет.

Чай с молоком. Очень много молока. Жижа, даже не теплая, отвратительная.

– Я никак не могла отвлечься от мыслей, – признается она.

Мюррей отставляет кружку и пытается проглотить то, что отпил. Он снова в костюме, галстук в кармане.

Бекки в пижаме.

– Просто не могла отвлечься, – повторяет она.

Вчера, когда все ушли, она описала ему последние дни матери. И не проронила ни слезинки, рассказывая ему больничные истории – о встречах с врачами, о предрассветных бдениях, о безнадежных рассветах. Бекки рассказывала об этом сухо, так, наверное, она говорит на работе в

городской администрации. И он слушал без эмоций, ничего не чувствуя.

Теперь же ему кажется, она готова сломаться.

Губы у нее дрожат.

Мюррей невольно отводит взгляд.

Он смотрит в окно, через стекло с грибком по углам, на тусклое утро.

И вот – Бекки плачет, прижимая салфетку к лицу.

Где же, черт, думает Мюррей, глядя на фальшивый «Ролекс», болтающийся на его бледном запястье, это ебучее такси?

Сутки спустя, воскресным утром, он едет в поезде в аэропорт Станстед, чувствуя себя намного хуже.

Рейни подключился. Однажды они работали вместе на телефонных продажах, он и Пол Рейни, – их объединяли годы в этом бизнесе. Сидение на телефонах под лампами дневного света. Большую часть времени с ними работал и Свин, и субботним вечером он тоже с ними был. Они начали во второй половине дня в «Пендерелс оук». А закончили в квартире Свина в Уайтчепеле примерно через двенадцать часов. Мюррей поспал пару часов на полу гостиной Свина, на диванных подушках, в костюме. Проснулся он в шесть с невыносимой головной болью и побрел одиноко на Ливерпуль-стрит, на поезд до Станстеда.

Рейни стал жиртрестом. Его это шокировало. Он и Свин все еще работали в издательстве «Парк-лейн», в офисе неподалеку от Кингзуэя. Обедали в «Пендерелс». Каждый раз одно и то же.

А когда они спросили Мюррея, чем *он*, на хрен, теперь занимается, тот сказал:

– Я просто не напрягаюсь. Наслаждаюсь жизнью.

– И где же это? – спросил Свин.

– На хорватской Ривьере, – ответил Мюррей. – Я работаю неполный день.

– *Неполный?* Это еще как?

– Значит, на полный не берут, – подколот его Рейни, ставя пустую стопку на стол, где их уже стояло немало, и поворачиваясь к бару.

Мюррей попробовал улыбнуться.

– Мне без конца поступают предложения, – сказал он тихо, словно из скромности.

– Полная хрень, – сказал Рейни.

И Мюррей почувствовал, что старый друг до сих пор не простил его за те давние дела с Эдди Джоу.

С тех пор они, конечно, опять работали вместе. Когда Джоу уволил

Мюррея, он сумел в итоге проложить себе путь к двери с бежевым стеклом издательства «Парк-лейн» и увидел, что Пол Рейни снова там работает – за тем же столом, как будто ничего не было, поднося ту же белую трубку к своему потному уху.

Мюррея тоже уволили оттуда. Он, казалось, потерял хватку, если она вообще была у него. Тогда-то он и решил изучить другие возможности. В каком-то смысле его вдохновил Свин, как печально известно, проживший два года в Таиланде, «наслаждаясь жизнью» на свои сбережения. И хотя у Мюррея сбережений не было, у него имелся домик в Чиме – бунгало в духе шестидесятых в районе под названием Тюдор-клоуз. Он приобрел его в славные дни около 1990 года. Двадцать лет спустя ипотека стала ничтожной. Так что был найден арендатор, и Мюррей отправился на поиски места, где бы он мог жить за счет этого скромного дохода.

И нашел хорватскую Ривьеру.

Его рейс на Загреб в десять тридцать утра.

Он сидит в зале ожидания, мучаясь от головной боли. За окном медленно движутся самолеты. Солнечный свет для него мучителен. Его подташнивает.

Он не сказал Рейни и Свину, зачем прилетел в Королевство, о похоронах. Он даже не упомянул об этом и сам не держал в голове таких мыслей, пока они перемещались из паба в паб, двигаясь к востоку от Холборна.

Теперь же, когда он глазеет с бодуна на самолеты, его удивляет воспоминание, воспоминание о материнской руке у него на лбу, вероятно, проверяющей температуру.

Солнце бросает тени на половину зала ожидания.

Ма, звучит тонкий, испуганный голос в его голове, его собственный голос.

Ма, где ты теперь?

И, наконец, сидя там, в зале ожидания, глядя на самолеты, движущиеся в слабом октябрьском свете, он чувствует слезы в глазах.

Глава 2

Вообще-то «хорватская Ривьера», побережье Адриатики, даже в своей наименее фешенебельной части оказалась слишком дорогой для Мюррея. И ему пришлось перебраться в глубь страны, подальше за холмы, в городок, лежащий на довольно засушливой равнине, окруженной пыльными виноградниками и полями подсолнухов и кукурузы. Когда-то здесь были побиты турки, примерно в пятнадцатом веке, и на главной площади городка возвышается монумент в честь этого события. Последнего примечательного события в истории городка. На одной из улиц, ведущих от площади, стояло молодежное общежитие, «Уморни путник» – где какое-то время после прибытия проживал Мюррей.

С тех пор прошло больше года.

Первым человеком, который встретился ему на лестнице в тот первый день, был Ханс-Питер, голландец, весьма давний обитатель общежития.

Очевидно Ханс-Питер, как сразу подумал Мюррей, был распоследним лохом.

Но он стал его единственным другом в те дни.

После возвращения Мюррея из Королевства они проводят вечер в пабе под названием «Джокер». Они сидят на улице, за одним из нескольких столиков под зонтиками с рекламой местной минералки, – и, хотя уже октябрь, сейчас жарко. На Мюррее белые шорты, достигающие ему до колен, открывающие его безволосые ноги с фиолетовыми венами, он в темных офисных носках и больших белых кроссовках. На его мужественном лице выступает пот.

– Шарко, – говорит Ханс-Питер.

Это в его духе – выдать такой очаровательный гамбит для затравки разговора.

Мюррей согласно хмыкает.

Ханс-Питер моложе Мюррея, вероятно, лет на десять – ему, должно быть, сорок с чем-то. Он невероятно высок и очень застенчив.

– Я шитаю, – говорит он, сделав быстрый, как бы вороватый глоток пива, – это все глобальное потепление.

Потеющий Мюррей усмехается:

– Что ты, на хрен, городишь?

– Глобальное потепление, – повторяет Ханс-Питер.

– Что – ты веришь в это?

Ханс-Питер кажется взволнованным, как если бы допустил элементарную ошибку. Он спрашивает:

– Ты в это не веришь?

– А то как же, мать твою, – отвечает Мюррей, вытирая краем белой футболки обильный пот с лица и поправляя очки на носу. – Не говори, что веришь в это.

– Ну... – Ханс-Питер смотрит вниз на свои шлепки. – Я не знаю. Уже октябрь.

Люди едят мороженое. Голуби плещутся в фонтане.

Мюррей продолжает смотреть на него в упор:

– И?

– Ну, – произносит Ханс-Питер не очень уверенно, – это нормально? Эта... эта погода?..

– Нет никаких доказательств глобального потепления, – говорит ему Мюррей.

– Ну, а я думал...

– Нет, блядь, доказательств.

Мюррей снова снимает очки и промокает лицо футболкой. Футболка спереди вся мокрая.

Светлые ресницы Ханса-Питера застенчиво порхают.

– Я думал, – говорит он, – есть доказательства.

Мюррей снова смеется:

– Тебя надули.

Ханс-Питер скромно спрашивает:

– А как же отшот Штерна?^[62]

Мюррей что-то злобно ворчит.

– Там сказано, – не унимается Ханс-Питер, – если не принять мер против выделений...

– Да к чертям собачьим! – кричит Мюррей. – Есть другие отчеты, в которых говорится прямо противоположное.

– Разве они не проплачены нефтяными компаниями?

Мюррей вздыхает. Подобного дерьма он уже наслушался и больше слушать не намерен. На самом деле Мюррей испытывает неподдельную симпатию к «нефтяным компаниям». Он чувствует каким-то образом, что он с «нефтяными компаниями» на одной стороне. В этом дело – они успешны, они победители в этом мире и потому, несомненно, вызывают злую зависть всяких лохов вроде Ханса-Питера. Посмотрите на него – до сих пор живет в молодежном общежитии. А вот Мюррей, как какая-нибудь гребаная нефтяная компания, занимает хорошо обставленную квартиру на

одной из самых элегантных улиц городка эпохи Габсбургов. В его понимании Ханс-Питер проживает здесь за счет голландского эквивалента пособия по безработице, которого тут хватает на лучшую жизнь, чем в Амстердаме, или откуда он там.

– Ты что, не понимаешь, – говорит он, переходя на снисходительный тон для своего недалекого друга, – что это все заговор *против* нефтяных компаний? Левацкий заговор. Против рыночной экономики. Против свободы личности.

– Ты так думаешь? – спрашивает Ханс-Питер.

– Я это знаю, дружок. Они проиграли холодную войну, – объясняет ему Мюррей. – Это их следующий ход. Это же, блядь, очевидно, если подумать.

С его носа срывается объемистая капля пота.

Ханс-Питер не отвечает. Он поворачивается к раскаленной от жары площади. В левом ухе у него маленькая серьга.

– Ишо по одной? – спрашивает он, замечая пустой бокал Мюррея.

– Ну, давай, – ворчит Мюррей.

К его удивлению, после этой, только второй пары бокалов Ханс-Питер извиняется и уходит, оставляя его допивать в одиночку пол-литра «Пана», местного лагеря, и скользить взглядом по неожиданно безлюдной площади.

Мюррея удивляет, что у Ханса-Питера нашлись какие-то дела. Их дружбу скрепляет то обстоятельство, что ни один из них *никогда* ничем не занят. Ни с кем не ведет никаких дел. Потому что *не с кем*. Поэтому они и дружат. Уберите это обстоятельство – и непонятно, что останется.

Вообще-то нельзя сказать, что больше здесь совсем никого нет. Есть Дамьян. Знакомый Ханса-Питера, из местных. Но у Дамьяна есть работа – в шиномонтажной мастерской, рядом с железной дорогой. У него есть семья. Другими словами, у него есть то, что называется нормальной жизнью.

Позднее Мюррей встречается его в баре «Уморни путник».

Мюррей расстраивается, обнаружив, что там нет Марии. Если можно говорить о какой-то цели в жизни Мюррея, то цель эта связана с Марией, продавщицей напитков в молодежном общежитии. И про нее, он чувствует, не скажешь: не его поля ягода. Во-первых, она не очень хорошенькая. Зато молодая и дружелюбная, а ее английский превосходен – она даже понимает Мюррея, когда он говорит. С некоторых пор, с прошлой зимы, он положил на нее глаз. И весь год планировал сделать шаг в ее сторону.

Этим вечером он лелеял надежду встретить ее здесь. Теперь он

расстроен. На улице уже темно. Вечера теперь короче. Ночи, как тут говорят, растягиваются.

Он видит, как в бар входит Дамьян.

– Дамьян, приятель, – говорит Мюррей, вставая с места и собираясь пожать руку шиномонтажнику.

Дамьян низкого роста, мускулист, неразговорчив – люди такого типа вызывают у Мюррея инстинктивное уважение.

Дамьян, пожимая руку Мюррею, осматривает помещение.

– Ханс-Питер? – спрашивает он.

– Его тут нет, – говорит ему Мюррей. – Я не знаю, где его черти носят. Дай-ка я куплю тебе выпить.

Они садятся вместе, и Мюррей интересуется:

– Ну, так что ты задумал?

Дамьян ничего не отвечает, и Мюррей спрашивает снова.

– Чем ты занимаешься?

Дамьян, вероятно не понимая его, пожимает плечами и качает головой.

– Но ты в порядке? – не отступает Мюррей.

– В порядке, да.

Они впервые выпивают вдвоем, без Ханса-Питера. Без него это оказывается крайне трудным делом.

И в итоге разговор переходит на шины.

– Так что насчет «Пирелли»? – слышит Мюррей свой голос. – Как они рядом с другими? С «Файрстоуном» хотя бы.

В их беседе все чаще повисают паузы, во время которых они обводят взглядом помещение, пытаясь найти хоть одну симпатичную девушку.

Затем Мюррей спрашивает что-то еще о шинах, и Дамьян корректно отвечает.

Так они разговаривают о шинах не меньше получаса.

– У меня были «Мишлен» на «мерсе», – говорит Мюррей после долгой паузы. – Высшего качества.

Дамьян молча кивает, отпивает.

– Как думаешь, увидим мы сегодня Ханса-Питера? – спрашивает Мюррей.

Дамьян молча пожимает плечами.

– Ты не знаешь, где он?

Дамьян, поднимая бокал с пивом, качает головой.

Однако, как выяснится позже, он не был честен. Он представлял, где был Ханс-Питер. Ханс-Питер находился в квартире Марии, без одежды, и смотрел очередную серию «Игры престолов» в хорватском переводе на

маленьком пузатом телике Марии.

Глава 3

Утром наступила осень. Температура за ночь опустилась на двадцать градусов. Мюррей, стоя у окна в трусах и майке, ликует. Он воображает, как бросит этот взвихренный осенний день, полный мокрых листьев, в лицо Хансу-Питеру со словами: «Ну, как тебе это? Не хочешь мороженки, а? Паразит паршивый». Он растягивает лицо в улыбке, но его вдруг колотит кашель, так что он отходит от окна, скрючившись, с разбухшими сосудами на потных висках, и пытается ругаться матерно:

– Еб... твою... ТАК!

В квартире повисает тишина, точно пыль. Эту мрачноватую двухкомнатную квартиру он подыскал при помощи Ханса-Питера примерно через месяц после прибытия в городок. Хозяин – мужчина средних лет, а раньше здесь жила до самой смерти его мать, так что почти вся ее мебель осталась на месте – громоздкая мебель темного дерева. Внизу, на первом этаже, Мюррей бродит среди картин и безделушек старой леди, ее педальной швейной машинки и влажного постельного белья. Он хотел найти полностью обставленную квартиру. Он пользуется ее старыми металлическими ножами и вилками, ее покрытыми пятнами тарелками. А на стенах висят фотографии цвета сепии, в рамках, с какими-то людьми в старомодных костюмах, с лицами замогильного цвета.

Квартира наполнена теплым, застоялым воздухом. Серая дождливая осень за двумя большими окнами кажется надежно отделенной от тепловатой тишины комнат. Все здесь напоминает театральные декорации. Дождь стучит по окнам точно галька. Мюррей закуривает. Он теперь предпочитает местную марку сигарет – до такой степени здесь прижился. Он сидит в горячей ванне, окруженной ржавыми трубами, бесцветными плитками, с лампочкой высоко под потолком.

Одевшись после ванной, он берет зонтик и бредет через ветер в «Уморни путник».

Ханс-Питер там, завтракает за столиком в затемненном баре. Кофе и рогалик с маслом. Взгляд его как будто застыл в точке в полуметре перед ним.

Очарованный, мать его, странник, думает Мюррей.

Не поздоровавшись с другом, он идет к бару, где сейчас работает Эстер. Вот Эстер – *не его* поля ягода.

Однако она дружит с Марией, так что, наверное, стоит быть с ней

поприветливей, – и Мюррей улыбается ей.

Он чувствует неубедительность этой улыбки, и убеждается в этом, увидев себя в затененном дымчатом зеркале за спиной девушки. (Меню написано прямо на зеркале – он видит свое лицо сквозь строчки.)

– Да? – говорит Эстер.

– Капучино, – говорит его лицо в зеркале по-английски.

Пока она возится с машиной, он просматривает местную газету. Слов он не понимает, его глаза просто скользят по фотографиям, на которых он видит местных политиков – неприятных типов с жуткими стрижками, фальшиво улыбающихся, как он сам только что.

Получив свой капучино, он подходит к Хансу-Питеру, желает ему доброго утра и садится напротив.

Ханс-Питер с полным ртом молча кивает.

Он жует рогалик словно через силу.

Несколько секунд Мюррей смотрит на него с неприязнью.

– Где ты был прошлым вечером? – спрашивает он, наконец.

Ханс-Питер прожевывает и проглатывает. Он быстро говорит что-то – очень неразборчиво.

Мюррей кривится в раздражении:

– Что? Еще разок.

– Ум-маи-и, – говорит Ханс-Питер, проглатывая.

– Чего?

Ханс-Питер как следует проглотил все, что было во рту, и повторяет:

– У Марии. Дома у Марии.

– Это как же?

Ханс-Питер не выдерживает сверлящего взгляда Мюррея и отводит глаза.

– Ну, ты знаешь Марию?

– Марию, – произносит Мюррей, как будто пытаясь сообразить, кого он может иметь в виду. – Ту, что здесь работает?

– Да.

– Ты был у нее дома?

– Да.

– Зачем? – спрашивает Мюррей, искренне не понимая.

– Ну, – посмеивается застенчиво Ханс-Питер, – ты понимаешь...

– Нет, я не понимаю.

– Ну, мы это... Между нами что-то есть, – говорит Ханс-Питер.

Когда до Мюррея доходит, он ошарашен:

– Что – ты?

Ханс-Питер кивает.

– Ты с Марией?

Ханс-Питер опускает глаза.

– Ну да, – признается он.

Он как будто смущен. И вероятно, он неправильно понимает реакцию Мюррея. Ведь Мария моложе Ханса-Питера лет на двадцать. Она толстушка и не особенно привлекательная. Это все может быть причиной для смущения.

– Как это случилось? – спрашивает Мюррей, побледнев.

И Ханс-Питер рассказывает ему, что в прошлую пятницу он был здесь, в «Умори путнике», до закрытия, как и обычно. На улице лил дождь, а у Марии не было зонтика – она все ждала, пока дождь прекратится, и он предложил ей пойти к нему в комнату и переждать там. Он предложил ей сигарету, они закурили вместе, и в итоге она осталась у него на ночь. С тех пор, говорит он Мюррею, он уже дважды ночевал у нее.

– Ну, вот, – завершает Ханс-Питер.

И начинает есть второй рогалик.

Какое-то время Мюррей не может выдать ни слова.

Деревца на улице раскачиваются от ветра.

В затененном баре Эстер разговаривает с кем-то по телефону, смеясь.

«А ведь я той ночью ночевал у Бекки, – думает Мюррей. – Ворочался под одеялом с Человеком-пауком. А они... В те же самые минуты. В прошлую пятницу».

Он смотрит на Ханса-Питера с выражением шока и омерзения.

– Какого хрена она в тебе нашла? – говорит он.

Что она нашла в Хансе-Питере? Этот вопрос мучает Мюррея всю ночь, не давая заснуть. Он сидит у себя, как в гробнице, и курит в темноте. Ему кажется очевидным, что если бы он сам выразил свои намерения в отношении Марии яснее, скорее всего, она предпочла бы его, а не Ханса-Питера. Эта мысль изводит его. Не то чтобы он так уж жаждал обладать ею физически. В его чувствах к Марии была какая-то бессильная сентиментальность, что-то расплывчатое, даже сродни жалости. А что она нашла в Хансе-Питере – это вполне ясно: Ханс-Питер – просто уменьшенный вариант его самого, этакий обедненный Мюррей. Иностранец откуда-то с Запада, у которого водятся *хоть какие-то* деньжата. У Ханса-Питера даже есть машина – старый, изъеденный ржавчиной «фольксваген поло» на 1,2 литра, с протекающим маслом. В рамках «Умори путника» он вполне сгодится на роль богатого папика.

Он запал на нее, решает Мюррей.

Запал на эту толстую шлюху.

И это хорошо хотя бы тем, что дает ему больше времени, чтобы сосредоточиться на бизнесе. Которым ему так или иначе *нужно* заниматься, а не тратить время на всяких потаскух. Его бизнес. Трансферы в аэропорт. Микроавтобус до аэропорта Загреб. Он знает парня по имени Благо, у которого есть водители. У него есть реклама. Вебсайт почти готов. Ему только нужны микроавтобусы. У него есть средства на один, по его словам, но ему нужно четыре, чтобы бизнес пошел в гору. Поэтому он предложил Мюррею войти в дело. Они обсуждали это в «Джокере» и потом еще за обедом. Вложить деньги на микроавтобусы, получить пятидесятипроцентную ставку – в этом состояло предложение Благо. И в прошлую среду, когда Мюррей сидел в банке «Эйч-эс-би-си» в Кингстоне рядом с Темзой, он оформил кредит, под дом в Чиме, и перевел деньги на счет ЗАО «Славонски зрачне лук», реквизиты которого ему сообщил Благо. Благо показывал ему на сайте микроавтобусы, которые намеревался купить – списанные полицейские фургоны, в Осиеке. Сказал, что собирается туда за ними, как только у него появятся деньги. Мюррей хотел поехать с ним, чтобы лично увидеть эти фургоны.

– Я кое-что понимаю в них, – сказал он Благо.

Он настаивал на праве вето, если они покажутся ему недостаточно хорошими.

С тех пор, как вернулся из Королевства, он набирал номер Благо пару раз, чтобы узнать, не пришли ли деньги.

Благо не отвечал. Очень на него похоже.

Самое неприятное для него – это внезапно образовавшаяся дыра в его ежедневном расписании из-за Ханса-Питера, который теперь почти не бывает с ним. Раньше они встречались каждое утро в «Уморни путнике». Но в эти дни Ханс-Питер там почти не появляется. Мюррей пьет свой капучино и делает вид, что читает газету. Иногда он сидит так больше часа.

Время от времени Ханс-Питер все же показывается. Однажды утром, увидев его, Мюррей обращается к нему со своей типичной фразой: «Какие планы на сегодня?» Ответ обычно подразумевал, что особых планов не имеется, и они договаривались встретиться чуть позже в «Джокере», то есть вскоре после обеда.

Но сегодня Ханс-Питер только пожимает плечами.

Когда Мюррей предлагает выпить в «Джокере» «чуть позже», Ханс-Питер поначалу мнетя, а затем говорит, что собирается пойти в кино.

– О? – восклицает Мюррей. – И что ты смотришь?

– «Железный человек – 3», – говорит Ханс-Питер.

Повисает молчание. Затем Мюррей спрашивает:

– Не против, если я тоже пойду?

Снова молчание. Затем Ханс-Питер роняет без особого энтузиазма:

– Если хочешь...

– Если ты не против, – говорит Мюррей.

Ханс-Питер смотрит вниз на свои кроссовки «Адидас».

– Хорошо, – произносит он.

– Так где мы тогда встретимся? – спрашивает Мюррей.

– Здесь? – предлагает Ханс-Питер без особого энтузиазма.

И они встречаются здесь ранним вечером. Ханс-Питер приходит с Марией.

Мария, похоже, не очень рада увидеть Мюррея, ожидающего их в слаксах. Он пытается быть милым. Но все тщетно. Она едва произносит пару слов, пока они едут в автобусе на окраину городка, где находится обшарпанный торговый центр с несколькими кинозалами.

В переполненном автобусе Мюррей начинает высказывать сомнение по поводу намечающегося мероприятия. Спутники как будто стараются не обращать на него внимания. Встречаясь взглядом с Марией, он пытается улыбаться. Она сразу отводит глаза, и он спрашивает ее о фильме:

– Так что мы будем смотреть? Стоящий фильм?

Она делает вид, что не слышит его.

Большинство людей в очереди за билетами – почти еще дети: ребята со стеклянными серьгами, в мешковатых штанах, визгливые девицы в мини-юбках или спортивных костюмах, потягивающие сладкие коктейли и кидающиеся попкорном. Среди этих взбудораженных юнцов, в компании Ханса-Питера и Марии, то и дело обжимающихся, Мюррей высиживает два часа, пытаясь смотреть шумный боевик. Фильм дублирован на хорватский, так что он ни хрена не понимает.

После кино, пока Мария зашла в дамскую комнату, Ханс-Питер говорит ему, что они собираются к ней домой, и спрашивает Мюррея, чем он думает заняться.

– Ну, не знаю, – отвечает Мюррей, переминаясь с ноги на ногу.

Повисает молчание, и Мюррей с ужасом подозревает, что Ханс-Питер жалеет его – какой-то ебанный Ханс-Питер испытывает жалость к нему.

Да ну, к черту.

– Ты не волнуйся, – говорит он. – Мне есть чем заняться. Добавь ей за меня, хорошо? – И он кивает с неприятной улыбкой в сторону Марии,

которая приближается к ним.

Следующие несколько часов он проводит в «Джокере», потягивая лагер «Пан» и думая о том, что если уж такие, как Ханс-Питер, могут подцепить бабенку, то *он-то* и подавно, так их растак.

Матвей кивает.

Мюррей и не заметил, что произнес это вслух. Матвей, высокий и сухощавый, напоминающий монаха-аскета, достает стаканы из мойки и ставит на поднос под барной стойкой.

Еще нет восьми вечера, а Мюррей уже порядком набрался.

Позже, в «Оазисе», он натывается на Дамьяна.

Они сидят за одним столиком в кебабной, и Мюррей говорит:

– Если уж такие, как Ханс-Питер, могут подцепить себе бабенку, то я-то и подавно, так их растак.

И поедает кебаб, некрасиво чавкая.

– Несомненно, – кивает Дамьян.

Он со своим приятелем уже собирался уходить, когда появился Мюррей. Они говорят по-хорватски, эти двое – отрывистый, насмешливый обмен словами. Мюррей, закидывая склизкие остатки кебаба в рот, пытается понять, о чем идет речь.

– Чем теперь займешься? – спрашивает он, промокая губы салфеткой.

Друг Дамьяна, как выясняется, прекрасно говорит по-английски. Как американец.

– Мы будем тусоваться, – говорит он, ухмыляясь. – Ты с нами?

– Да, черт побери, – говорит Мюррей. – Славный ты малый. Идем.

Когда они уходят, один из братьев, владеющих этой кебабной, говорит что-то Дамьяну.

Эти два брата-близнеца, албанцы, выглядят по-бандитски. Бритые, круглые головы. Массивные носы. Мощные шеи и тяжелые надбровные дуги. Мюррей не умеет различать их. Первое время он даже не понимал, что их двое, пока однажды не увидел вместе. Обычно они сидят на террасе заведения, под навесом, где стоит фонтанчик, курят кальян и попивают чай. Рядом с ними сидят и другие мужчины, еще более отчаянного вида, часто с усами, и разные женщины, молодые и старые. Белая форсированная «хонда аккорд» с дизельным движком на 2,2 литра часто припаркована рядом, и Мюррей считает, что она принадлежит братьям.

И он смотрит с завистью, как один из них кивает Дамьяну на прощанье и что-то по-дружески говорит. Ему бы хотелось, чтобы братья обращались так же и с *ним*. Он ест у них кебабы уже второй год и давно чувствует, что

между ними есть что-то общее, что-то такое, что отличает их от остальных людей, некое превосходство над остальными. Однако они никогда не обращаются к нему, вот как сейчас один из них обратился к Дамьяну, и вообще никак не проявляют своего расположения к нему.

В пылу момента Мюррей решает заговорить с ними первым. Брат, сказавший что-то Дамьяну, стоял рядом, у двери, прислонившись к косяку, и ковырял во рту зубочисткой.

– Ну, *хорошо*, – говорит ему Мюррей с нажимом, проходя мимо.

И близнец смотрит на него с легким удивлением – в своей рубашке без воротника под коричневой кожаной курткой, – смотрит вслед Мюррею.

И как же это, вашу мать, случилось?

Мюррей, в своей гробнице, в полной безопасности, сидит на унитазе и скулит, роняя слезы на грязный линолеум.

Как это случилось?

Еще никогда он не испытывал таких эмоций в туалете, не чувствовал такой интимной близости с унитазом, с болтами, покрытыми ржавчиной, которыми он был привинчен к полу.

Наплакавшись хорошенько, он распрямляется и вытирает глаза.

Осматривает в зеркале свой жирный подбородок.

Это зеркало всегда какое-то туманное, мутное. Его лицо кажется каким-то искаженным. Он смотрит на себя с презрением.

Все из-за женщины. О, да, из-за женщины. Из-за многих женщин. Вместе с Дамьяном и его другом он обследовал злачные места городка – пару-тройку, сколько их там было. Злачные места. Полные студентов, подростков. Там ему не повезло, хотя он пытался, бог видит, пытался. Пытался в гомоне этой новой музыки замутить с кем-нибудь из них. С этими подростками с осветленными волосами. Мюррей скалился на них и пытался донести до них свои намерения. Кричал о том, какой у него был Эс-класс. Кричал: «Вы видели Лондон?» Кричал: «Я вам покажу его, хорошо?» Он предлагал ей работу, этой девице. И она уже готова была оставить ему номер, так он думал, когда ее оттащили друзья. (Позднее он видел, как она блевала в парке. Или это была не она?) Друг Дамьяна исчез. И они с Дамьяном направились в ночной клуб. Дамьян сказал, что знает одно место – и слова его текли легче обычного. Одно место, открытое всю ночь. Такси. Да, такси. А затем снова на выход во влажную ночь. Дамьян заплатил. Мюррей спросил его покурить. И вот они там. Эта женщина, восседающая на высоком табурете у барной стойки. Не молодуха, явно. А может, это он сидел на табурете, и она сама подошла к нему и заговорила.

И он стал рассказывать ей о своем Эс-классе, который у него когда-то был. И спрашивать, была ли она в Лондоне. Так, сколько ей было? Сорок? Пятьдесят? И отнюдь не красotka. Даже тогда, в таком состоянии, он это понимал. Она прикасалась к нему. Клала руку ему на ногу. (А где же был Дамьян?) Ее рука на его ноге. И тогда он прямо спросил:

– Хочешь поехать ко мне?

Она молча кивнула и провела рукой вверх по его бедру.

– Ну, ладно, – сказал он.

– Минутку, – произнесла она, поглаживая его ногу. – Подожди.

– Ну, ладно, – сказал он.

И он ждал ее, довольный собой. А затем стал беспокоиться, сумеет ли он в таком состоянии. И тогда он увидел, как она разговаривает с двумя мужчинами у туалетов. И по ее манере держаться он все понял. И ему захотелось уйти. Он соскользнул с табурета, стараясь устоять на нетвердых ногах, и стал двигаться к двери. И вдруг она оказалась рядом, держа его за руку. Крепко держа.

– Все хорошо? – спросила она. – Идем?

– Слушай, я устал, – сказал он ей, пытаюсь высвободиться. – Давай в другой раз.

– Не говорит так, – сказала она, водя рукой по его брюкам, нащупывая что-то.

– Устал я, блядь, – выпалил он, отпихивая ее.

И вышел на улицу, в прохладный ночной воздух. Под фонари. Он пошел быстро, не зная, куда идет. И слышал шаги за спиной – и чем быстрее он шел, тем ближе звучали эти шаги. И вот его схватили чьи-то руки. И бросили спиной на фургон. Двое мужчин. Лиц в тени не разобрать. Он слышал свой голос, почти визг:

– Что вам надо?

У них было несколько претензий. Он вступил с ними в договоренность, как будто бы сказали они ему. И теперь он должен им денег. А еще он ударил ее, так сказали они. И поэтому он должен им еще больше.

– Я ее не ударял, – проскулил он. – Ни разу...

Но они как будто требовали все, что он имел при себе. Его ударили в лицо и повалили. А затем вытащили бумажник и, опустошив, бросили ему.

И вот он остался один лежать на влажном асфальте, пытаюсь понять, уж не снится ли ему этот кошмар.

Пожалуйста, пусть это будет сон.

Его рот ощущался как-то неправильно. И что-то было с глазами... Что

же было *не так*?

Колесо.

Полная хрень.

Колесо машины...

«Тойота-ярис»?

Он поднимается на ноги, его шатает.

Ему плохо. Ему вдруг стало очень плохо.

Два дня спустя, когда его рот пришел в норму, он выползает в «Уморни путник» и видит там Ханса-Питера.

– Я слышал о твоём ночном загуле, – говорит Ханс-Питер. – Ага, об этом. Ну и ночка.

Время сейчас чуть за полдень. Мария работает за стойкой.

– Что, правда? – интересуется Мюррей, улыбаясь озабоченно. – И что ты слышал?

– Дамьян сказал, это была хорошая ночка.

Улыбающийся Мюррей чуть расслабился.

– Не хуевая такая ночка, – говорит он, – вообще-то.

– Ты с тех пор в себя приходишь? – спрашивает Ханс-Питер.

– Так точно. Прихожу в себя. Если ты меня понимаешь.

Сам Мюррей не вполне себе понимает. Он отпивает пиво, первое пиво за все это время.

Вчера он пережил нечто вроде темного полудня своей души. Несколько часов ужасающего отрицания. Всеохватное чувство, что он прожил впустую всю свою жизнь и теперь все кончено. На улице светило солнце.

И сейчас светит, воспламеняя желтеющую листву деревьев перед общежитием.

Он видит их сквозь пыльное окно.

– Как сам? – спрашивает он Ханса-Питера. – Ты в порядке?

– Я в порядке, – отвечает Ханс-Питер.

Мюррей видит, как листок отделяется от дерева и планирует вниз.

Ханс-Питер говорит:

– Дамьян говорит, ты вроде бы искал себе подружку той ночью.

– Что? Я искал?

– Так он сказал.

Мюррей жуёт губы с беспокойством.

– Не знаю, что он там сказал.

– Что ж, – говорит Ханс-Питер, – я знаю одну очень милую леди,

которая может тебе подойти.

– И кто же это? – спрашивает Мюррей с неприязнью.

– Очень милая леди, – снова говорит Ханс-Питер и добавляет шепотом: – Мать Марии.

Мюррей произносит сдавленно:

– Мать Марии?

– Да.

– Иди ты *на хрен*.

– Пошему?

– Вот блядь... – усмехается Мюррей.

– Пошему нет? Она дофольно молода...

– Это насколько же?

– Сорок фосемь, я думаю. И она в хорошей форме, – говорит Ханс-Питер с намеком.

– Ты видел ее или как?

– Конечно.

Мария, которой пока некого обслуживать, ходит по залу, собирая посуду. Она останавливается за спиной Ханса-Питера, кладет руки ему на плечи. Ее внушительные бедра оказываются прямо напротив Мюррея.

– Я как раз рассказывал Мюррею, – говорит ей Ханс-Питер, чуть повернув голову, – о твоей матери.

– Да? – улыбается она.

Кажется, она уже простила Мюррея за то, как он вел себя с ними в кино. Теперь он даже думает, что, возможно, его тогдашнее поведение могло *подвигнуть* ее к мысли пристроить его к своей очевидно одинокой и жаждущей мужского внимания матери.

– Просто сходи с ней куда-нибудь выпить, – говорит Ханс-Питер.

Говорит? Подсказывает? Указывает? Мюррей еще не решил, как на это реагировать – гребаный Ханс-Питер говорит ему, что делать, – и тут Мария произносит:

– Она правда симпатичная. И гораздо худее меня.

– Не будем осуждать ее за это, – говорит Ханс-Питер почти вкрадчиво.

– Она все время говорит мне похудеть.

– Не слушай ее.

– Но это правда – я должна.

– Ничего подобного, – обращается к ней Ханс-Питер, а затем – к Мюррею: – Так ты сделаешь это? Сходишь с ней выпить?

Нелепо было бы сказать что-то вроде «Да ни в жисть, идите *на хрен*»,

когда здесь стоит Мария, улыбаясь ему, а высветленная челка спадает ей на глаз.

– Есть фотка? – спрашивает он через несколько секунд. – То есть, в телефоне или где-то еще?

– Может быть, – говорит она. – Ага, вот.

Перегнувшись через плечо Ханса-Питера, она передает свой телефон Мюррею.

Он смотрит.

Женщина с кошкой. Сразу так не скажешь. Худее, чем Мария, да. Неплохо? Может быть.

– А как же твой отец? – спрашивает он с ухмылкой, отдавая телефон и ничего не говоря о фото. – Он не будет против?

– Он живет в Австрии, – говорит она. – И они в разводе. Очевидно.

– Очевидно, – повторяет Мюррей.

Вообще-то он пытался пошутить. Он подразумевал, что ее отец уже сыграл в ящик.

– Ладно, – кивает он. – Я попробую.

– Тогда дать тебе ее номер? – спрашивает Мария.

– Она говорит по-английски, или...

– Конечно.

– ...Или почему бы тебе не позвонить ей? – предполагает он, внезапно занервничав. – Устрой это.

Прислонясь к его плечу, она смотрит на Ханса-Питера, ожидая его мнения, возможно, даже разрешения.

– Давай, – говорит Ханс-Питер. – Устрой это.

Неожиданно еще один листок отделяется от дерева и планирует на тротуар.

По пути домой, через несколько часов, Мюррей заходит в «Оазис» купить кебаб. Пластиковая вывеска – пальма и улыбающийся верблюд – светится в сумерках. Один из близнецов-албанцев стоит у входа, осматривая окрестности. Он не замечает Мюррея, и Мюррей после секундного колебания ничего не говорит ему. Сделав заказ на английском, он ждет свой кебаб, поглядывая на кусочки пахлавы, словно раздумывая, не купить ли ее. Больше чем когда-либо, ему хочется получить какой-нибудь знак внимания от братьев, хоть самый маленький, говорящий, что они смотрят на него как на равного себе – всего лишь как на равного, не более того. Дамьян, который удостоился от них кивка и нескольких слов, сразу вырос в глазах Мюррея. Теперь он считает Дамьяна достойным человеком.

Пахлава блестит, сочась медом. Да, теперь Дамьян представляется ему более значительной фигурой, чем он сам.

Братья, словно не замечая присутствия Мюррея, обмениваются несколькими фразами на неизвестном ему языке с поваром, наполняющим питу нарезанным салатом. Полив питу соусом, он плотно заворачивает ее в фольгу и отдает Мюррею. Фольга теплая на ощупь.

– Спасибо, – говорит Мюррей.

Повар молча кивает.

И вот на самом выходе Мюррей решается. Он смотрит одному из братьев прямо в глаза и говорит громко и отчетливо:

– Увидимся еще, дружок.

И выходит на вечернюю улицу.

Брат ничего не сказал ему. Ничего.

Может, просто от удивления.

Той ночью Мюррей увидел сон. Он лежит на своей кровати. За окном идет дождь, сильный дождь. Окно открыто. Он лежит на кровати и слушает дождь. Этот дождь напоминает ему что-то, словно льется откуда-то из прошлого. Комната странно пуста. В ней нет ничего, кроме кровати, на которой он лежит, причем лежит головой в ногах. Он лежит и слушает дождь, и вдруг из темной ванной комнаты выходит большая собака – овчарка. Тихо дыша, она подходит к кровати и ложится на пол. И задевает стакан, стоявший там, он падает и катится по полу. Собака зевает, поскуливая, и снова дышит. Дождь по-прежнему идет. Мюррей, все так же лежа на кровати, вытягивает руку и гладит собаку по загривку, запуская пальцы в шерсть. Собака тихо дышит. Дождь идет и идет, и на полу перед окном набирается лужа.

В воскресенье после обеда он идет пропустить стаканчик с мамой Марии.

Едва увидев ее перед ирландским пабом, он понял, что не хочет ее, и испытал облегчение. То есть совсем не хочет. Это была высокая женщина средних лет, с несуразно длинными ногами, в джинсах, с коротко стриженными темно-лиловыми волосами, цвета баклажана.

Ее ладонь, когда они пожали руки, была холодной и шершавой.

Этот ирландский паб был едва ли не самым шикарным местом во всем городке, куда заходили белые воротнички из городской администрации и бонзы местной мафии. «Гиннесс» стоил там почти столько же, сколько в Лондоне. А интерьер напоминал типичный привокзальный британский паб.

До крайности потертый и обшарпанный. Внешнее сходство было поразительным. Чего нельзя было сказать о сервисе.

Они уселись в кабинку на мягкие диваны, и Мюррей заказал себе пол-литра крепкого портера. Мама Марии заказала белое вино.

Не испытывая к ней влечения, Мюррей совсем не нервничал, чего на самом деле опасался. По-английски она говорила прекрасно, и довольно скоро он уже рассказывал ей о Лондоне, телефонных продажах и, с чуть меньшей увлеченностью, о Шотландии. Ей как будто нравилась Шотландия, она то и дело спрашивала что-то о ней. Хотя ему не очень-то хотелось говорить об этом. Когда опустились сумерки, он рассказывал ей о «мерседесе» Эс-класса, который был у него когда-то, и шинах «Мишлен» высшей категории, которыми он пользовался.

– Самого *наилучшего* качества, – сказал он ей.

Она кивнула. Она пила второй бокал вина.

Он пил третий портер.

– Большая разница, – объяснял он ей, крутя в руках стакан, – какие шины.

– Я знаю, – сказала она.

– Огромная разница.

Она была школьной учительницей, преподавала английский. И под конец вечера ему стало казаться, что, может быть, он все же хочет ее немножко.

Она казалась заинтересованной в Эс-классе, как и любая другая женщина, в этом сомневаться не приходилось. Она попросила объяснить ей, что *значит* Эс-класс, для начала. И он провел ее по всей линейке «мерседесов», от 1,8-литрового А-класса через прочие классы, различные варианты двигателей, доступные для них, и так далее вплоть до модели «S 500 L».

Это заняло примерно полчаса.

А затем он спросил:

– А какую машину водите *вы*?

Она назвала модели «сузуки».

Он сказал, что не очень разбирается в «судзуки».

– Неважно.

– Довольны ею? – спросил он.

Она кивнула, улыбаясь.

– Вполне.

– Какой... Какой у нее объем двигателя?

Вопрос почему-то показался ей смешным. Она рассмеялась.

– Я не знаю, – сказала она. – Я так рада за Марию и Ханса-Питера. Он такой приятный мужчина.

– О, ну да, – произнес Мюррей расплывчато и посмотрел в окно.

Уж о Хансе-Питере ему совсем не хотелось говорить, это точно.

– Хотела бы я, чтобы Мария немного похудела, – сказала ее мама искренне. – Вы не думаете, что ей надо бы похудеть немного?

– Определенно.

– А вы ей намекнете? Меня она не слушает.

– Я? – спросил Мюррей, не вполне понимая, как с этим быть. – Конечно. Я перекинусь с ней словом об этом. Хотите еще выпить?

– Нет. Спасибо.

Отпивая четвертый портер, он решил, что определенно *хочет ее*, даже очень.

Он рассказывал ей о своем бизнесе – трансферных рейсах в аэропорт. Он, наконец, сумел связаться с Благо – «местным партнером», как он назвал его, – и Благо подтвердил, что деньги поступили. Они собираются съездить в Осиек на следующей неделе, посмотреть на списанные полицейские микроавтобусы. Принять какое-то решение. Дело двигалось. Он сказал ей, что здесь имеется потенциал к чему-то «весьма серьезному». Глядя ей прямо в глаза, он пояснил:

– Транспортный сектор прискорбно недоразвит в этой части Хорватии. Она согласилась.

И тогда он попробовал взять ее за руку. Она быстро отняла ее, но с легкой улыбкой, дававшей простор воображению.

Так что, направляясь в туалет, он решил, что непременно сделает еще одну попытку. Он застегнул ширинку и вымыл руки.

– Смерть, – сказал он своей самодовольной физиономии в зеркале, – или победа.

Среда следующей недели.

Мария за работой, так что Ханс-Питер и Мюррей обедают вместе. Они идут в китайский ресторан «Златна рижека». Он расположен на маленькой площади меланхолического облика, вымощенной булыжником, усыпанным опавшими листьями.

Войдя, они садятся за буфетную стойку.

Ханс-Питер заказывает горку пророщенной сои с нарезанной морковкой, щедро одобренную усилителями вкуса.

Мюррей начинает с темного мяса, столь же неестественно аппетитного на вид.

Они сидят у окна и смотрят на мир за ним. Напротив старый книжный магазин. Несколько велосипедов привязаны к металлической раме.

Мюррей догадывается, о чем хочет спросить его Ханс-Питер, закидывающий сою себе в рот.

Он должен быть уже в курсе произошедшего. Мария наверняка сказала ему. Однако он спрашивает:

– Как все прошло в воскресенье?

Мюррей смотрит на свое лоснящееся мясо с колечками лука и зеленого перца.

– Это ты мне скажи, – бормочет Мюррей.

– Что ж, – признает Ханс-Питер, гоня дешевой вилкой по тарелке последние ростки, – не так чтобы очень, я слышал.

– Я не знаю, что произошло, – говорит Мюррей тихо, как бы оправдываясь. – Я не знаю, как это произошло.

Ханс-Питер смотрит на него какое-то время.

– Полиция?

На Мюррея жалко смотреть.

– Мария все еще не хочет разговаривать со мной? – спрашивает он, не поднимая глаз.

Ханс-Питер говорит:

– Она хочет объяснений. От тебя. О том, что произошло. Она не понимает.

– О том, что произошло?

– Ага.

– Когда мы вышли из паба, – говорит Мюррей, – я взял ее руки в свои. Она мне разрешила.

Ханс-Питер кивает и делает глоток спрайта.

– Она мне это *разрешила*, – повторяет Мюррей.

– Ага.

– Ну, и я подумал, *хорошо*. Ну, понимаешь...

На лице Ханса-Питера читается что угодно, кроме понимания.

– Ну, я держал ее за руки...

Ее руки были ледяными и шершавыми. Он был к тому моменту пропитан «Гиннесом». Она *улыбалась*. Теперь он видит эти губы, растянутые то ли в улыбке, то ли в гримасе страха.

– И я попробовал поцеловать их, – говорит Мюррей.

Он встречается глазами со светлыми, опущенными белесыми ресницами глазами Ханса-Питера.

– И тогда. И тогда. Она как бы *закРРича-а-ла*.

– Она закричала?

– Ага.

– Почему закричала? – спрашивает Ханс-Питер.

Этот вопрос он как будто обращает к бокалу спрайта – на Мюррея он не смотрит.

– Я просто пытался поцеловать ее, – говорит Мюррей.

– И что произошло потом?

– А потом какой-то ублюдок повалил меня, и кто-то позвонил в полицию.

– А что она делала?

– Что она делала? Я не знаю.

– Так, прибыла полиция, – подсказывает Ханс-Питер.

– Ага, – говорит Мюррей. – Прибыла. И я, как бы это, задвинул одному из них.

– Почему ты это сделал?

– Не знаю... Они так со мной обращались...

– Я понимаю, – говорит Ханс-Питер.

– Ну, меня повезли в участок. С этой сраной сиреной и так далее.

Ханс-Питер только кивает с сочувствием.

– И я провел ночь, – говорит Мюррей, – в этой сраной клетке.

– Тебя отпустили наутро.

Очевидно, Ханс-Питер уже знает всю историю.

– Они сказали, что миссис Евтович не хотела выдвигать обвинение против меня. И я еще подумал: *Какая еще, на хрен, миссис Евтович?*

– Это мама Марии.

– Ну да, знаю. Просто тем утром я не совсем четко соображал.

Тем утром. Не кайф. Хуже не бывает. Он понял это, когда посветлело...

– Я просто пытался поцеловать ее, – повторяет он, едва не плача. – Я ничего такого не сделал.

– Ясно.

– А что, *она* говорит, я сделал?

– Я не уверен, – отвечает Ханс-Питер уклончиво.

– Не знаю, что делать, – говорит ему Мюррей.

Ханс-Питер молчит. Он закончил свой обед.

Мюррей берет вилку и тоже собирается доесть мясо в темном, клейком соусе.

Что-то втыкается ему в зубы.

– Какого хрена! – Он выплевывает что-то на салфетку, что-то маленькое и твердое, точно дробишка. – Это еще что за хрень?

Ханс-Питер смотрит на дробинку на мокрой салфетке.

Мюррей продолжает жевать.

Ханс-Питер, рассмотрев дробинку, заключает:

– Вот шерт. Ты знаешь, что это, я думаю?

– Что?

– Я думаю... То есть, я не уверен... Я думаю, это микрочип.

– Какой еще микрочип? – спрашивает Мюррей с полным ртом.

– Для нахождения животных.

– Животных?

– Ага, собак, например, – говорит Ханс-Питер.

Мюррей после секундного замешательства выплевывает все, что было во рту.

– Ты чего несешь? – спрашивает он гневно. – Хочешь сказать, я ем ебучую собаку?

– Не знаю, – говорит Ханс-Питер.

– Я ем собаку?! – кричит Мюррей. – Ты это хочешь сказать?

– Я не знаю...

– Я, блядь, ем собаку?

– Я не знаю, – говорит Ханс-Питер.

Он шокирован и смущен реакцией Мюррея и его неожиданными слезами, текущими по покрасневшимся щекам.

Мюррей пытается неловко вытереть слезы салфеткой.

– Я в это не верю, я в это не верю, – бормочет он.

Ханс-Питер беспомощно смотрит на китаянку, работающую за стойкой.

Мюррей обхватил лицо руками и рыдает в голос. Он что-то говорит, но ничего невозможно разобрать из-за рыданий, его мокрые от слез пальцы комкают салфетку.

Китаянка поймала взгляд Ханса-Питера. Она явно хочет, чтобы он что-то сделал, чтобы его друг не мешал остальным посетителям заведения.

Так что Ханс-Питер кладет свою нетвердую руку Мюррею на плечо и тихо говорит, что им пора уходить.

Глава 4

Стук в дверь. Стук в дверь.

И голоса.

Мюррей!

Мюррей!

И снова тишина.

Стыд.

Глава 5

Они встречаются в «Джокере». Ханс-Питер и Дамьян уже там. Прошло несколько недель. За это время Мюррей почти не показывался на людях, хотя Мария его как будто бы простила – не возражала, чтобы он тихо сидел в «Уморни путнике», пусть она по-прежнему и не разговаривала с ним. И с Хансом-Питером он тоже почти не виделся. Ханс-Питер красил квартиру Марии, закрашивал флуоресцентный оранжевый чем-то более спокойным, не вызывающим ассоциации с мигренью.

Мюррей берет из рук Матвея бокал «Пана» и садится к Хансу-Питеру и Дамьяну за столик у входа, под зеркалом.

– Живьели!^[63]

Это единственное хорватское слово, какое он знает.

Он снимает шарф. По равнине движется холодный фронт, подмораживая землю по утрам, но ближе к полудню земля оттаивает и блестит влагой.

– Ну, так, – говорит он, садясь.

– Ну, так, – произносит Ханс-Питер, на лице у него следы краски.

Дамьян молчит. Он смотрит телевизор – там показывают матчи Лиги чемпионов без звука.

– Мы тебя почти не видим теперь, Мюррей, – говорит Ханс-Питер.

– Да, – говорит Мюррей. – Я сижу дома.

– Ясно.

– Конец месяца, – поясняет Мюррей. – Сам понимаешь.

Конец месяца, с деньгами туго. Ханс-Питер понимает. Он кивает.

– Как ты? – спрашивает он.

Вопрос как будто задан неспроста. Мюррей смотрит на него с подозрением.

– Нормально. Полагаю.

– Ты почти не выходишь на улицу?

– Нет. Я же *сказал*. Сижу дома.

– Ясно. – Ханса-Питера похоже, что-то беспокоит, и он говорит: – Я рассказал Дамьяну о твоей ситуации.

– Моей ситуации? Какой ситуации?

– Твоей... Твоей жизненной ситуации.

– Что это значит? – Мюррей смотрит на Дамьяна, который смотрит футбол. – О чем вы?

- Дамьян думает... – говорит Ханс-Питер и смолкает.
- Что он думает?
- Он думает, что возможно... Возможно...
- Возможно что?
- ...Возможно, ты проклят, – заканчивает мысль Ханс-Питер. Мюррей издает сдавленный смешок.
- Чего?

Ханс-Питер обращается к Дамьяну, который по-прежнему смотрит футбол – «Реал-Мадрид» против кого-то.

- Ты разве так не думаешь?
- Возможно, – говорит Дамьян, не поворачиваясь. – Я не знаю. Возможно.

- У тебя была та же проблема, я думаю, – говорит ему Ханс-Питер.
- Да.
- О чем вы тут, мать вашу, говорите? – спрашивает Мюррей. Ханс-Питер не желает оставлять эту тему.
- Конечно, звучит непривычно.
- Я был жертвой, – говорит Дамьян, – пять лет. Жертвой проклятия.

Сам факт того, что это говорит Дамьян, *шиномонтажник*, человек, который даже в такой момент не может отвлечься от футбола, не позволяет Мюррею просто взять и отмахнуться от этой идеи как от полной чуши, как он, несомненно, сделал бы, будь тут один Ханс-Питер.

И все же он спрашивает:

- Вы прикалываетесь?

Дамьян не знает такого слова по-английски и поворачивается к Хансу-Питеру, который тоже его не знает.

- Вы не пургу несете? – удивляется Мюррей. – Это не *шутка*?
- Это не шутка, – говорит Ханс-Питер.

Дамьян объясняет серьезным тоном:

- Я тебе скажу, пять лет я был жертва. Ладно. Везде для меня полная хрень. Потом я иду к одна леди. Сильная леди.

Мюррей пытается понять.

- Какая еще, на хрен, леди?
- Здесь, в городе.

– Она тут довольно известная, – вставляет Ханс-Питер, – я думаю.

- Я слышу о ней, – говорит Дамьян. – Я иду. Иду к ней. Платил ей пять сотен кун ^[64]. И она помочь мне. Она убрать это от меня.

– А, чушь собачья. – Мюррей кривится в усмешке. – Пять сотен кун?

Дамьян, похоже, не настроен шутить на этот счет или хотя бы

мириться с таким отношением. Похоже, реакция Мюррея кажется ему неуважительной.

– Это недорого, – говорит он. – Чтобы убрать проклятие.

– Это не так уж много, – соглашается Ханс-Питер. – Пятьдесят евро?

– И кто же тебя проклял в таком случае? – Мюррей хочет знать.

– Кто меня проклял? – Дамьян пожимает плечами. Этот вопрос ему как будто малоинтересен. – Я не знаю. Это невозможно знать.

«Реал-Мадрид» забивает красивый гол.

– Ты правда веришь в это? – спрашивает Мюррей.

– Я верю в это, да. Я верю в это.

Дамьян заметил что-то интересное на экране и снова обращает на него все свое внимание.

– Покурим? – предлагает Ханс-Питер.

Они с Мюрреем стоят снаружи, под мокрым навесом. На площади темно и сыро. Фонтанчики не работают. Голуби сгрудились высоко на карнизах, над темными окнами. Кроме них здесь еще один курильщик, маленький вертлявый человечек с бородкой клинышком, завсегда тай «Джокера». Они с Мюрреем кивают друг другу.

– Это же хрень? – спрашивает Мюррей. – Или что?

Ханс-Питер сунул руки в карманы своих просторных джинсов, в которых множество оттенков, как будто их сшили из разных кусков денима. Сигарета свисает у него изо рта. Он пожимает плечами.

– Я не знаю, – говорит он. – Дамьян так не думает, я полагаю.

Странно как раз то, что именно Дамьян, а не кто-то другой, воспринимает такую хрень всерьез. Что откроется дальше – может, он еще и йогой занимается?

– То есть, – говорит Мюррей, – если по-честному...

– Может, стоит попробовать? – предлагает Ханс-Питер.

– Это же хрень? Или что?

– Это всего пять сотен кун.

– Всего пять сотен кун! Да к чертям!

– Вдруг она тебе поможет...

– По мне – что, заметно, что мне нужна помощь? – спрашивает Мюррей.

Ханс-Питер ничего не говорит.

– Абракадабра, мать твою. Она хотя бы по-английски говорит, эта женщина?

Воскресенье. Последнее, темное воскресенье октября. Даже дождь

прекратился. В такой день никуда не спрячешься. Улицы. Мюррей идет по улицам. Много дней он провел у себя в квартире, среди всех этих дагерротипов, этого антикварного барахла – в огромном гардеробе все еще висят отсыревшие платья старушки, кругом сумрачная деревянная резьба, моль ползает по старой ткани, поедая бархатную подкладку, тронутую плесенью. Мертвящая атмосфера заплесневелых, выцветших кружев.

На улицах кое-где встречаются люди. Слышны какие-то звуки. Он будет так бродить, пока не стемнеет, говорит он себе, просто бродить – пусть даже он стал замечать незнакомую раньше, пугающую скованность в суставах, которая усиливается вместе с сыростью. По утрам у него ломит руки. А на каменных ступенях дома, в тишине пустого лестничного колодца, его колени пронзает боль. Ему приходится остановиться на полпути. Прислониться к стене, отдышаться.

Кое-где встречаются прохожие. Воздух наполнен влагой. Деревья почернели от воды. Палая листва облепляет извилистые улицы около главной площади. Темные окна.

Он чувствует себя покинутым всеми. Он отмечает это неожиданно – это чувство полного одиночества.

И смотрит вниз, на мокрую листву под ногами.

Уже почти стемнело.

Он вынимает телефон и стоит с минуту. А потом делает то, чего еще никогда не делал. Он звонит Хансу-Питеру.

– Привет. Это ты? – Голос его звучит глухо под голыми деревьями. – Это я, Мюррей. Чем ты занимаешься? Не хочешь выпить? Совсем нет? Ладно. Ладно. Ну, увидимся.

Он прячет телефон.

Ханс-Питер сказал, что он сейчас с какими-то людьми. Что это за люди, Мюррей понятия не имеет. Однако сам факт того, что у Ханса-Питера есть теперь какая-то общественная жизнь, не говоря о женщине, только усиливает его одиночество.

Эти люди оказываются голландскими пенсионерами, их там полно. Они все местные, населяют целую деревню в нескольких километрах от города, и они, похоже, приняли Ханса-Питера за своего. Они как раз заканчивают обед, длившийся не один час, когда прибывает Мюррей. Все они уже порядком под хмельком, эти раскрасневшиеся голландцы, шумно говорящие что-то на своем языке и смеющиеся. И Ханс-Питер естественно влился в их веселую компанию. Мюррей устраивается в самом конце длинного стола, приткнувшись с краю, и никто не обращает на него внимания, даже Ханс-Питер.

Чем дольше Мюррей там сидит, тем яснее видит: веселье не скоро закончится. Официанты приносят все новые и новые подносы с напитками – так что он наклоняется к Хансу-Питеру и говорит:

– Слушай, я пойду, ладно?

Ханс-Питер как раз опрокинул рюмку сливовицы местного разлива. Глаза его увлажнились. Разгоряченное лицо покрыто капельками пота. И он даже не пытается уговорить своего друга остаться.

Он только спрашивает:

– Ты уверен?

– Ага, уверен, мать твою, – говорит Мюррей. Он просидел здесь уже час, ни с кем не обменявшись ни единым словом. – Все равно, – продолжает он, – завтра мне надо в Осиек.

– В Осиек? Зачем?

– Посмотреть на микроавтобусы. Ну, ты знаешь.

В течение нескольких месяцев Мюррей то и дело говорил Хансу-Питеру о своем капиталовложении, о том, что транспортный сектор в этой части Хорватии недоразвит, о возможностях, которые это открывает такому человеку, как он.

– С Благо, – добавляет он.

Ханс-Питер, похоже, удивлен:

– С Благо?

– Ага, с Благо, – говорит Мюррей и, видя странное выражение на лице Ханса-Питера, спрашивает: – А что? Что такого?

– Ничего, – говорит Ханс-Питер. – Я просто думал, что Благо уехал в Германию.

Пьяные голландцы затянули хором шумную песню.

– О чем ты говоришь?

– Кто-то сказал мне... Я думаю, Благо в Германии или где-то еще. Получил там работу.

– Ты сам не знаешь, о чем говоришь, – убеждает его Мюррей. – Мы с ним завтра едем в Осиек. Нам нужно посмотреть микроавтобусы.

– Хорошо, – кивает Ханс-Питер, поворачиваясь к своим пожилым развеселым друзьям. – Просто я слышал, что он в Германии.

– Кто это тебе сказал? – едва не кричит Мюррей, заглушаемый нестройным хором.

– Кто-то сказал. Я не помню. Мне сказали, у него там работа. Он не вернется. Так мне сказали. Я не знаю.

Ханса-Питера зовут присоединиться к общему хору, и он присоединяется, в своей застенчивой манере.

Стоя на улице, на влажном ночном воздухе, Мюррей набирает номер Благо. Даже не голосовая почта – звучит женский голос, что-то по-хорватски. Он снова набирает номер. То же самое. То же сообщение. Номер не существует. Или что-то в этом роде.

Глава 6

Она не говорит по-английски. Но ее дочь говорит и переводит. Что-то с ней не так, с ее дочерью. Она плохо ходит. Слова произносит невнятно. И вообще выглядит странно. Сложно сказать, сколько ей лет. Может, двадцать?

Ее мать – Влетка, так, сказали Мюррею, ее зовут, – велит ему садиться. – Пожалуйста, садитесь. – Дочь мило улыбается.

У нее на редкость приятная улыбка. Под прядями прямых черных волос видна розовая кожа головы.

Мюррей неловко опускается на зеленый бархатный диван.

Свет в комнате какой-то мертвящий. Единственный его источник – окно, наполовину занавешенное желтоватым тюлем, за которым виднеется белье, развешенное на балконе.

В другом конце комнаты стоит бархатный диван, на котором и сидит Мюррей, лицом к окну, чувствует он себя словно в ловушке. Его ноги едва касаются коричневого ковра на полу, а мебель и всяческие безделушки нависают над ним со всех сторон. Потолок низкий, давящий. Вдоль одной стены тянется большой буфет. Мюррей ловит свое отражение в выпуклом зеркале, жутко искаженное. Влетка зажигает свечи. Дочь улыбается ему со своего места, за столиком у стены напротив серванта. Рядом с ее крупной головой висит гобелен с плачущим Иисусом. И полка с фарфоровыми собачками.

Влетка, зажигая свечи, что-то раздраженно произносит.

Дочь переводит, улыбаясь:

– Не хотите чаю?

– Нет, не нужно, – говорит Мюррей пересохшими губами, неуверенно поглаживая рукой мягкий бархат.

Он с трудом нашел это место. Он плохо знает эту часть города и, проехав на такси двадцать минут, оказался в совершенно другом мире: выгоревшие на солнце особняки, импозантные и строгие сооружения, отделенные одно от другого припаркованными машинами и мрачными парками. Между тоскливыми деревьями проложены мощные дорожки, детские площадки как будто давно заброшены, электростанция оплетена гирляндой из колючей проволоки. Каждое здание снабжено каким-нибудь именем – одного из известных хорватов. Мюррею был нужен дом Фауста Вранчича, номер одиннадцать.

Он набрал две единицы на домофоне и подождал, слушая электрическое потрескивание. Затем прозвучало по-хорватски:

– Да?

– Это Мюррей, – сказал он. – Я пришел к... Влетке?

Снова свистящий голос:

– Tko je to?^[65]

– Мюррей, – повторил Мюррей погромче. – Я пришел к Влетке. Мюррей.

Раздался неприятный электрический писк, замок щелкнул, и тяжелая металлическая дверь с небьющимся стеклом приоткрылась. Мюррей вошел.

Едкий запах лестничной клетки.

Он чуть не наложил в штаны.

И вот Влетка сидит перед ним на диване. Она в домашнем халате. Солидная, хмурая женщина – такой она видится Мюррею. Вроде кассирши, продающей билеты на поезд до Загреба, хмурясь на тебя из-за стекла с дырочками, пока ты пытаешься объяснить ей, что тебе нужно, а очередь между тем напирает. Короткая стрижка. Золотые капельки в ушах. Несвежее, прокуренное дыхание.

Она говорит ему что-то повелительно своим резким голосом.

– Она говорит, вам надо расслабиться, – переводит дочь.

На губах у Мюррея застывает неестественная улыбка. Гримаса страха. Она берет его руку в свои.

Он почему-то боится, что сейчас она скажет ему раздеться.

Но это не так. Она лишь пристально смотрит ему в глаза, что еще хуже. Глаза у нее серо-карие. Ресницы короткие, какие-то не женские. Брови отсутствуют.

Едва Мюррей отводит взгляд, как она выкрикивает что-то.

– Пожалуйста, вы должны смотреть ей в глаза, – просит дочь, уже помягче.

Мюррей слушается.

Ох уж эти *хреновы* глаза. Этот взгляд неимоверно подавляет его, словно какой-то жуткий звук, который звучит и звучит, словно пронзительный металлический скрежет...

Она продолжает держать его руку, всю мокрую от пота.

Ее взгляд несколько смягчается. Она что-то произносит. Голос ее звучит сухо и отстраненно.

– Она говорит, вы в очень плохой ситуации, – переводит дочь.

Мюррей, не отводя взгляда, хотя у него начинает болеть голова,

бросает:

– Да ну?

В комнате жарко. Он потеет. И дело не только в температуре воздуха. Он чувствует, как в его сознание что-то вторгается, словно скальпель.

Дочь переводит отрывисто брошенное указание:

– Закройте глаза, пожалуйста.

Он подчиняется.

И чувствует сильную руку на своем лице. Все это настолько нереально, что кажется чем-то вполне естественным.

– Это что – какое-то проклятие? – спрашивает Мюррей, чувствуя себя с закрытыми глазами спокойнее.

Дочь переводит. Влетка отвечает.

– Она не знает, что это, – говорит дочь. – Просто вы в очень, очень плохой ситуации.

– Что она имеет в виду? – Мюррей не открывает глаз.

Влетка обхватила рукой его лоб и сильно сжимает, что-то говоря при этом. Дочь переводит его вопрос.

Мать отвечает раздраженно, сжимая череп Мюррея еще сильнее. Они обмениваются парой фраз на хорватском, и дочь, наконец, сообщает по-английски:

– Она говорит, это как яд.

А тем временем узловатые пальцы Влетки все сильнее сжимают голову Мюррея.

– Яд? Что это значит? – спрашивает он.

Влетка громко шикает на него.

Ее дочь просит вежливо:

– Пожалуйста, не разговаривайте.

Пальцы Влетки причиняют нешуточную боль. Как будто его голову сжимают в металлических тисках.

Внезапно хватка ослабевает.

Открыв глаза от неожиданности, он успевает увидеть летящую к его лицу ладонь.

Он испытывает шок от пощечины. Затем по лицу разливается тепло.

– Это что за хрень? – кричит он, прикладывает руку к горячей щеке.

Влетка сердито говорит ему что-то на своем языке. Ее рука снова у него на лбу, снова сжимает голову, крепко удерживая ее.

И снова отвешивает пощечину.

– *Прекратите* это! – вопит Мюррей, пытаясь встать.

Она хватает его за руку, пока он еще не поднялся, и толкает назад на

диван.

- Ш-ш-ш, – говорит она, словно малому ребенку, поглаживая по лицу.
- Прекратите это, – повторяет Мюррей.
- Ш-ш. *Zatvorite oci*, – говорит Влетка.
- Пожалуйста, закройте глаза, – переводит дочь.
- Она опять будет бить меня?
- Пожалуйста, – мягко просит молодая женщина, – закройте глаза.

Влетка тем временем поглаживает лицо Мюррея, и ему приятно. Он закрывает глаза. Теперь она говорит мягким голосом, держа его руку. Напевает что-то, продолжая держать его руку, поглаживая ее. Пение обрывается. Он чувствует, как она двигается, вставая с дивана. Он открывает глаза и видит, что она стоит и гасит свечи.

- Так мы закончили? – спрашивает он.

Дочь переводит.

Влетка качает головой. Она что-то говорит и показывает на столик, за которым сидит ее дочь.

- Пожалуйста, садитесь сюда.
- Что тут происходит? – говорит Мюррей.

Влетка снова просит его сесть за стол. И он садится, напротив ее дочери. Тогда Влетка тоже присаживается к ним, вынув что-то из буфета. Колода карт.

Она сидит за столиком лицом к стене, перед гобеленом с театрально плачущим Иисусом. Слева от нее сидит, улыбаясь, дочь. Расположившийся по другую сторону Мюррей интересуется, нельзя ли закурить.

Можно.

Он закуривает, пока Влетка тасует карты.

Сама она тоже курит, дешевая сигарета прилипла к губе, что в сочетании с халатом придает ей сходство с бандершей, а ее руки умело тасуют старую колоду. Воздух в комнате, и так серый и тусклый, скоро наполняется голубыми разводами сигаретного дыма.

Она кладет колоду лицом вниз на стол. Затем одним отработанным движением разворачивает ее идеально симметричным веером.

Дочь, как обычно, переводит ее указание:

- Пожалуйста, возьмите одну.

Мюррей бросает взгляд на Влетку. Она смотрит в другую сторону, устало затягиваясь чинариком, ожидая, пока он возьмет карту. Его рука тянется к центру стола. Зависает на секунду над карточным веером, затем его указательный палец прижимает одну карту и вынимает ее. Влетка поспешно берет ее и смотрит.

– *Prošlosti*, – говорит она, кладя ее на столик лицом вверх.

– Прошное, – переводит дочь.

На карте изображен сидящий мужчина – подавшись вперед, он держит в руках большую монету. На голове у него тоже монета и еще что-то, напоминающее незатейливую корону, ноги же его также стоят на двух монетах. Поза сгорбленная, напряженная, оборонительная. Он смотрит прямо вперед с угрюмым выражением. В его чертах угадывается усталость. Налитые кровью глаза, не ведающие сна. Позади него, на некотором расстоянии, лежит город.

– Пожалуйста, – переводит дочь, улыбаясь Мюррею через стол, показывая большие желтые зубы, – возьмите еще одну.

Мюррей берет.

Когда он вытягивает карту из веера, Влетка переворачивает ее и говорит:

– *Prisutna*.

– Настоящее.

Башня на фоне черного неба. Верхушку башни поражает большой зигзаг молнии, сбрасывая с верхушки корону. Над башней вьются языки пламени. Две фигуры падают в темное небо, словно сброшенные взрывом с башни, такой прочной на вид. Их лица полны ужаса. Один из них в короне.

Дочь говорит Мюррею взять еще одну карту.

Он кладет сигарету на край пепельницы и берет третью карту.

Влетка кладет ее рядом с первыми двумя и говорит:

– *Budućnost*.

– Будущее.

Мюррей, снова взяв сигарету, смотрит на три карты.

Парень с монетами.

Пораженная молнией башня.

Старик с лампой.

На последней карте изображена элегантная фигура в монашеском одеянии. С капюшоном. И белой бородой. В одной руке человек держит зажженную лампу, в другой – длинный посох. Голова склонена, глаза как будто прикрыты, несмотря на лампу в руке, словно освещающую что-то. Задний фон напоминает заснеженную пустошь. Так или иначе там ничего нет.

Влетка изучает карты минуту, докуривая. Затем, раздумывая, она гасит окурок несколькими мягкими движениями. Она кажется уставшей. Показывая на первую карту, она говорит:

– *Ovo je tvoja prošlost.*

– Это твое прошлое, – переводит Мюррею дочь.

Он сидит, сплетя руки перед собой на столике, опустив плечи. На него навалилась усталость.

– Да? – произносит он.

Продолжая показывать на первую карту, Влетка начинает что-то говорить. Это звучит как некий перечень. Дочь переводит, ее слова смешиваются со словами матери.

– Материализм, – говорит она, – накопление материальной собственности, интерес только к благосостоянию, власти, положению, получению выгоды и удержанию того, что имеешь, стяжательство, зависть, желание повелевать, отрицание слабостей. – Она улыбается Мюррею. Она все время улыбается, несмотря на то, что у нее выпали почти все волосы, речь невнятная и замедленная, и она не может пройти даже двух шагов. – Это ваше прошлое, – повторяет она.

– Как скажете, – говорит Мюррей с долей сарказма.

Он начинает жевать губами, боязливо переводит взгляд от одной женщины к другой.

Влетка держит палец над пораженной молнией башней с летящими вниз жертвами, и палец напоминает дрожащий фаллос, выплевывающий огонь. Теперь она говорит Мюррею о его настоящем.

– Это ваше настоящее, – переводит дочь. – Переворот, волнения, сорванные планы, беспорядок, смиренная гордость, унижение, даже насилие...

Мюррей морщится, расплетает пальцы и ищет сигареты.

Дочь говорит своим слабым голосом:

– Разрушение жизненного уклада. Воздействие вещей, над которыми вы не властны. Окончательное завершение... части вашей жизни. Это ваше настоящее.

Мюррей прикуривает от настольной зажигалки – сувенира с македонского курорта или какого-нибудь места паломничества.

Палец Влетки перемещается к последней карте.

– Это ваше будущее, – говорит ее дочь.

И Влетка произносит сурово:

– *Ne – to može biti vaša budućnost.*

– Это *может* быть вашим будущим.

– *Moguća budućnost.*

– Возможное будущее.

– *Moguće*, – подчеркивает Влетка.

– Это возможно.

Влетка произносит последний перечень пророчеств, а ее дочь говорит по-английски, все так же бессмысленно улыбаясь:

– Уединение, самокопание, спокойствие, тишина, затворничество, уход от мира, молчание, повиновение, медитация...

«Чудесно, черт побери», – думает Мюррей.

– Вот оно, значит? – спрашивает он.

– Вот оно, – говорит дочь, улыбаясь ему.

Он берет куртку. Дочь, опираясь на Влетку и свою палку, ковыляет из комнаты в своем вязаном старушечьем платке. Похоже, одна ее нога короче другой на шесть дюймов, думает Мюррей украдкой и докуривает сигарету за столиком.

Карты все еще лежат там.

Он не смотрит на них.

Но в любом случае, то, что она сказала о его настоящем, недалеко от правды.

Хотя какого хрена? Она не могла *не знать*, что он влип в неприятности, иначе бы не пришел к ней.

А его прошлое?

Он сильно затягивается, и пепел с сигареты осыпается – дешевый табак.

А, чушь.

Такое у каждого в прошлом. Мы все считаем себя особенными – но все мы, на хрен, одинаковые.

Вот так они и действуют, эти гадалки.

Пят сотен кун. К чертям собачьим.

Он надевает куртку, собираясь уходить, когда снова видит двух женщин. В руках у дочери тарелка с печеньями клейкого вида.

Мюррей как раз просовывает руки в рукава – куртка у него отличная: с капюшоном, эластичными запястьями, множеством карманов.

– Хотели бы печенья? – говорит она, улыбаясь как обычно.

Секунду он смотрит на эти штуковины на тарелке – клецки, покрытые сахарной глазурью. Неправильной формы, грустно смотреть.

– Печенье? Э-э... Ну, ладно. Спасибо.

Он берет одно. Они смотрят, как он после секундного колебания подносит его ко рту. В другой его руке дымится сигарета. Он кладет печенье в рот. Первое, что он отмечает: от него болят зубы. Очень. Просто невероятно, как сильно болят. Острые иглы боли пронзают его челюсть, до

самого черепа. Он старается не морщиться от боли, пока пережевывает печенье. У теста странная текстура – оно как будто тает у него во рту, становится почти жижей. На вкус это сахар с чем-то, чем-то гнилостным. Обе женщины продолжают смотреть на него. Дочь все так же улыбается, пушок над верхней губой, нижняя губа блестит. Он пытается улыбнуться ей в ответ, проглатывая печенье, чувствуя, как движется его кадык.

– Мило, – говорит он. – Спасибо.

Она подносит к нему тарелку, предлагая снова взять печенье.

– Нет. Спасибо, – отказывается он. – Нет.

Его проводят через темную, узкую прихожую – мимо висящих пальто и шляп, и зеркала, ничего не говорящего ему, – и вот он снова на лестнице.

Дверь квартиры закрывается, он спускается по ступенькам, не желая заходить в загаженный лифт. Цементные ступени поблескивают в темноте, отполированные за десятилетия подошвами, так что кажутся влажными, хотя это не так. На каждой площадке лежит квадрат света из окна, а на подоконнике стоят растения – жесткие листья, мертвые листья, сухая земля. В самом низу расположены металлические почтовые ящики с маленькими табличками с именами жильцов. На полу металлический набор для чистки обуви. Надписи на стенах, уйма рекламных рассылок. Тяжелая дверь с двумя панелями безопасного стекла, на нижнем расплзается паутина трещин.

Он останавливается перед дверью.

И просто стоит там какое-то время, в тусклом свете дня.

В воздухе над радиатором колышутся клочья паутины. Он смотрит на них, плывущих по волнам нагретого воздуха. Все совершенно неподвижно, кроме этих клочьев паутины.

Он стоит там, глядя на них.

Он какое-то время продолжает стоять там, глядя на колыхание паутины, странным образом захваченный этим движением.

Затем он открывает тяжелую дверь и слышит скрип петель.

Он выходит из дома, обратно в большой мир.

Глава 7

Дорога до моря занимает два с половиной часа. Сначала равнина, потом известковые холмы, потом горы. Редкая растительность. Шоссе, идущее от Загреба, пустое. Сейчас утро среды в начале ноября – возможно, в этом дело. И вот Ханс-Питер включает дворники – в медленном, монотонном режиме. Вжик, стоп, вжик, стоп. С легким скрипом по стеклу. В начале пути морозящий дождик размывает очертания фермерских хозяйств на равнинах. Дворники работают – вжик, стоп. Вдоль дороги тянутся заброшенные деревни. Темные поля пожнивных или пахотных земель. Ландшафт становится слегка холмистым – больше о нем нечего сказать.

На переднем сиденье рядом с Хансом-Питером сидит Мария.

Мюррей видит, как она жует жевательную резинку и безразлично смотрит на серый пейзаж.

Сейчас он уже рад тому, что она с Хансом-Питером, а не с ним. По крайней мере, за нее у него голова не болит. Он смотрит из окна в другую сторону. Они проезжают через какую-то жуткую деревню, просто какой-то кошмар. Одноэтажные дома выстроились вдоль дороги, на маленьких участках за заборами. Потом он видит какой-то паб – на вывеске эмблема пива «Пан» и надпись «Пицца». Вот она, деревня, без прикрас. Вот такая здесь жизнь. Мюррей смотрит на дома, редющие по мере приближения к окраине. И вот снова потянулась пустошь.

И вдруг наступает момент, когда ты думаешь: «Зачем притворяться? В чем смысл? Кого ты хочешь обмануть?»

Кого ты хочешь обмануть? Себя?

Так в чем же смысл?

Нет никакого смысла.

Какая разница в любом случае?

Нас всех ожидает одно и то же.

На переднем сиденье разговаривают Ханс-Питер и Мария. Очень тихо, чтобы он не разобрал за шумом двигателя, и колес, и ветра, о чем именно. Его удивило их приглашение. Прошлым вечером, когда он был в «Джокере» и говорил с Матвеем о футболе, к нему подошел Ханс-Питер в своем коротком пальто с капюшоном и заказал белого вина. Не преминул вставить пару слов про футбол – брякнул какую-то чушь.

А затем обратился к нему:

– Мы думаем поехать к морю завтра. Хочешь с нами?

Они сидели на высоких табуретах, глядя на полки с алкоголем и открытками, присланными разными людьми за многие годы и приколотыми к стене Матвеем. Не так уж много, не больше десяти.

Мюррей спросил:

– А погода не слишком дерьмовая для поездки?

Ханс-Питер глотнул вина, как-то робко и быстро.

– Завтра должно разгуляться, – сказал он. – Так говорят.

Мюррей пожал плечами:

– Ну, ладно. Если Мария не против.

– Это ее идея, – сказал Ханс-Питер.

Это ее идея.

Что это значит?

В глубине души Мюррей думал, это значит, что он нравится ей и нравился все это время.

Но это ведь не так, если по-честному?

На самом деле она просто испытывала к нему жалость. И всякий раз, когда она с Хансом-Питером говорила о нем, они жалели его.

Им уже было известно о том, как надул его Благо. Он, похоже, действительно был в Германии. Вместе с деньгами Мюррея. Так или иначе пропали и деньги, и Благо. Ханс-Питер советовал обратиться в полицию и все там рассказать. Но Мюррей не мог решиться на это. Ведь в полиции уже знали его после того случая в ирландском пабе. И ему совсем не хотелось напоминать о себе, вот и все.

Дождь усиливается.

Ханс-Питер увеличивает скорость дворников.

Вот вам и прогноз погоды.

Мария обращается к Хансу-Питеру с таким же замечанием. У нее угри вокруг рта. Родинка на носу. И он в восторге от нее, думает Мюррей.

Выехав на шоссе, они должны ехать еще полтора часа. Мюррей клует носом. А когда просыпается, видит известняковые холмы. А затем море, свинцовые воды поблескивают. Они паркуются на общественной стоянке – сейчас там свободно – и находят заведение, где можно пообедать. Мюррей заказывает ассорти из жареного мяса с местным сладковатым соусом из красного перца. Бокал местной бормотухи. На улице ветер с дождем. Мария держится с ним вежливо. Она говорит больше всех. Ханс-Питер в основном молчит. Ковыряет вилкой запеченную рыбу, отделяя мясо от костей, и почти не поднимает глаз. Ленивое молчание человека, довольного жизнью, позволяющего своей второй половинке развлекать гостя. Только

иногда поправляет ее в чем-нибудь. Она носит кольца почти на всех пальцах. Синие тени на веках. Она убеждает Мюррея обратиться в полицию – они никак не закроют эту тему. Уже целую неделю. Но он даже не назвал им сумму, которую забрал у него Благо. Он не хочет говорить об этом. Он хочет это забыть. Но она, конечно же, желает ему помочь. Это надо понимать.

– К чему все это? – спрашивает он. – Его не найдут.

Но она неуклонна:

– *Откуда* вам знать?

Ей просто нравится драматизм этой ситуации, думает он. Это хотя бы что-то – хотя бы *что-то* необычное произошло.

– Вы не можете позволить ему уйти вот так! – настаивает она.

– Мне не следовало доверять ему, – говорит ей Мюррей, чувствуя воздействие вина. – Я был идиотом. И точка.

Снаружи дождь усиливается.

Мюррей и Мария пьют горящую самбуку.

Я был идиотом. И точка. Напишите это, мать вашу, на моей могиле, думает Мюррей, когда они выходят и направляются к морю – вниз по ступенькам и дальше под дождем. Он немного отстает. Ханс-Питер и Мария идут впереди, держась за руки. «Флор Флорихе не думает лиха. Флор Флорихе набитый друг». Вот как они смотрятся, эти двое, – Флор и Флориха.

Нет, он – парень что надо, Ханс-Питер, застенчивый голландец в коротком пальто с капюшоном.

И она – что надо, ковыляет с ним вразвалку.

Так или иначе они его единственные друзья.

Я был идиотом. И точка.

Пляжей как таковых здесь нет. Просто дорожки вдоль берега, извилистые мощеные дорожки, над которыми качаются ветви старых сосен. Сухие пятна брусчатки под соснами. По одну сторону от них стоят бывшие виллы австро-венгерской аристократии, теперь – отели. По другую сторону – крутые ступени или даже лестницы сбегают к галечному берегу с пустыми террасами и маленькими гаванями. Плещется море. Волны бьются о покрытые мхом стены. Скрипят дамбы.

Он целует ее. Ханс-Питер целует Марию, наклоняясь к ней, их головы скрывает воротник его пальто.

Они впереди Мюррея, примерно в пятнадцати метрах. Похоже, они совсем забыли о нем. Мюррей останавливается, чтобы не смущать их, и поворачивается к морю.

Натянув на голову капюшон, он погружается в раздумья, точно герой-одиночка, положив руки на металлические перила, идущие вдоль дорожки, глаза его наполняются влагой, взгляд устремляется к далекому острову. Где-то там, над обдуваемым ветром заливом, это не более чем темный штрих на горизонте.

А немного ближе, примерно посередине, видна яхта. Здоровая хреновина – скорее, даже корабль. Сколько там палуб? Четыре? Пять? И наверное, под сотню метров в длину. Судно чуть заметно покачивается на волнах.

И только посмотрите! Посмотрите, как солнечный луч пробивается между облаками! Как он выбеливает море. Внезапные островки слепяще-белого. Яхта делается черной, вокруг нее сверкают волны. Внезапные островки слепяще-белого. И Мюррей, глядя на это, испытывает незнакомую эйфорию. Внезапные островки слепяще-белого. Затем они тают. Темное море.

Влажный ветер в лицо.

Он поворачивает голову в капюшоне, видит влюбленных, обнимающихся впереди, под искривленной ветром сосной.

К чертям все это.

Его глаза снова находят суперяхту.

И ее тоже к чертям.

Ох, сколько же всего к чертям...

Часть 8

Глава 1

Вчера. После полудня он покинул дом на Лоундес-сквер, большой дом, все еще не стряхнувший с себя шок произошедшего. За окном «Майбаха» проплывает Челси. Слоун-стрит со своими знакомыми магазинами: «Эрме», «Эрменеджильдо Дзенья». Чейни-уок. В четыре часа движение плотное. Темный ноябрьский день. Отлив, Темза, обнажившийся берег. Тот самый парк, на другой стороне, на южной. Затем маленькие улицы и вертолетная площадка. Обдуваемая ветром платформа над водой. Броский, отделанный кожей грузовой отсек «Сикорского». Они собирались лететь вверх по реке, над западными районами Лондона. Когда вертолет развернулся и по воде пошла рябь из-под корпуса, он оглянулся на Лондон, который несколько лет считал своим домом. А затем город отдалился, превратившись во что-то чисто условное, монохромный чертеж, раскинувшийся в послеполуденном свете поздней осени. Больше он никогда его не увидит.

Он принял это решение, стоя у окна в доме на Лоундес-сквер и глядя на площадь. Решение прыгнуть в море. Утопиться. Это казалось в своем роде правильным решением.

Аэропорт Файнборо.

Двухчасовой рейс на Венецию.

Из аэропорта в Венеции его забрал заказанный лимузин.

Сама Венеция окутана тьмой и дождем. Именно здесь, где-то на другой стороне водной глади, стоит ржавеющий памятник потерянному благосостоянию, потерянной власти.

Жесткий, высокий свет доков. Гудение насоса, качающего топливо на яхту. Запах нефти. Кто-то держит зонтик.

И Энцо, старший помощник, приветствует его в конце мокрой от дождя ковровой дорожки:

– Добро пожаловать на борт, сэр.

Энцо сказал ему, что они будут в полной готовности через полчаса, и поинтересовался, куда они направятся.

Заминка. Он как-то не подумал об этом. Ему ведь было все равно.

– Э... – протянул он. – На Корфу.

Энцо кивнул, улыбнулся. И тогда его спросил Марк, старший стюард:

– Сэр будет ужинать сегодня вечером?

– Только перекушу, – сказал он ему. – Благодарю.

Чуть позже доставили еду и полбутылки «Барбареско». К еде он не притронулся. Но выпил бокал «Барбареско». Оно было из его поместья, его собственности, которую он приобрел несколько лет назад. По внезапному порыву души. Он побывал там лишь однажды. Ему с трудом удастся представить это место. Они пролетали над ним на вертолете, он и прежний владелец, пьемонтский или савойский аристократ, моложавый человек, который показывал ему разные объекты, крича что-то в шуме двигателя...

Тишина.

Он лежал на кровати в ожидании, когда яхта начнет движение. Он не собирался засыпать. Он собирался прыгнуть в море. Он собирался утопиться. Тем не менее впервые за множество дней, он взял и заснул.

Глава 2

Утром яхта стоит на якоре в паре километров от побережья Хорватии. Позвонил Энцо и сообщил о шторме в Адриатике. Он извинился за задержку и сказал, что они продолжают плавание, скорее всего, после полудня, когда шторм на море утихнет.

В прибрежной зоне, где пришвартована яхта, погода ветреная, неприятная. Временами идет дождь.

Через некоторое время Марк предлагает высадиться на берег и посетить прибрежный городок, который виден с палубы. Но он отклоняет это предложение.

Вместо этого он сидит у себя в маленькой столовой и ковыряет обед – за столом, рассчитанным на восемь персон, на средней палубе.

Он чувствует себя самозванцем в мире живых, по-прежнему в той же одежде, в какой он заснул, и так же пахнет многодневным, застоялым парфюмом «Картье паша».

Когда он проснулся этим утром, из окон просачивался серый свет. Подняв голову, он какое-то время в недоумении смотрел на него. Затем пришло понимание. Еще один день.

Это нужно сделать ночью. Тогда никто не заметит, никто не попытается спасти его. Никто не заметит – просто утром обнаружат, что его нет в комнате, а кругом будет только непроницаемое море. И долгие, растворяющиеся в морской глади волны за кормой^[66].

Он разменял седьмой десяток, отрастил живот. У него жесткое, симпатичное лицо. Волос почти не осталось. Черная шелковая рубашка с необыкновенно большим воротником. Белые кожаные туфли.

Море синее, точно кремь, холодное и безжалостное. Порывистый дождь налетает на высокие окна приватной столовой, а за беспокойными серыми водами на берегу лежит хорватский городок. Над ним нависают скалистые холмы, задевающие за облака.

Он откладывает вилку и вызывает Марка. Он спрашивает сигару, и Марк приносит ему коробку.

После этого Марк спрашивает, не желает ли он дижестива. Он качает головой.

– Тогда я могу быть свободен, сэр? – спрашивает Марк.

Марк родом из Сандерленда.

– Да. Спасибо.

Марк уходит с нагруженным подносом. Несколько минут спустя он так и не закурил сигару.

Он выходит на палубу и стоит там, глядя на морскую поверхность, которая движется в плавном, тяжелом ритме.

Плавном и тяжелом. Тяжелые формы ловят свет и снова теряют его в своем движении.

Тяжелые, тяжелее всего на свете.

Тяжелые.

И он думает, почти загипнотизированный этими тяжелыми формами, ловящими и теряющими свет: *Сколько весит море?* И его логический ум работает дальше: *Каков объем моря?* А затем: *Какова средняя глубина? Какова площадь его поверхности?* Должно быть, думает он, эти две цифры легко узнать – и тогда он получит ответ, ведь объем воды – это и ее вес.

Он заходит внутрь, отгораживаясь от ветра, и вызывает Марка.

Увидев стюарда, говорит:

– Марк, я хочу, чтобы ты выяснил для меня кое-что.

– Да, сэр.

– Какова средняя глубина моря.

– Да, сэр, – говорит Марк.

– И какова площадь поверхности.

– Поверхность моря, сэр?

– Да.

– Что-нибудь еще, сэр?

– Нет.

– Я узнаю это для вас, сэр.

– Спасибо, Марк.

Оставшись один, он ждет с нетерпением этих цифр, и сидя за столом наконец закуривает сигару. Несколько минут спустя он слышит легкий стук в дверь.

– Да.

– У меня есть эта информация для вас, сэр, – говорит Марк.

– Да?

– Средняя глубина – три тысячи шестьсот восемьдесят два метра, – говорит Марк.

– Так глубоко? – бормочет он и записывает. – Ясно.

– А площадь поверхности – триста шестьдесят один миллион квадратных километров.

– Вы уверены?

Марк колеблется. Он загуглил этот вопрос. Однако его наниматель

лишь смутно представляет, что такое «Гугл», и, наверное, думает, что Марк в течение этих минут обзванивал экспертов-океанологов из ведущих университетов мира – и все эти люди были рады отвлечься от работы, чтобы помочь ему в столь важном деле.

– Я дважды проверял, сэр, – говорит Марк с сомнением в голосе.

– Хорошо. На текущий момент все хорошо.

– Вам нужно что-нибудь еще, сэр?

– Не сейчас. Спасибо.

– Да, сэр, – говорит Марк и уходит.

Он снова с увлечением принимается за вычисления – на бумаге, как его научили когда-то в советском ПТУ.

Площадь поверхности выражается в квадратных километрах, так что первым делом нужно перевести это в квадратные метры: один квадратный километр составляет... составляет один *миллион* квадратных метров...

И *эту цифру* надо умножить на среднюю глубину... Нужно будет написать много нулей. Итоговая величина будет эквивалентна... Эквивалентна весу в метрических тоннах.

1 329 202 000 000 000 000 тонн.

Одна и три десятых миллионов *триллионов* тонн. Успех! Вес моря найден. Он отбрасывает ручку и дымит сигарой с ощущением победы. Выпускает дым из ноздрей. И тогда другие вопросы начинают беспокоить его. Море – это соленая вода: а не влияет ли *это* на вес? И как насчет давления? Играет ли роль сила давления на больших глубинах? Не весит ли кубический метр воды под огромным давлением глубин *больше*, чем, к примеру, одна метрическая тонна?

Что ж, значит, Марку придется найти ответы и на эти вопросы, пока его работодатель будет докуривать сигару, склонившись над своим отражением в полированной поверхности стола.

На этот раз Марк отсутствует дольше. Проходит почти полчаса, прежде чем раздается стук в дверь. И он понимает, слушая, как Марк сообщает ему о факторах, определяющих вес соленой воды, что этот предмет ему больше не интересен.

Особенно запутанным оказывается вопрос о влиянии давления на массу воды, он теряет внимание и перестает слушать. Он просто сидит на месте, рассматривая окурок сигары. Мягкий голос Марка, свойственный уроженцам Ньюкасла, продолжает звучать. Затем смолкает.

Надолго повисает тишина.

– Сэр? – говорит Марк.

Его как будто выдернули из сна.

- Да?
- Это все, сэр?
- Да. Спасибо.
- Вам спасибо, сэр.

Ранний вечер. Спаренные дизельные двигатели заработали, и яхта длиной сто сорок метров снова пришла в движение. На открытом море еще лежит свет. Резкий поздний свет на отдельных темных волнах. Отдаленный берег медленно пропадает из виду. Растворяется в ранних сумерках, и его уже почти не различить, не считая огоньков, крохотных беззвучных огоньков прибрежного городка.

Энцо в своей аккуратной белой форме лично сообщает прогноз погоды – «как по писаному» – и говорит, что они прибудут в Керкиру утром, около десяти часов. Не желает ли сэр сойти на берег? Не подготовить ли все необходимое?

– Нет.

А куда направятся после Корфу?

– Я не знаю.

Энцо тактично кивает. И ждет секунду или две – иногда его наниматель, если он один, как сейчас, приглашает своего мальтийского старпома в это время пропустить стаканчик за компанию. Они пьют виски и беседуют о кораблях, о море. Иногда он спрашивает Энцо о его прежней жизни в должности капитана нефтяного танкера или читает ему лекции о политике, экономике, о положении дел в мире. Но не сегодня. Сегодня у него нет настроения поболтать.

Он говорит Марку, что поужинает у себя.

Марк спрашивает, что он будет есть.

Он только пожимает плечами и просит, чтобы повар приготовил ему что-нибудь по своему усмотрению.

Часом позже Марк доставляет ему поднос, на котором находится суфле лобстера, *filet mignon*^[67] с запеченными зимними овощами и маленький *tarte tatin*^[68]. А также полбутылки шампанского и еще одна «Шато Тротануа 2001».

За последние сутки он почти не ел, и теперь чувствует голод – какую-то глухую пустоту внутри себя. Он съедает суфле и стейк с овощами. *Tarte tatin* он не трогает. И выпивает немного «Тротануа», но не шампанского.

За окнами уже темно, совершенно темно. Только огни яхты слабо освечивают на воде.

Туда, в темную воду.

В эти бесчувственные глубины.

А вообще-то, как нужно прыгать за борт судна такого размера? Он стоит на балконе за порогом своей комнаты, комнаты владельца, почти на самом верху яхты – лицом к корме, а ветер сейчас несильный, – и смотрит вниз, на другую палубу, гораздо более просторную, с плавательным бассейном. А ниже еще более просторная палуба – он видит только ее малую часть со своего места, – там могут разместиться восемьдесят человек, чтобы есть за столами или танцевать.

Там сейчас кто-то есть, на нижней палубе, где когда-то проходили вечеринки, как раз на той части, которую он видит. Кто-то расхаживает туда-сюда и курит сигарету. Маленькая фигура в темноте. Он не знает, кто это. На яхте несколько десятков человек. Он не знает их всех в лицо. Есть Энцо и его команда. Повар со своими людьми. Еще Марк и его помощники-стюарды. Технические специалисты, следящие за бассейном и другими объектами досуга, за системой электропитания и подлодкой-малюткой. На палубах всегда толчется обслуживающий персонал. Хотя бы Пьер и Мадис, бывшие солдаты, со своим оружием. Возможно, это Пьер там курит. Да, наверное, это Пьер стоит там внизу и смотрит на волны за кормой, растворяющиеся в море.

В темноте, с высоты, где он стоит, на вершине яхты, они едва видны, волны за кормой.

Фосфоресцируют во тьме.

Дразнят, едва различимые.

Оттуда, где он стоит, до поверхности моря должно быть не меньше двадцати пяти метров. Он не утонет – он умрет от удара, вероятно, об одну из нижних палуб. А это совсем не то, чего он хотел.

Он не продумал как следует все детали этого дела.

И с каждой проходящей минутой кажется все менее вероятным, что он сумеет выполнить задуманное.

Он представляет себя, содрогаясь от ужаса, в темной холодной воде.

Он не осмелится на это.

Такое малодушие наполняет его отчаянием.

И что дальше?

Если он останется жить, что будет?

Он замечает, что дрожит, и заходит в комнату.

Что теперь?

Этот вопрос мог бы долго мучить его, но он вдруг чувствует, что очень устал.

Он закрывает дверь на балкон.

— Гасим свет, — говорит он мягким сухим голосом, и свет гаснет.

Глава 3

Следующим утром к нему прибывает Ларс.

Александр стоит в теплом утреннем свете, глядя на каменистое побережье Корфу и на катер, скользящий по воде из устья гавани к яхте «Европа». Катер на «Европе» собственный, отчаливает из особого отсека сбоку яхты на уровне ватерлинии. Приблизившись к яхте, он резко замедляет ход.

С балкона перед его апартаментами, где он стоит в пижаме, катера уже не видно.

Он где-то там, внизу, на ватерлинии, движется параллельно открывшемуся отсеку. Катер, как какой-нибудь звездолет, снабжен движками, позволяющими ему двигаться боком. С их помощью он заходит в боковой отсек. Когда катер внутри, морская вода из отсека откачивается, и катер устанавливается на металлическую раму. С площадки в отсеке лифт поднимает людей на верхние уровни яхты.

Несколько лет назад он наблюдал за тем, как это происходит, на верфи «Люрссен» на Кильском канале.

Он приехал тогда на верфь, чтобы присмотреть себе какую-нибудь яхту – и увидел там «Европу», сделанную для кого-то еще и проходившую последние ходовые испытания.

– Она мне нравится, – сказал Александр, глядя на демонстрацию. – Я хочу ее.

– Мы можем сделать для вас такую же, – сказал ему служащий «Люрссена», стоявший рядом.

Оба они были в светоотражающих жилетах и шлемах.

– Сколько времени это займет?

– Два или три года, – сказал служащий, с гордостью следя за окончанием демонстрации.

– Я не хочу ждать так долго. Я хочу эту.

Служащий рассмеялся, его рыжие усы запрыгали.

– Вы не поняли, – сказал Александр. – Вы думали, я пошутил. А я не шучу. Я хочу ее.

Служащий попробовал объяснить ему, что эта яхта принадлежит другому человеку, что ее построили для другого человека...

– Сколько он платит за нее?

Служащий на секунду растерялся, а потом ответил:

– Двести миллионов евро. Где-то так.

– Предложите ему двести пятьдесят, – сказал Александр. – Позвоните ему сейчас и предложите двести пятьдесят. Я хочу узнать ответ сегодня.

Слыша, как закрывается отсек с катером, он поспешно заходит с балкона в большую овальную комнату хозяина яхты.

Когда через двадцать минут встречается Ларса на палубе с бассейном, он уже одет в костюм и благоухает парфюмом «Картье паша».

На закрытой палубе с бассейном приятно тепло под ноябрьским солнцем.

Ларс встает, когда видит Александра, идущего к нему.

– Доброе утро, – говорит он.

Александр ничего не отвечает, только хлопает по плечу своего адвоката и садится за стол.

Ларс тоже садится. На нем льняные брюки, голубая футболка, кожаные сандалии. Он проводил отпуск на своей вилле в Корфу, когда Александр позвонил ему прошлым вечером и сказал, что находится неподалеку и хочет встретиться с ним.

Когда пришел Александр, он ел омлет.

– Доешь, – говорит Александр.

Ларс налегает на омлет.

– Как ты? – спрашивает Александр.

– У меня все в порядке, – говорит Ларс тактично. – А вы?

– Бывало и получше, – признается Александр.

Ларс вытирает рот льняной салфеткой.

– Из-за лондонского дела? – спрашивает Ларс.

Александр с угнетенным видом пожимает плечами.

Он только недавно проиграл большое судебное разбирательство, начатое год назад. Он подал иск в лондонский суд на своего приятеля из России, бывшего протеже. Он заявил, что этот человек, Адам Спасский, лишил его крупной суммы денег обманным путем много лет назад. Он подал иск на возмещение ущерба, на десятизначную сумму. Приговор, вынесенный на прошлой неделе, был однозначно в пользу Спасского. Кроме того, он подвергал сомнению порядочность самого Александра.

– Дело не только в том, что мы проиграли, – говорит он. – Дело в том, что сказала судья. Эта... сука.

Ларс кивает:

– Да, это было жестко.

– И это полная ложь!

– Конечно.

– Сколько, ты думаешь, он заплатил ей?

– Еще и не такие странности случались, – говорит Ларс, в глубине души сомневаясь, чтобы английского судью можно было так просто подкупить.

– Сколько, по-твоему?

Ларс пожимает плечами, не желая озвучивать предположения.

Тогда Александр говорит с чувством:

– Я тут подумал, нужно начать расследование против нее, найти эти деньги. А? Это ее уничтожит. И тогда все придется повторять по новой. И тогда уж мы наверное выиграем. Что ты думаешь?

– Дело ваше, – говорит Ларс.

– Думаешь, идея стоящая?

Ларс сомневается:

– Я не уверен, что выйдет толк.

– Он же заплатил ей, мать твою! – кричит Александр.

– Возможно.

– Ты слышал, что она сказала?

– Да...

– Она сказала, что я лжец, фантазер...

– Она не говорила слова «лжец».

– Ну, слова-то не говорила! Сука. Но все равно что сказала.

– В выражениях она *не стеснялась*, – признает Ларс.

– До сих пор, – говорит Александр, – я всегда верил в английское правосудие.

– Оно не идеально, – говорит Ларс философски. – Ничто не идеально.

– Оно прогнило.

– Я бы не стал так заявлять...

– Все, мать твою, прогнило...

– Теперь уже мы мало что можем с этим поделать, – говорит Ларс.

Он с самого начала возражал против этой затеи – заведомо обреченной, как он считал. Он не хотел участвовать в этом. Сейчас он не вспоминает об этом.

– Надо идти вперед, – говорит он.

Александр едва сдерживает смех:

– Это куда же?

Ларс улыбается чуть печально. Он доел омлет и откладывает вилку.

– Просто жить? – подсказывает он.

На нем очень дорогие солнечные очки из черепахового панциря.

– Просто жить, – бормочет Александр, глядя на море.

Повисает долгое молчание.

– Каковы мои дела? – спрашивает он мрачно. – Расскажи мне.

В этом, собственно, и состоит цель их встречи – подвести итоги теперь, когда процесс проигран. И Ларс, распорядитель его состояния, адвокат, скрывавший его капитал в лабиринтах, простирающихся от Андорры до Нидерландских Антильских островов, говорит после нескольких секунд молчания:

– Картина не очень радужная.

Это Александр и так знает.

Его основной капитал, «Русферрекс», когда-то второй в мире по объемам производитель железной руды, теперь не стоит ни цента. При фатальной избыточной задолженности компанию добило крутое падение цен на металл – таков был конец суперцикла, который Александр не смог предусмотреть. Ларс, как и многие другие, отговаривал его от этой амбициозной, приправленной задолженностями программы расширения – любой, кто смотрел в сторону Китая хотя бы одним глазом, не мог не замечать этой опасности. Но Александр не слушал. Ему не приходило в голову, что он мог заблуждаться.

Другие его активы в сфере добычи ископаемых «Русферрекс» тоже потянул за собой вниз из-за взаимосвязанных счетов.

Украинская авиалиния, которой он владеет, подлежит ликвидации.

(«Сроки, – как выразился Ларс, – были субоптимальными».)

(Вердикт Александра не столь обтекаем: «Это была дурацкая, гребаная затея».)

Какое-то время они говорят о московском банке Александра – осталась ли в нем хоть какая-то искра жизни. Ответ, судя по всему, отрицательный.

Затем Ларс произносит:

– Но у вас все еще есть несколько значительных активов, насколько я знаю.

– Давай-ка об этом.

Ларс вынимает клочок бумаги из кармана своих льняных брюк. На бумажке что-то нацарапано. Он читает:

– Дом в Суррее. Дом в Лондоне. Dassault Falcon^[69]. Вилла в Сен-Бартелеми. Поместье Барбареско с виноградниками. И эта яхта. Все эти активы принадлежат офшорным фондам, их можно ликвидировать без налоговых обязательств, – говорит Ларс. – Плюс у вас есть миноритарный пакет акций белорусского оператора сотовой связи с дочками в Молдове и Черногории стоимостью, пожалуй, двадцать миллионов стерлингов.

Александр говорит:

– А, ну да, это.

– Этими акциями владеет фонд в Гибралтаре, – говорит Ларс.

– А как так получилось? – спрашивает Александр.

– Когда вы занялись разработкой бурого угля, – говорит Ларс.

– Ну да.

– Вы собирались перевести часть активов в дочернюю кампанию.

– Да.

– Вот такие у вас остаются активы, – говорит Ларс. – Их общая стоимость порядка двухсот семидесяти пяти миллионов стерлингов. По моим подсчетам.

Один из стюардов – не Марк – подходит к ним с тележкой и наливает кофе из серебряного кофейника.

Ларс благодарит его.

Они сидят молча, пока стюард не уходит. Затем Ларс достает еще одну бумажку из кармана и говорит:

– Теперь долговые обязательства.

Александр добавляет несколько гранул подсластителя в кофе.

– Врежь мне, – говорит он.

– Судебные издержки – минимум сотня миллионов, и они еще растут, – сообщает Ларс.

Сюда входят, хотя Ларс сейчас не говорит об этом, и два миллиона фунтов, которые Александр должен ему за работу, через мутный фонд, зарегистрированный в Лихтенштейне.

– Плюс дополнительные задолженности по судебному разбирательству, – продолжает Ларс, – еще сотня миллионов. Это только приблизительно. Так что в целом выходит, скажем, двести миллионов. Может, чуть больше. И у вас остается, – Ларс наконец снимает солнечные очки, легкий загар подчеркивает пронзительно-синий цвет его глаз (ему уже за сорок, но выглядит он моложе), – от пятидесяти до ста миллионов?

Александр, по-прежнему в солнечных очках, отводит взгляд в сторону и говорит жестко и отстраненно:

– Есть еще кое-что, чего ты не знаешь.

– И что же это?

Ветер усиливается. На ярко-голубых волнах появляются барашки. Огромная яхта едва ощутимо покачивается.

Александр говорит:

– Ксения уходит от меня.

Ларс удивлен, но молчит.

– Да, – произносит Александр.

Она сидела рядом с ним каждый день судебного разбирательства. Все эти долгие часы адвокатских словопрений. Под шарканье ног и шелест бумаг. Она сидела рядом с ним, иногда казалась обеспокоенной и участливой, порой подавляла зевок, когда адвокаты перешептывались за спиной судьи. Это все продолжалось более месяца.

А потом, утром в четверг, было объявлено решение суда.

И главным оказалось не то, что он проиграл, а что это фактически стало его полным финансовым крахом со всеми вытекающими последствиями.

Главным было то, что сказала судья.

– В выражениях она не стеснялась. – Даже Ларс признал это.

И пока она говорила, Адам Спасский едва заметно улыбался с этим странным отсутствующим выражением в прозрачных голубых глазах. Только увидев эту улыбку, Александр действительно понял, что все это происходит на самом деле, а не привиделось ему в кошмаре. Что это его жизнь.

Столкнувшись с репортерами на лестнице у выхода, он испытал шок. Как будто потерялся. И эта жуткая улыбка перед глазами. Телохранители поспешно повели его к «майбаху», Ксения повисла у него на руке.

И вот он дома, на Лоундес-сквер. Затененные комнаты, как в отеле. В безликом интерьере – «спасибо» дизайнерам. И там, в гнетущей тишине дома, она сказала ему:

– Я ждала достаточно долго. Не хотела делать этого во время процесса. Теперь процесс окончен.

Он кричал на нее.

– Бесполезно, Александр, – бросила она. – Лучше скажи, когда ты последний раз действительно замечал меня? Когда последний раз ты думал о том, чего могла хотеть я? Зачем я тебе? Тебе даже секс больше не интересен...

Вот тогда он и грохнул японскую вазу.

Это словно пригвоздило ее к месту.

И она сказала:

– Я забираю близнецов в Сен-Бартелеми на две недели.

И тем вечером, когда близнецы вернулись домой из дорогой английской школы, все уже было упаковано, в холле возвышалась груда багажа, и они поехали в аэропорт, она и близнецы, и ее личный помощник, и личный тренер, и две английские няни, и все эти охранники с микрофонами в ушах – он смотрел из окна на отбытие кортежа из четырех

машин.

Он был слишком подавлен, чтобы попытаться остановить ее.

Его горло саднило от крика. Глаза были красными.

Он стоял у окна и смотрел.

– Чего она хочет? – спрашивает Ларс.

– Лондонский дом, – говорит он. – Виллу в Сен-Бартелеми. Деньги.

– Сколько?

– Я не знаю. Ее адвокаты общаются с моими.

– Вы не были женаты? – спрашивает деликатно Ларс.

– Нет, – отвечает Александр устало. – И что? Мы прожили вместе пятнадцать лет. У нас близнецы.

– Сколько им сейчас?

– Десять.

Повисает молчание.

– У тебя есть дети? – спрашивает Александр.

– Да, – произносит Ларс с удивлением.

Впервые за все годы их сотрудничества Александр спросил его о семье, вообще хоть как-то проявил интерес к его жизни.

– Да, – повторяет он и добавляет, стараясь говорить помягче: – Они немного старше ваших: пятнадцать и двенадцать.

– Ну, у меня есть дети и постарше, – говорит Александр. – Я два раза был женат и дважды разведен. Первый развод прошел гладко, не очень накладно. Но второй... – Он тяжело вздыхает и задает вопрос: – Что мне теперь делать, Ларс?

Ларс подходит к ответу с практической стороны:

– Чтобы покрыть судебные издержки и другие обязательства, вам придется продать некоторые активы. Я вам советую уладить сейчас все текущие судебные разбирательства. Перспектива материального выигрыша сократилась из-за последнего решения суда.

Он ждет, что на это скажет Александр.

Ничего. Он смотрит на море, словно мысли его где-то далеко.

– Для этого, – продолжает Ларс, – чтобы выплатить все комиссионные вознаграждения и все уладить, вам понадобится, как я сказал, около двухсот миллионов стерлингов.

Он делает паузу.

– Если повезет, – говорит он с оптимизмом, – эта яхта может покрыть все расходы.

– Нет, – бросает Александр, из чего следует, что он все-таки слушал его. – Я так не думаю.

– Сто пятьдесят? – предполагает Ларс.

– Может быть.

– Значит, понадобится еще пятьдесят миллионов, – говорит Ларс задумчиво. – Думаю, вам следует продать «Фалькон». Издержки, я подозреваю, очень высоки.

На самом деле Ларсу не нужно строить догадки, насколько высоки издержки, – несколько лет назад он основал фонд на острове Мэн, для владения и управления реактивным самолетом, и за год он съедает несколько миллионов фунтов.

– Значит, самолет?

– Хорошо, – кивает Александр рассеянно.

– Я надеюсь, мы выручим двадцать миллионов, – говорит Ларс. – Рынок довольно устойчив на такие самолеты в наше время.

– Хорошо.

– Значит, нам еще надо найти тридцать миллионов.

Александр ничего не говорит.

– Лондонский дом и дом в Сен-Бартелеми отойдут Ксении? – спрашивает Ларс.

– Она так хочет.

– И получит?

– Полагаю, да.

– А деньги?

– Она потребует денег, – говорит Александр.

– Вы не знаете, сколько?

– Нет.

– Не больше десяти миллионов, полагаю, – говорит Ларс. – Она не должна получить больше десяти миллионов.

Александр, в своей черной шелковой рубашке, только пожимает плечами.

– Если вы продадите дом в Суррее, – продолжает Ларс, – и поместье Барбареско, то сможете покрыть все обязательства и выплатить ей десять миллионов.

По палубе гуляет ветер, кто-то моет ее шваброй – африканка в белой рубашке поло с логотипом «Европа», в спортивных брюках и в униформе судовых разнорабочих работает в некотором отдалении от них.

Ветер волнует поверхность моря, и оно искрится.

Александр спрашивает:

– И что тогда у меня останется?

– У вас останется, – говорит Ларс, глядя в одну из своих бумажек, –

доход от белорусской телефонной компании.

– И только?

– Да. Она стоит около двадцати миллионов стерлингов, – отмечает Ларс.

– Двадцать миллионов? – уточняет Александр.

– Да. И дивиденды там приличные. Порядка пяти процентов. Миллион фунтов в год, где-то так. Я думаю, прожить на это можно.

Он делает паузу, ожидая реакции босса.

Не дождавшись ее, он говорит более серьезно:

– При должной оптимизации налогов.

Сам Ларс умудряется жить на доходы, не сильно превышающие эти, при должной оптимизации налогов.

Александрю это замечание Ларса не кажется остроумным. Он как будто даже не услышал его. Когда же он наконец смотрит на него, кажется, что он уже забыл, о чем шла речь.

– Останешься на обед, Ларс? – спрашивает он.

Они едят на маленькой террасе, рядом с приватной столовой – стол сервирован на двоих. Рядом стоит в ожидании Марк и молодой вьетнамский стюард-стажер. Александр говорит, что хочет суши. Суши, к сожалению, нет. Явно разочарованный, Александр отчитывает Марка, а Ларс смотрит в сторону. Он смотрит на море – чудесного темно-синего цвета, с пенными барашками. В итоге им приносят жареного лосося с салатом из фенхеля, и молодой картофель, и бутылку очень приятного «Пуйи-Фюиссе». И Александр рассказывает Ларсу, забыв, что тот уже слышал эту историю, о том времени, когда он жил в Улан-Баторе и решил как-то среди дня, что хочет на ужин суши.

– А тогда, – говорит он Ларсу, – в то время было просто невозможно достать приличные суши в Улан-Баторе. Может, сейчас уже можно, я не знаю.

Разыгрывая удивление, Ларс кивает.

– И я сказал Алану, – говорит Александр (обязанность Алана состояла в том, чтобы выполнять все поручения и прихоти Александра), – сказал Алану: «Хочу сегодня суши. Хорошие суши, ясно? Не местное дерьмо, ясно?»

Ларс растягивает рот в улыбке чуть шире – от просто вежливой до изумленной.

– И знаешь, что сделал Алан? – спрашивает Александр, пока Марк, стоя у него за плечом, подливает ему «Пуйи-Фюиссе».

Продолжая улыбаться – хотя ему известно, что сделал Алан, – Ларс качает головой и вытирает рот салфеткой, между делом поблагодарив Марка.

– Он звонит в лондонский «Убон», – говорит Александр. – Знаешь такой ресторан?

– Да, – говорит Ларс.

– Он звонит и заказывает что-то вроде... тонны суши за хренову тучу денег. С доставкой.

Брови Ларса взлетают вверх.

– После этого он поручает кому-то переправить суши в Фарнборо и оттуда доставляет частным самолетом, – подчеркивает Александр, – в Улан-Батор. Доставили где-то к восьми вечера по местному времени, как раз когда я привык есть. Так что Алан был очень доволен собой. И я говорю ему: «Это отличные суши, Алан. Где ты достал их?» А он говорит: «В «Убоне», в Лондоне». А я ему: «В Лондоне? Ты с ума сошел? Быстрее было бы из Японии!»

Ларс негромко смеется.

Александр говорит ему вполне серьезно:

– Об этом писали в газетах.

– Да?

– Самый дорогой заказ еды с доставкой в истории, так написали.

Ларс сдержанно смеется.

– Говорят, на это ушло пятьдесят тысяч фунтов. Я не знаю. Не знаю, правда ли это.

В то время – отчасти и сейчас – Александр собирал все, что писали о нем в газетах, в большой альбом. Раньше там было довольно много материала, ведь он был известен как «Железный император», его жизнь и богатство всех сводили с ума. Заполнять альбом была нанята одна привлекательная выпускница Оксфорда, ее и оплачивали соответственно.

– Мне надо было вложить денег в коммерческую недвижимость в Улан-Баторе, – говорит Александр с сожалением. – Я подумывал об этом.

– Это было бы успешное вложение, – говорит Ларс, потягивая вино.

Он умалчивает о том, что сам владеет небольшим пакетом акций в инвестиционном фонде, которым управляет один его знакомый. Фонд специализируется на монгольской недвижимости – одном из наиболее эффективных активов в мире за последние несколько лет.

К ним присоединяется Энцо.

Его позвал Александр.

– Мы собираемся в Монако, Энцо, – говорит Александр. – Я

предложил подбросить Ларса до дома.

Предложение было сделано и принято за едой чуть раньше.

Ларс как раз надеялся на это, потому он и взял с собой чемоданы.

Пусть даже большую часть дня и вечера ему придется слушать болтовню Александра. Теперь, когда он ударился в воспоминания, он не скоро умолкнет.

За ужином он пускается в разговоры о русской истории, которой просто одержим. Хотя он порядком утомился, рассуждая о том, как Россия закончила двадцатый век именно в том же положении, в каком и начинала его – неким сумбурным авторитарным государством, плетущимся в хвосте Западной Европы и Америки в плане экономических и социальных преобразований, все ее природные богатства находятся в руках нескольких семей, средний класс практически отсутствует, а большая часть населения живет в беспросветной бедности. Советский эксперимент со всеми его надеждами, точно буря, оставил страну в полном беспорядке.

Ларс кивает, соглашаясь.

Александр сидит по другую сторону стола, окутанный клубами сигарного дыма. Он рассказывает о своих попытках построить в России в 1990-е либеральную рыночную демократию и о том, как потерпел неудачу.

Они сидят в маленькой столовой, и дым висит в воздухе тяжелыми слоями.

На столе большая тарелка с шоколадом. Ручной работы, неправильной формы куски присыпаны порошком чистого какао. Ларс съел уже два. Раздумывая, съесть еще один или подождать, пока Марк принесет кофе, он говорит:

– Это была упущенная возможность.

– Это была историческая трагедия, – уточняет Александр.

Историческая – его любимое слово.

Ларс знает, что Александр считает себя исторической фигурой. Он любит говорить об исторических перспективах с позиции непосредственного участника. Однажды он спросил, каким, на взгляд Ларса, он останется в истории?

Ларс не знал, что на это ответить. После секундного замешательства он отделался затертым софизмом: «Смотря кто будет писать историю».

Как раз тогда – несколько лет назад в Давосе – Александр поделился с ним своими планами написать монументальный многотомный труд о своей жизни и времени.

До сегодняшнего дня, насколько известно Ларсу, он еще не приступил

к этому.

Теперь он рассказывает о своем дяде. Ларс уже слышал об этом человеке. Офицер КГБ – человек, посылавший людей на смерть во время чисток тридцатых и сороковых годов. Однако – Ларс это знает – Александр восхищается им.

– Когда был мальчишкой, я считал его просто старым пердуном, – говорит Александр. – Старомодным, ты понимаешь.

– Да, – говорит Ларс, стараясь казаться внимательным слушателем.

– Он носил старомодную шляпу, – говорит Александр.

– Да?

– Стрижка была дерьмовая. Вот и все, что я думал о нем. Только потом я понял, что у него в душе было железо. Он был сильным. Когда ветер подул в другую сторону, в пятидесятые, он оказался в трудном положении.

– Не сомневаюсь...

– Сталин ведь был его кумиром, – продолжает Александр, пока Марк приближается к столу с кофе. – Он боготворил его. Искренне.

– Да, были такие.

– А потом Хрущев выступил с этой речью.

– Да, так называемый закрытый доклад, – говорит Ларс.

– И всем вроде полагалось сказать, что они сожалеют о прошлом и что Сталин им никогда не нравился. Ну а он не стал такого говорить. Притом что понимал: его могли убить. Все равно не стал. Прямо как в конце «Дон Жуана», когда перед ним разверзается ад, а он ни в чем не раскаивается. Он не стал лицемерить. Ты понимаешь?

Ларс молча кивает.

– Мой отец, тот покался, – роняет Александр.

– Да?

– О да.

Марк налил им кофе и тихо удалился.

– Мой отец покался. А дядя – его звали Александр, как меня, – не каялся. Он не считал, что был в чем-то не прав. Вот его враги были не правы, так он считал. Он считал, что история на его стороне. Хотя это было не так. В конце концов он покончил с собой, – говорит Александр. – Самоубийство.

– Я сожалею об этом.

Александр устало пожимает плечами.

– Он уже был старым. Ему больше незачем было жить, – говорит он. – Он всю свою жизнь посвятил делу коммунизма. В этом была вся его жизнь. Больше у него ничего не было.

Ларс задумчиво кивает.

– Что еще у него осталось, чтобы жить? – спрашивает его Александр с нажимом.

– Ничего, полагаю, – говорит Ларс.

Александр кивает и прикусывает сигару.

– Ничего, – говорит он. – Все было кончено. Вот так.

Утром по правому борту проплывает Капри. Неаполь скрыт завесой смога. Ларс, одетый в банный халат с логотипом «Европа», смотрит в сторону берега со своего маленького балкона. Воздух мягкий, свежий. Спалось ему неважно. Перебрал марочного вина и довоенного арманьяка прошлым вечером. А потом, когда вернулся в свою каюту, он нашел среди сотен фильмов в мультимедийном центре «Ностальгию» Тарковского. И начал смотреть. Было странно слышать, как шведский актер Эрланд Юзефсон, хорошо знакомый ему, говорит по-итальянски, в дубляже. Он заснул, не досмотрев и до середины.

Раздается стук в дверь.

Это Марк.

Он говорит, что Александр приглашает Ларса к завтраку.

Зря Ларс надеялся избежать этого.

– Благодарю, – произносит он. – Скажите ему, я скоро буду.

Когда через полчаса он выходит к завтраку, Энцо сообщает Александру, что они подойдут к Монте-Карло около полуночи.

Ларс садится. На нем свитер, а волосы его еще влажные после душа.

– Мне позвонили сегодня утром, – говорит Александр, когда Энцо уходит, – от моего адвоката в Лондоне.

Голос у Александра нерадостный.

Ларс, жевавший яичницу, сразустораживается.

Александр продолжает:

– С ними связались адвокаты Ксении насчет ее требований.

– Да? – Ларс продолжает есть. – Что у них?

– Два дома...

– В Лондоне и Сен-Бартелеми?

– Да.

– И?..

– И двадцать пять миллионов, – говорит Александр.

– Стерлингов?

– Да.

– Это невозможно. – Ларс подносит вилку с яичницей ко рту. – Вы

будете бороться?

Александр кивает. Он пьет какой-то шипучий напиток – вероятно, у него тоже похмелье. Так или иначе вид у него такой, будто он почти не спал. Или совсем не спал.

– Это ведь только первый выстрел, – говорит Ларс. – Они хотят получить больше десяти, так что просят двадцать пять. Они успокоятся на пятнадцати. Даже это слишком много. Боритесь, – советует он. – Не уступайте больше десяти.

– Я буду бороться, – кивает Александр.

Ларс принимает чай от стюарда с подносом.

– Не уступайте больше десяти, – повторяет он.

Чай совершенно экстраординарный, самый изысканный из всех, какие ему доводилось пробовать, – это что-то небывалое, словно и не чай вовсе, а нечто более утонченное, нежное, более насыщенное.

– А ей известно, – спрашивает он, – о вашем... расстроенном положении дел?

Пару секунд Александр не отвечает. Он смотрит на море, на волны, набегающие одна на другую, устремляясь к серому горизонту.

– Я не знаю, – отвечает он.

– Тогда, наверное, она не понимает, – говорит Ларс, пытаясь как-то помочь, – что, прося двадцать пять, она фактически просит...

Все, что у вас есть, собирался он сказать.

– Ты станешь богаче меня, Ларс, – замечает Александр безысходно, – когда все это закончится.

Снова не зная, что на это сказать – ведь это очень похоже на правду, – Ларс просто отпивает еще чаю и через несколько секунд говорит:

– Нам нужно обсудить отчуждение активов. Как мы решили вчера. В деталях.

Он смотрит на Александра, опасаясь, не расстроил ли его сказанным.

Александр, кажется, в порядке.

Он ест виноград – медленно и методично отрывая виноградины от веток и отправляя в рот.

Ларс достает одну из своих бумажек.

Следующий час они обсуждают отчуждение активов – продажу «Дасо-фалькон» и поместья Барбареско, а также дома в Суррее и суперяхты. Для большинства этих активов Ларс уже прикинул в уме возможных покупателей.

Александр ест виноград и не особенно вникает в предмет разговора. Кажется, его больше интересуют длинные зеленые гроздья, чем его

финансы.

Ларс выражает надежду, что у него в итоге останется несколько миллионов наличными, когда все будет улажено, не считая акций белорусского оператора мобильной связи.

– Это не первый раз, – говорит Александр, – когда меня всерьез прижали, ты знаешь, Ларс.

– Девяносто восьмой, русский дефолт? – предполагает Ларс, продолжая что-то записывать.

– Именно.

Ларс что-то пишет и говорит:

– Да, это, наверное, было что-то с чем-то.

– Уж это точно, – подтверждает Александр.

Ларс что-то бормочет, мысли его явно далеко:

– Полная неразбериха, да?

– Еще бы.

На самом деле Александр сейчас вспоминает то время почти с теплотой. В его памяти это один из самых отчетливо сохранившихся отрезков его жизни наряду с отрезком предыдущего десятилетия, когда Советский Союз внезапно прекратил существование, а ему было чуть за сорок и он занимал солидный пост в Министерстве международной торговли. Вся международная торговля проходила через министерство. Индивидуальные предприниматели, которые хотели бы вести торговлю с границей – прежде всего в секторе природных ресурсов, – просто не имели представления, как осуществить это самостоятельно, и не имели доступа к международным расчетам. Он увидел здесь возможность. Однако то, что случилось затем, превзошло любые его ожидания. Какое-то время казалось, что нет ничего невозможного. Он основал свой банк, «Интрейд-банк», для обеспечения международных расчетов, и довольно скоро уже набирал ставки промышленных предприятий, особенно после введения программы залоговых аукционов, которая профинансировала второе избрание Бориса Ельцина и перевела циклопические объемы государственной промышленности в частную собственность нескольких человек. Кому-то из них досталась нефть, кому-то – никель или алюминий, кому-то «Аэрофлот». Ему досталось железо. Он стал «Железным императором». Всего за несколько лет он вырос от скромного холеного советского чиновника до магната, поставщика железной руды номер один в мире.

Дефолт 98-го в действительности не так уж сильно прижал его. Хотя и мог бы. Даже несмотря на то, что «Интрейд-банк» пошел прахом в

судебных тяжбах, он сумел сохранить свою империю, шифруя акции в офшорном лабиринте – как раз тогда на сцене появился Ларс, – через фонды с таинственными названиями, расположенные на Каймановых островах и в других столь же удаленных и надежных местах.

Александр сидит за столом, уставившись как будто на что-то вдалеке, за горизонтом. Ларс продолжает что-то писать.

Паника 98-го. Тогда он думал, что может лишиться всего, но каким-то образом сумел сохранить. Тем летом ему исполнилось пятьдесят, в самый пик обвала.

– А хрен с ним со всем, – сказал он тогда. – Я буду праздновать.

По такому случаю был арендован Бленхеймский дворец. Тысяча приглашенных. Среди них его герой, Руперт Мердок. Вертолеты на газоне. Лучшая пора его жизни. И новая женщина – Ксения. Огни салюта. Вот это были дни.

Да, вот это были дни, мой друг.

– Вот это были дни, Ларс, – бормочет он.

Ларс поднимает взгляд.

– Когда? – спрашивает он.

– Тогда.

Глава 4

А потом свет сменяется тьмой. Вот только была слепящая синева, солнце светило так ярко, что приходилось щуриться. И вдруг потемнение. Погружение. Все глубже и темнее. И неожиданно возникло сырое ноябрьское утро. Влажная земля, мелькающая в полутьме. На юго-востоке Англии утренний час пик под навесом из плачущих туч. Машины несутся с горящими фарами. Здания жмутся друг другу в тоскливом однообразии. Все ближе и ближе по мере снижения самолета. По стеклу скользят капли дождя, а внизу стоит завод по переработке сточных вод и растет трава, приглаженная ветром. Визг шасси по покрытию...

Прошлой ночью, чуть за полночь, они пришвартовались в Монте-Карло.

Самолет уже ждал их в аэропорту Ниццы, прилетев из Венеции днем раньше.

Сегодня ранним утром он взял курс на Лондон. Александру пришлось унизиться до того, чтобы занять у Ларса десять тысяч евро на топливо. Пилот позвонил и сказал с чувством неловкости, что его фирма желает получить платеж авансом.

Самолет плавно движется по аэродрому. Теперь английское утро совершенно реально. Оно прямо здесь, по другую сторону овального окошка, за пеленой дождя.

Маленькое здание аэропорта все светится в утренних сумерках. Он не ожидал когда-либо увидеть это снова. Самолет останавливается с легким толчком. Через десять минут Александр сидит в своем «майбахе», направляющемся в Лондон, пробираясь сквозь поток машин, – видимость слишком слабая для вертолета, так ему сказали. Так что до офиса в Мейфере, где его ждет адвокат, приходится добираться битый час, торча в пробках под дождем.

Александр опаздывает. Он извиняется и садится за стол. Офисы – «Исет холдинг», как гласит табличка на парадной двери, – расположены в особняке восемнадцатого века вблизи Парк-лейн. Александр находится в комнате на первом этаже – высокие потолки, тяжелые двери резного дерева и типичный офисный беспорядок.

Адвокат, мистер Хит, начинает перечислять требования Ксении, полученные от стороны. Лондонский дом, вилла в Сен-Бартелеми...

– Я знаю, – говорит Александр. – Вы мне уже говорили.

Мистер Хит поднимает взгляд от бумаг:

– Да. Значит, вы в курсе, чего просит мисс Викторовна.

– Лондонский дом, виллу и двадцать пять миллионов.

– Да, – подтверждает мистер Хит, – а также право пользования вашим самолетом, конкретные условия должны быть согласованы.

– Самолет продается, – сообщает Александр.

Хотя день пасмурный – такси проезжают по улице с горящими фарами, – свет из высоких окон раздражает глаза.

– Что ж, – говорит мистер Хит. – Хорошо. Я сообщу это противоположной стороне.

Он записывает что-то и отпивает кофе, который им только что подали.

– Нам также представляется, – говорит он, – что, в добавление к двум очень ценным домам, двадцать пять миллионов наличными – это чрезмерная сумма.

– Да? – произносит Александр, как будто без особого интереса.

– Мы бы советовали вам оспорить ее, – говорит мистер Хит.

– Оспорить?

– Мы считаем крайне маловероятным, чтобы суд одобрил мисс Викторовне такую солидную сумму в добавление к домам.

Александр ничего не отвечает.

Мистер Хит продолжает:

– Конечно, вы можете предпочесть передать ей сумму, которую она хочет, и только один из домов.

– Вы думаете, я должен оспорить это? – спрашивает Александр, словно не слышал последних слов мистера Хита.

– Да, мы так думаем.

– Для этого придется идти в суд?

– Не обязательно. Я бы сказал, что вряд ли, если мисс Викторовне объяснить все должным образом. Но возможно, и придется.

Александр опять молчит. Он даже не смотрит на пожилого адвоката. Кажется, он изучает зеленую табличку с надписью «Выход» над одной из дверей. Под глазами у него огромные темные мешки. Лицо осунулось. Он заметно похудел, отмечает мистер Хит, с их последней встречи, всего за несколько недель. Теперь он выглядит гораздо старше.

– Я не думаю, что вам стоит чего-то бояться, – говорит мистер Хит, – если даже дойдет до суда.

Снова повисает долгая пауза.

Затем Александр бросает мягким усталым голосом, по-прежнему не глядя на адвоката:

– Пусть берет что хочет. Пусть забирает все.

Мистер Хит озадачен.

– Все? – спрашивает он.

– Да.

– При всем уважении, мы бы вам не советовали...

– Я знаю.

Мистер Хит пробует снова:

– Ее адвокаты настроены агрессивно. Я очень сомневаюсь, что они ожидают получить то, чего просят. Предстоят переговоры.

– Понимаю.

– Возможно, вам нужно какое-то время, чтобы обдумать все это, – предполагает мистер Хит. – Спешить не следует.

– Время мне не требуется, – говорит Александр. – Пусть забирает что хочет.

Мистер Хит явно озадачен.

– Вы уверены?

– Да.

Снова повисает долгая пауза.

– Что ж, хорошо, – говорит адвокат, глядя на свои бумаги с грустью. – Если это то, чего хотите вы. Но я должен подчеркнуть – мы вам этого *не советуем*.

– Я понимаю, – кивает Александр.

После того как мистер Хит уходит, он сидит один за длинным столом какое-то время, пока к нему не подходит секретарша, чтобы напомнить про обед с лордом Саттером. У них заказан столик, говорит секретарша, в «Ле Гаврош».

Он смотрит на нее с отсутствующим выражением.

Он забыл про обед.

Его ведь не должно было быть здесь.

Он не должен был больше обедать.

Тем не менее в половине первого он идет пешком в сопровождении Пьера и Мадиса в ресторан «Ле Гаврош».

Эдриан Саттер уже там, сидит в кресле в зоне ожидания наверху. Он примерно одних лет с Александром. Его изрядно поседевшие волосы вздымаются шелковыми завитками над большим розовым лбом.

– Шурик, – говорит он, одним движением снимает очки, убирает их в карман пиджака с огромными лацканами и встает. – Рад видеть тебя.

Он пожимает Александру руку и хлопает по плечу.

– Привет, Эдриан, – кивает Александр.

Пьер и Мадис остаются на улице, рядом с рабочими, украшающими фонари к Рождеству.

Александр и лорд Саттер изучают меню.

– Soufflé Suisse^[70], я думаю, для меня, – говорит Эдриан Саттер. – А затем тюрбо^[71].

Близкий друг Тони Блэра с давних пор, при содействии которого получил титул, он теперь был представителем истеблишмента. Одной из множества фигур такого полета, перед которыми Александр благоговел, когда только прибыл в Лондон в начале нового тысячелетия. Александру очень хотелось стать частью британского истеблишмента, или чтобы истеблишмент хотя бы публично принял его в свой круг, или уж, на худой конец, чтобы его считали *более или менее* равным.

– Я буду то же, – говорит он метрдотелю, и их проводят вниз, по устеленным темным ковром ступеням, к их столику.

– Ужасно, – замечает Эдриан с негодованием по поводу судебного процесса Александра. – Никогда не слышал ничего подобного. Мне стало стыдно быть британцем.

– Со мной все кончено, Эдриан, – говорит Александр.

– Нонсенс. Не надо говорить так, Шурик. – Эдриан просматривает карту вин. – Ты принял удар, – улыбается он Александру. – Ты снова встанешь на ноги в два счета.

– Все не так просто, – возражает Александр.

– Ты один из великих людей нашего времени, Шурик.

– Я думал так когда-то.

– Так же думай и сейчас.

– Я бы хотел.

– Посмотри, ты многого достиг.

Предполагая, что еду оплатит, по обыкновению, его друг, Эдриан просит сомелье принести им «Лафон Перрье 2005». Довольный, он снимает очки.

Александр, хмурый как туча, говорит:

– Мне шестьдесят пять лет, и я больше не знаю, что мне делать. Я просто не знаю, что делать. Такое чувство, словно все для меня кончено.

– Скажи мне, – просит Эдриан, после короткой паузы, убирая в карман очки, – есть у тебя хобби?

– Хобби?

– Да. Ну, знаешь.

– Нет, – отвечает Александр.

У него никогда не было хобби – в справочнике «Кто есть кто» в графе «Интересы» он написал «благосостояние и власть».

– Я предлагаю найти себе хобби, – советует Эдриан. – Займись хотя бы садом. А ты знал, – спрашивает он, подмигивая, – что в преклонные годы Иосиф Сталин больше занимался выведением идеальной мимозы, чем разжиганием глобальной революции?

– Нет, я этого не знал, – признается Александр.

– Он проводил большую часть времени в своем саду на Черном море, выращивая мимозы, а империей управлял в основном Берия.

– Я этого не знал, – повторяет Александр.

– Это совершенно естественно, – говорит Эдриан. – Тебе пора остепениться. Мне самому надо сбавить темп немного, – признает он, в то время как им подадут холодные закуски.

– Как-то вышло, – произносит Александр с потерянным видом, – что я утратил *смысл* жизни. Ты понимаешь?

Эдриан улыбается:

– Кому нужен смысл, когда у тебя есть *sufflé Suisse*?

Александр тоже пытается улыбнуться.

А сам думает, знает ли Эдриан, что он практически банкрот. Что его империи больше нет. Эдриан принимается за суфле, и по нему никак не скажешь, что он это знает. Хотя даже если знает, разве он даст это понять? Александр тоже берет вилку. Такие уж эти англичане – никогда не поймешь, что творится у них в голове, что скрывается под их мягкой, ироничной манерой держаться. А знают ли они сами себя?

Он пытается есть суфле. Но вскоре кладет вилку рядом с тяжелой, дорогой тарелкой и просто ждет, пока доест Эдриан.

– Что-то с ним не так? – спрашивает Эдриан, продолжая есть.

– Нет, суфле отличное. Просто я не голоден.

– О?

Александр снова пытается улыбнуться.

– Ты как, приятель? – спрашивает Эдриан. – Ты какой-то бледный.

– Я устал.

– Да, ты выглядишь слегка уставшим. Чем занимаешься? Расскажи мне.

Не в силах думать ни о чем другом, Александр сообщает:

– Ксения уходит от меня.

Эдриан сочувственно морщится:

– О, мне так жаль.

Им приносят тюрбо в чесночном соусе. Рядом с Эдрианом ставят

«Лафон Перрье». Александр просто смотрит на мертвую рыбу у себя на тарелке, пока Эдриан энергично разделывает свою серебряным ножом и вилкой.

Глава 5

Эмплтон-хаус на окраине Оттершо в Суррее с улицы не виден. Только высокая стена и верхушки деревьев с облетевшими листьями в знаменитом дендропарке. Они прибывают в сгущающихся сумерках. Длинная подъездная дорожка плавно поворачивает и приводит их к гравийной площадке перед поместьем – «Сэр Эдвин Лаченс^[72], 1913», – где «майбах» и «рейнджровер» останавливаются.

– Мы на месте, сэр, – говорит водитель через интерком, на случай, если хозяин заснул.

Александр не заснул. Он просто сидит в беззвучном, мягком салоне «майбаха» и не хочет выходить. На секунду он даже подумывает, не сказать ли водителю ехать назад в Лондон.

– Мы на месте, сэр, – снова слышит он.

Голос у водителя уставший. Он за рулем с раннего утра, ждал его прилета в Фарнборо.

По идее, сейчас должен кто-то выйти из дома с зонтиком, открыть ему дверцу и держать зонтик над ним, пока он шел бы по мокрому гравию к дому, в двухсветный холл.

Однако вся прислуга сейчас в отпуске или в лондонском доме.

Так что дверцу «майбаха» ему открывает Мадис, он же проводит его в дом и, отключив сигнализацию, включает в холле свет.

Напоследок он спрашивает, не нужно ли ему чего-нибудь.

– Нет, – отвечает Александр.

– Я буду в квартире, – говорит Мадис, – если вам что-нибудь понадобится.

Мадис живет в квартире с отдельным входом, сбоку дома, где раньше располагалась конюшня.

– Хорошо. Спасибо, Мадис, – кивает Александр.

Оставшись один, он снимает с шеи шарф и садится в холле.

Он закрывает глаза и пытается ни о чем не думать.

Любая его мысль, дойдя до своего предела, причиняют ему боль.

Как лицо Адама Спасского, как его улыбочка, когда судья огласила решение.

Его мысли переходят от невыносимого унижения того момента к сухому факту его разорения. И снова – к унижению. Он разорен. Больше как будто ничего не осталось – только унижение и бедность.

Он сумел бы пережить потерю денег, думает он, если бы не это унижение. И сумел бы пережить унижение, если бы у него остались деньги, хотя потеря денег *сама по себе* есть унижение. Полнейший идиотизм потери такой массы денег. Впрочем, другие его унижения не были бы так страшны, если бы у него оставались деньги – сами деньги стали бы ответом всем его врагам, как и всегда в прошлом, деньги были ответом на все.

Он по-прежнему сидит в холле, держа в руках шарф.

Дверь открывает Мадис. Его явно удивило появление Александра на пороге в такую сырую ночь.

– Мадис, – говорит Александр, пытаясь улыбнуться, – надеюсь, я тебя не отвлекаю.

– Нет, – отвечает Мадис.

– Я тут подумал, – продолжает он и смолкает, неожиданно ощутив неловкость, – ты не хотел бы выпить со мной?

Мадис одет в футболку, спортивные штаны и носки. Из квартиры слышны звуки телевизора.

– Я... – говорит он и запинается. – Я не думаю...

– О, ну да, – говорит Александр. – Я забыл. Хорошо.

Мадис, вероятно, из-за неловкости ничего не говорит.

– Что ж, – произносит Александр.

Плечи его поникли, за ним – холодная тьма. Температура упала, а на нем поверх шелковой рубашки только тонкий черный свитер.

– Ну, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, босс, – говорит Мадис.

Он уже закрывает дверь, когда Александр, собравшийся уходить, выдавливает:

– Э-э... Мадис.

Дверь остается приоткрытой. Мадис смотрит на него.

– У тебя ничего не найдется поесть, а? – спрашивает Александр, издав смешок. – Просто, как это... На кухне... Там, кажется, нет...

Мадис колеблется секунду, потом говорит:

– Конечно.

– Извини, – смеется Александр. – Так неловко.

– Нет, конечно, – говорит Мадис. – Нет проблем. – И через секунду добавляет: – Я сейчас как раз ем. Хотите присоединиться?

– Ну, я не хочу мешать тебе...

– Нет, об этом не волнуйтесь, – просит Мадис.

– Ну, тогда ладно. Очень щедро с твоей стороны.

Мадис открывает дверь и отходит в сторону, пропуская Александра.

Он никогда еще не был здесь. Мадис проводит его в гостиную с маленьким обеденным столом, диваном и телевизором, по которому показывают вечерние новости, и парой-тройкой картин на стенах. Среди них копия «Аллегии благоразумия»^[73] Тициана.

– Ягненок «роган джош», – говорит Мадис. – Нормально будет?

– Отлично. Конечно.

Затем Мадис, словно что-то сообразив, добавляет:

– Он из супермаркета.

– Отлично.

Он оставляет Александра в гостиной, проходит на кухню, такую же маленькую, и ставит еще одну упаковку ягненка «роган джош» в микроволновку.

Насколько Александру известно, Мадис живет с женой, Лиз. Он эстонец по рождению. Эмигрировал в Соединенные Штаты подростком и отслужил в американской армии в каком-то спецназе. Был в Ираке.

Ему должно быть около сорока. Не очень высокий. Коренастый.

Он говорит по-английски со странным акцентом.

– Это займет несколько минут. – Он возвращается из кухни.

– А где Лиз? – спрашивает Александр.

– Она вышла. Садитесь.

Это звучит почти как указание.

– Спасибо. – Александр садится.

Мадис выключает телевизор.

По-видимому, зря. В комнате парит напряженная тишина – слышно только гудение микроволновки на кухне.

Александр сидит у стола и смотрит на свои руки.

Что-то странное в его позе, в том, как он изучает свои руки, ничего не говоря.

Подняв взгляд, он видит, что Мадис смотрит на него. Мадис стоит у двери на кухню и ждет сигнала микроволновки.

– Будет готово через минуту, – говорит он.

– Какой лучший способ умереть? – спрашивает Александр.

Глаза его блестят, как будто от слез.

– Лучший способ умереть? – переспрашивает Мадис, удивленный.

– Да.

– Лучший способ... Лучший способ – умереть счастливым.

– Нет, я не в смысле...

Звучит сигнал микроволновки.

Мадис идет на кухню, снимает потемневшую от жара фольгу с упаковок с ягненком и выкладывает блюдо на две простые белые тарелки. Он несет тарелки к столу и ставит их на соломенные подложки, затем снова идет на кухню за ножами и вилками.

– Спасибо, – говорит Александр.

Они молча принимают за еду.

Впрочем, Александр, видимо, не хочет есть – он только передвигает еду по тарелке.

Потом он прекращает это и просто сидит, пока Мадис с чувством неловкости доедает свою порцию.

– Извини, – произносит Александр.

Он показывает на недоеденную еду у себя на тарелке.

– Нет проблем.

– Извини, – повторяет он.

Когда он встает, Мадис тоже поднимается и провожает его до двери.

– Спокойной ночи, Мадис, – говорит Александр на пороге.

– Спокойной ночи, босс. Если вам что-то понадобится... Я здесь.

– Да. Спасибо. Прощай.

Не раздеваясь, он ложится и незаметно засыпает, а просыпается в темноте – сна ни в одном глазу, и он знает, что уже не заснет.

Пробуждение кошмарно само по себе. Все здесь по-прежнему, каким и было, в темноте.

Не считая секунды сразу после пробуждения, когда еще нет ничего. Секунды пустоты. Такая умиротворенность в этой секунде. А потом она проходит, и все возвращается снова.

Он лежит в темноте.

Он думает о том, как последний раз видел отца, в больнице в Свердловске, в *номенклатурной* больнице. Тогда она казалась ему шикарной. Отец гордился, что попал туда. Он рассказывал сыну, когда тот приехал к нему, кто еще там лежал, – какой-то известный генерал, отец был едва ли не счастлив пережить сердечный приступ, только чтобы оказаться в одной больнице с такими высокими чинами.

И его сын тоже испытывал чувство привилегированности, сидя в отдельной палате отца. Он пытался произвести на отца впечатление, переводя немецкий текст на упаковке лекарства. В то время он учился в университете в Восточной Германии и прекрасно говорил по-немецки, его отец, не знавший ни слова на иностранном языке, *был* впечатлен, и

Александру это понравилось. Это был последний раз, когда они виделись, так как операция прошла неудачно, отец впал в кому на несколько недель, а потом умер.

Сейчас ему кажется, что тогда в палате был кто-то еще, когда он переводил немецкий текст на упаковке. Кто-то еще был с ними. Но кто?

К своему удивлению, он представляет Сталина, небритого, с серебристой щетиной на подбородке, ковыряющегося в растениях с секатором в руках...

В Суррее светло.

Светло на улице. Желтая листва.

Еще один день.

Он продолжает лежать.

И ощущает оцепенение.

И усталость. Такую усталость. Такую усталость от всего.

Наверное, там был его дядя, думает он, пока он переводил немецкий текст на упаковке от лекарств.

Его дядя Александр. Александр, как он сам.

А через десять лет он покончил с собой.

Ему больше незачем было жить. Он посвятил всю свою жизнь единственной цели, и она оказалась пустышкой.

Что еще у него оставалось, чтобы жить?

Ничего.

Все было кончено.

Вот так.

Часть 9

*Безмолвно время, я предупреждал,
Оно лишь счет нам может предъявлять;
Когда б я мог, про все бы рассказал [\[74\]](#).*

Глава 1

Следующим утром ему нужно в магазин. В доме ничего не осталось. Он выезжает, едва становится достаточно светло, около восьми, и едет в «Лидл» в Ардженте. От дома вблизи Молиnellы магистраль ведет прямо к магазину. Бескомпромиссно прямая, обсаженная тополями. Кругом раскинулась равнина. Куда ни глянь – ровный горизонт.

Арджента: кусочек пригорода посреди равнины. Он ждет на светофоре и проезжает через центр, а затем вдоль канала, гладь которого отражает зимний свет. Парковка пуста в этот ранний час выходного дня. Он паркуется у входа и вкатывает тележку в теплое, ярко освещенное помещение.

Он знает, где тут что лежит. В этот магазин он стал заглядывать в свой последний приезд в Италию, в этом же году. Он катит тележку вдоль горок товаров, иногда что-то берет или просто останавливается посмотреть. Ему приходится надеть очки, чтобы прочитать этикетку на упаковке чая. Затем он снимает их и катит тележку дальше. Очевидно, он никуда не спешит. Остановившись, он снимает пальто и кладет поверх почти пустой тележки.

Он тщательно выбирает фрукты. Отрывает маленький пакет и, с трудом разлепив его, начинает накладывать мандарины.

Затем берется за яблоки.

Выбирает, тщательно ощупав, авокадо.

Один лимон.

Вынимает список из кармана брюк, чтобы не забыть чего-нибудь в этом отделе. Убедившись, что ничего не забыл, двигается дальше, в отдел напитков, где придирчиво сравнивает цены разных лагеров, расставленных на полках. Ценники на все товары кричаще-желтые, и цены напечатаны шрифтом, напоминающим рукописный, как будто кто-то написал их маркером. (Сначала ему кажется, что ценники действительно написаны от руки. Но нет – строчки слишком ровные.) Он кладет в тележку упаковку лагеря «Бергкениг» и двигается дальше. Проходит мимо вин, не глядя на бутылки. Здесь он никогда не стал бы покупать вино.

Дальше непродовольственные товары, где он выбирает губки и моющие средства.

В его тележке всего понемногу – он только что добавил туда пару сосисок в полиэтилене из морозильника, – отчего напрашивается вывод, что живет он один.

И он действительно один.

Прошлым вечером он прибыл в аэропорт Болоньи поздним рейсом «Райанэйр»^[75] из Станстеда. На такси по зимним сумеркам к дому. Дом стоял холодный. Силы энтропии наступали на него. На полу были мышинные какашки. И следы влаги на стене у подножья лестницы. Не снимая пальто, он присел на диванчик в холле. Он устал и замерз. Его дыхание клубилось в холодном воздухе, пока он сидел, вертя в руке ключи. Нужно было обогреть дом – затопить печку на мазуте. У него была с собой бутылочка граппы. И он принялся за растопку.

Уже почти десять, когда он перекладывает товары из тележки в свой старый «фольксваген-пассат»-универсал, а затем откатывает пустую дребезжащую тележку назад ко входу в магазин. Он спрашивает себя, не нужно ли ему еще чего-нибудь в Ардженте. Ничего не приходит на ум, и тогда он думает, заводя мотор, не заехать ли куда-нибудь выпить кофе. Пьяцца Гарибальди. На ней есть несколько приятных мест, где приятно посидеть полчаса в холодном солнечном свете с чашечкой капучино и газетой. Но он едет вдоль канала и никак не может решиться. К тому же на маленькой площади почти невозможно припарковаться. Он немного раздражается. Искать сейчас парковку где-то еще ему не хочется, и скоро он выезжает из Ардженты и снова едет среди полей, простирающихся до ясного зимнего горизонта.

Он теперь довольно часто думает о смерти. Трудно не думать о ней. Очевидно, ему осталось не так уж много. Десять лет? Через десять лет ему будет восемьдесят три. Может, больше десяти? Вряд ли. Значит, примерно десять лет. Если подумать, это пугающе мало. Просто ужас, как мало, так ему кажется иногда. Возьмем это утро, например. Он проснулся в пять, декабрь, просторная влажная спальня в доме под Арджентой, бирюзовые стены еще скрыты в темноте. Слышно тихое тиканье часов на столе у кровати. Просто ужас, как мало, так ему кажется. А после операции, два месяца назад, он понял, что даже десять лет – прогноз крайне оптимистичный. После операции он постоянно ощущает свое сердце, это так непривычно. Все время чувствует его и не может отделаться от страха, что в какой-то момент оно возьмет и остановится. Он лежит в постели, настороженно ощущая, как работает его сердце, и сознает как факт, что однажды оно *должно* остановиться. Он понимает, что не готов встретить смерть, точнее, готов не больше, чем когда-либо раньше.

В просторной бирюзовой спальне становится светлее.

Он лежит в постели уже два часа и думает о смерти.

Он никак не может свыкнуться с мыслью, что действительно умрет. Что все это когда-нибудь прекратится. Это. Он сам. Смерть кажется ему чем-то, что происходит с другими, – с его друзьями и знакомыми. С людьми, которых он знал десятилетиями. Их умерло уже немало. Он бывал на их похоронах. Их остается все меньше. Однако ему трудно понять – по-настоящему *понять*, – что и он умрет. Что его существование конечно. И однажды закончится. Что через десять лет его, скорее всего, уже не будет.

Есть что-то немыслимое в том, чтобы пытаться представить мир, в котором нет тебя. Эта странность, думает он, лежа в постели, связана с тем, что весь мир, который он знает, это мир, данный ему в ощущениях, и *этот мир умрет* с ним. Этот мир – этот субъективно воспринимаемый мир, – который *и есть* мир для него, – фактически исчезнет вместе с ним. Это окончание потока восприятия кажется невероятным. Невообразимым. Он смотрит на громоздкий ореховый гардероб у дальней стены комнаты и странным образом сознает поток восприятия вещей. Удовольствие от восприятия вещей. Удовольствие видеть свет из окна, проходящий в щели между тяжелыми шторами, через пыльный воздух, и лежащий на поверхность гардероба, на густой, потемневший от времени лак.

И удовольствие слышать шаги по гравии во дворе.

Это шаги Клаудии. Клаудиа – приходящая домработница, румынка. Должно быть, его жена, Джоанна, позвонила ей из Англии и сказала, что он здесь.

– Buongiorno^[76], Клаудиа, – говорит он, спускаясь по лестнице в халате и тапочках.

Он похудел, сильно похудел с тех пор, как она видела его последний раз в самом начале лета. Тогда он был тучен сверх меры, а кожа его имела пунцовый оттенок. Хотя нельзя сказать, что сейчас он выглядит *лучше*. Он кажется усохшим.

– Buongiorno, синьор Парсон, – говорит она.

Она готовится к работе. Общаются они на итальянском – английского Клаудиа не знает. Впрочем, и итальянским она владеет слабо. Хуже, чем он. Она приехала сюда несколько лет назад к своему сыну, который работает сборщиком кухонь в «ИКЕА» в Болонье.

– Я извиняюсь, – говорит она. – Я не знаю, что вы здесь.

– Это Джоанна вам звонила? – спрашивает он.

– Синьора Парсон, да. Я извиняюсь, – повторяет она.

– Тут не за что извиняться, – говорит он ей. – Спасибо, что пришли. Я извиняюсь, что не позвонил вам, сказать, что я здесь.

– Так хорошо, – говорит она.

– Я не уверен, сколько здесь пробуду, – продолжает он. – Всего неделю или две, я думаю.

Они на кухне, и он начинает готовить кофе, насыпает его в кофеварку. Обычно в это время года, первую неделю декабря, здесь никто не появляется. Иногда они проводят здесь Рождество. Но в последние годы все реже. А прежде почти каждый год. Когда еще Саймон был маленьким, а мать Джоанны была жива. В прежние дни. Клаудии тогда не было. Тогда тут работала одна итальянка. Но потом ей пришлось оставить работу. Из-за здоровья. Как же ее звали? Они еще общались какое-то время. Навещали ее в больнице в Ферраре или где-то еще. Он как будто помнил это, но не был уверен в точности воспоминаний. В любом случае он не имел представления, что с ней сейчас. Все эти люди, которых ты узнаешь за всю свою жизнь. Что с ними со всеми сейчас?

Он насыпает немного мюсли в большую кружку и заливает обезжиренным молоком. Это молоко больше напоминает воду, чем настоящее молоко.

Клаудиа спрашивает, с чего ей начать.

– Может, с верхнего этажа? – предлагает он, просто чтобы побыть на кухне одному.

Он сидит за столом, ест мюсли и слышит скрип старых ступенек под ее ногами.

Сколько ей лет? Интересно. Она уже не молода. Ее сыну около тридцати. Приятный человек. Он встречался с ним несколько раз – тот время от времени заезжает за матерью на своем фургоне «ИКЕА».

Доев мюсли, он усаживается в ушастое кресло в гостиной – старое кресло, его пора перетянуть – и печатает на айпаде. Айпад ему подарила Корделия, когда он лежал в больнице после операции на сердце. Он всегда был прирожденным технарем и «первопроходцем» по части новинок – первым среди друзей купил видеомagniтофон, году этак в 1979-м. А на айпаде научился работать за пару дней.

Он печатает письма.

Пальцы летают по клавиатуре.

Строчки ползут по экрану.

Отправляет письма. Всего несколько. Не так много, как раньше. Ему пришлось отказаться от многих привычных занятий – сократить пенсионный набор увлечений. Теперь почти до нуля. Пришло письмо от Корделии – это всегда радует его. Она рассказывает обо всем понемногу.

Спрашивает, как он чувствует себя. Говорит, что стихотворение Саймона – ее сына, его внука – опубликовали в одном журнале. Вероятно, студенческий журнальчик, но она не уточняет – ей хочется произвести на него впечатление. Саймон учится на первом курсе в Оксфорде. Стихотворение приложено к письму, и он просматривает его, слыша шаги Клаудии наверху, от них позвякивают стекляшки на канделябре. (Канделябр уже стоял здесь, когда они купили дом – большая ценность, как их заверили.) Стихотворение, похоже, было навеяно известной миниатюрой султана Мехмеда II, на которой он нюхает цветок.

*Мы видим на портрете – взгляд его не здесь,
Мехмед Завоеватель держит розу
Пред тюркским серпом носа.
Всеохватные потребности в деньгах или войне,
Предусмотрительность мудрого политика,
Братоубийство, спутник власти –
Все, что присуще его положению,
И он преуспел во всем. Так почему цветок?
Возможно, дань чему-то менее мирскому;
Не красоте, я думаю, как ее ни понимай,
Не любви и не «природе»,
Не Аллаху, как его ни назови, –
Просто отпечаток мгновения в текстуре бытия,
Вечного бега времени.*

Не так уж плохо, думает он. Есть удачные пассажи. *Всеохватные потребности в деньгах или войне*. Да, это удачно сказано. (Он все еще скучает по ним, пусть прошло уже почти десятилетие, по этим всеохватным потребностям, ожидавшим его в Уайтхолле^[77], куда он добирался на метро, все еще чувствует, что без них он на самом деле не живет.) Да, это удачный образ. А потом еще там было... Где же это? Да...

Просто отпечаток мгновения в текстуре бытия

Эти слова напомнили ему о том, как он лежал минуту или две сегодня утром в постели, уставившись на гардероб. То чувство, которое охватило его тогда, чувство потери себя в акте восприятия. Отпечаток момента в

текстуре бытия – в *текстуре* всего этого. Да. Молодец, Саймон. Он напишет ему письмо, думает он. Он похвалит стихотворение – не слишком, просто чтобы подбодрить его, и с конкретикой. Корделия склонна нахваливать сына просто так, что не есть хорошо. Ведь Саймон, надо признать, слегка не от мира сего. Он был здесь, в Ардженте, этой весной, со своим другом. Они путешествовали по Европе и заглянули на пару дней. Этот друг – как же его звали? – был таким живым малым. С ним было весело. А Саймон, как обычно, был весь в себе, в своих мыслях. Ближе к концу чуть разгулялся. Они неплохо побеседовали втроем о серьезных вещах – о литературе, об истории, о том, что творится в Европе.

В дверях стоит Клаудиа.

Хочет узнать, можно ли приступать к уборке на кухне.

Когда она уходит, он принимает душ, одевается и готовит себе еду. Устраивается за кухонным столом – сидеть в столовой в одиночестве и есть омлет из двух яиц кажется чересчур церемонным. Он раздумывает, не выпить ли бокал вина с омлетом и салатом. В итоге выпивает два, а значит, теперь не сможет сесть за руль еще несколько часов. А он хотел прокатиться куда-нибудь. Возможно, в заповедник Валли ди Арджента, и побродить там с полчаса – ему нужно ходить пешком по несколько миль в день, а сегодня погода сухая и мягкая.

После полудня время тянется бесконечно. Он наводит порядок в ящиках комода, куда никто годами не заглядывал, – погружается в разглядывание старых билетов в оперу и туристических карт и чеков за какие-то вещи, купленные в незапамятные времена. Он садится за пианино и пытается играть – пианино ужасно расстроено, а пальцы вскоре начинают болеть. Они уже не служат ему, как раньше. Он то и дело фальшивит и, раздосадованный, прекращает играть. Он все еще чувствует непонятный осадок депрессии от вчерашней поездки в Равенну. Он ездил вчера в Равенну просто прокатиться, от нечего делать, и запутался в дорожном движении. Он потерялся, разнервничался и в результате поехал не в ту сторону по узкой односторонней улице. Он понял, что произошло, только когда нагнал фургон с мигающими фарами и ему не оставалось ничего другого, кроме как пятиться обратно, глядя назад через плечо, кривясь от напряжения и нарастающего ощущения одиночества. Улица была прямой, казалось бы, ничего сложного. Но он почему-то все время съезжал в сторону. И ему приходилось останавливаться и начинать движение по новой. Он крепко вцепился в руль, словно это был спасательный круг, без которого он утонет. Водитель фургона что-то кричал ему, но совершенно

беззвучно, как в немом кино.

Он думает о лицах прохожих на тротуаре, наблюдавших за его потугами, посмеиваясь, тыча пальцами, улыбаясь ему. Иногда с сочувствием. Но от этого было только больнее. По их лицам было видно, что они видят перед собой нечто достойное жалости – облажавшегося старика, творящего какую-то хрень.

Вот что было написано на их лицах.

И это стало шоком для него.

Он совсем не видел себя в таком свете.

После этого, когда нашел место для парковки, он немного прошелся по улице, испытывая дурацкую тревогу, и незаметно оказался рядом с базиликой Сант-Аполлинаре-Нуово.

Внутри оказалось едва ли теплее, чем на улице.

Там было несколько человек, совсем немного, топтавшихся на месте, – они рассматривали мозаику, отголоски Византии. Сам он видел ее много раз – длинные фронтальные изображения фигур в белых тогах, белых на золотом. Он никогда не был христианином. Он, конечно, был воспитан в духе бледного, остаточного христианства, витавшего в Англии конца 1940-х и 1950-х, но даже в раннем детстве не верил в Бога, Иисуса, или во что-то такое. Для него это всегда были просто слова. Просто сказки, как любые другие. В этом не было ничего необычного, думал он, для человека его поколения. Он стоял там, глядя вверх на безучастные, розовощекие лица. На фигуры, выстроенные в ряд, как на школьной фотографии. И вдруг этот невероятный образ, в самом конце, – открытый занавес, как бы показывающий что-то, – только там ничего не было, просто ровное золото, неожиданное пространство золотых плиток. Тут влетел голубь и запорхал под сводами.

Он пробыл там еще несколько минут, а потом вышел и осмотрел базилику снаружи. Кампанила на фоне серого неба. Он знал историю, более или менее. Теодорих Великий и так далее. Убил предшественника собственными руками – очевидно, пригласил на ужин и сам с ним покончил. Они боролись за Италию. Пока Западная империя распадалась.

И что-то во всем этом вгоняет его в депрессию. Он и на следующий день подавлен ощущением своей беспомощности, охватившим его тогда за рулем, когда он боролся с дорожным движением в Равенне, и потом, когда произошла эта хрень с односторонней улицей. Это давит на него. Давит неимоверно, против всякой логики, ведь ничего страшного не случилось, обычное недоразумение.

Позднее неожиданно звонит Джоанна.

Спрашивает, приходила ли Клаудиа.

– Да, – говорит он, – приходила.

– У тебя получилось растопить печку? – интересуется Джоанна.

Этот вопрос раздражает его – само предположение, что у него могло не получиться. Он не сразу отвечает, смотрит на фотографии на столике рядом с телефоном: семейные фото, и его самого с Джоном Мейджором и Тони Блэром – премьер-министрами, при которых он служил.

– Да, – говорит он.

– Значит, в доме достаточно тепло?

– В доме замечательно.

Повисает пауза.

– Что ж, я просто решила позвонить, спросить, как ты там, – произносит она.

– Замечательно.

– Хорошо. Тогда слушай, Тони.

И она начинает рассказывать ему о том, что ей нужно съездить в Нью-Йорк на несколько дней, в главный офис, – она старший менеджер в фармацевтической фирме – на какой-то ежегодный корпоратив.

На Ардженту опускаются сумерки. Он видит это через высокие окна гостиной. На равнину ложится тьма. Она улетает в Нью-Йорк. А он здесь, в Ардженте, с ее тракторами и болотами.

– Ну, повеселись там, – говорит он.

– Я вернусь в пятницу.

Ему это мало о чем говорит. Он не уверен, какой сегодня день.

Снова повисает пауза, еще более длинная.

– Ты *правда* в порядке, Тони? – спрашивает она, несколько смущенно, словно ей неловко этим интересоваться.

– Я же сказал. У меня все совершенно замечательно.

Она быстро задает новый вопрос:

– Корделия прислала тебе стихи Саймона?

– Да, прислала.

– И? Что ты думаешь?

– Неплохо.

После разговора он жалеет, что держался с ней так холодно. Было мило с ее стороны позвонить. Хотя что-то раздражало его в том, как она говорила с ним. Это было похоже на то, как смотрели на него те люди на узкой улице вчера, пока он пытался ровно ехать задним ходом. Раньше он мог сделать это запросто – проехать задом ровно. Он смотрит на часы.

Подождав еще немного, он опять выпивает вина. Отличное «Барбареско», чей-то давний подарок, который он хранил много лет для особого случая. Он открыл бутылку за обедом под влиянием момента и выпил половину без всякого повода, среди недели, пережевывая омлет. К чему ждать так или иначе?

Он выпивает еще, теперь уже с сыром и прошутто, и несколькими оливками на тарелке. Включает телевизор, футбол. Какой-то матч серии «Б» между командами, о которых он никогда не слышал, декабрьским днем в нулевую ничью. Стадион, очевидно, полупустой. Но все равно телевизор разгоняет тишину. Помогает скоротать время.

Он подумывает, не позвонить ли Корделии. И решает не звонить. Чтобы не беспокоить ее. У него депрессия – он не смог бы скрыть это, она поняла бы по голосу, – а он не хочет расстраивать ее. Не хочет, чтобы у нее пропало желание общаться с ним в будущем. А так и случится, если он все время будет ныть, жаловаться на свои проблемы, спрашивая о чем-то только из вежливости и перемежая вопросы долгими неловкими паузами.

Он наливает еще «Барбареско». Вообще-то вино превосходное. Одно из лучших красных, производимых в Италии. Он способен оценить это, однако у него словно дыра в том месте, где должен быть *центр удовольствий*. Пить в таком состоянии, думает он, только переводить вино.

Он смотрит на часы.

Пожалуй, еще слишком рано, чтобы идти спать. Или нет?

В доме, когда футбол закончился и телевизор выключен, угнетающая тишина.

Он сидит в ушастом кресле и пытается читать. Мысли его скачут с предмета на предмет. Он думает об Алане, своем сводном брате. Сколько ему лет сейчас? Восемьдесят пять? Едва может ходить. Едва может стоять – всякое движение причиняет боль и вызывает гнев. Чувство унижения. Он думает об их последней встрече. Волосы Алана казались мягкими, словно женскими, и белыми как снег, как и спортивные шаровары, в которых он теперь был все время. При виде Тони он попытался улыбнуться. Встать на ноги он не смог. Просто сидел, мелко дрожа, и пытался улыбаться, а когда говорил что-нибудь, преодолевая немощь, челюсть у него ходила ходуном.

– Как дела, Тони? – сумел он произнести жутковатым, невнятным голосом.

Кожа у него была как у мертвеца, как если бы ее поверхностный слой уже отмер. А в угасших глазах на мертвом лице был страх и какая-то враждебность.

Он все еще сидит там, держа в руках книгу Кристофера Кларка

«Лунатики: Как Европа начала войну в 1914 году».

Теперь уже Алан совсем не разговаривает, это очень грустно.

Он угасает на глазах.

Угасает.

Мы все угасаем в конце?

Ночью на него вновь и вновь накатывают волны страха. В один из таких моментов он проникается уверенностью: с его сердцем что-то не так. А потом ему снится кошмар.

Огромный жук-палочник с мутными глазами.

Это нечто стоит без движения долгое время, так что он уже почти перестает бояться его.

И тогда оно начинает двигаться.

Оно касается его.

Он просыпается со стоном ужаса и не может больше спать несколько часов, пусть даже паника от кошмара улеглась, он лежит и думает об Алане и о том, как мало времени осталось ему самому. Он лежит в темноте, ужасаясь своему положению, как будто он только что все осознал. Как будто кто-то только что сказал ему, впервые в жизни, что ему семьдесят три года.

Глава 2

Когда он снова просыпается, в комнате светло.

Почти восемь утра.

Он садится в постели, чувствуя себя разбитым физически и душевно.

Сегодня он должен что-то *сделать*.

Когда видит на старинном кафельном полу кухни новые мышинные какашки, он испытывает тягостное чувство и решает, что съездит в аббатство в Помпозе. Когда он разбирал вчера один из ящиков, ему попались старые билеты в аббатство – он был там много лет назад с Аланом и его женой, вспоминает он, когда те гостили у него, – и решает, что хочет увидеть это место снова. Он мало что помнит о нем. Средневековый монастырь у моря, к северу от Равенны.

В любом случае не так уж важно, *что* это за место. Он должен что-то сделать, выбраться *куда-то*. Почти все равно, куда именно.

Дорога займет где-то час, думает он. Он приедет, скажем, в одиннадцать, посмотрит аббатство, если будет на что смотреть. Пообедает, пожалуй. Он как будто помнит, там было одно заведение. И поедет домой. Остановится в Ардженте купить кое-чего. А дома выпьет чаю и почитает час-другой «Лунатиков»

Кларка.

За окнами висит морозный туман. Море морозных испарений, разливающееся по этой пойме каждую зиму. В такие дни он испытывает прямо-таки физическое отвращение к холоду. Старая система отопления в доме работает плохо – в высоких комнатах едва тепло, – и мысль о том, чтобы покинуть это тепло, наполняет его тревогой. К тому же вести машину в таком тумане значит нарываться на неприятности.

Он медленно поднимается по лестнице и, зайдя в ванную комнату, начинает наполнять ванну горячей водой, от которой поднимается пар. Он примет горячую ванну и тогда посмотрит на свое самочувствие. Он глотает таблетки, разноцветную мешанину в горсти. Затем перелезает через высокий край ванны и погружается в горячую воду. Он лежит в полудреме в обжигающе горячей воде. И чувствует, как расслабляются суставы.

После, когда он бреется, в окно светит солнце. Туман уходит.

Он одевается тепло. Два джемпера. Самые толстые носки.

Деревья вдоль частных владений – этакое ветрозащитное ограждение – почти голые. Кусты и прочие садовые насаждения выглядят

бурыми и мертвыми, хотя трава еще зеленая. Он открывает гараж. Темно-синий «фольксваген-пассат»-универсал. Британской сборки, теперь с итальянскими номерами.

Мысль о вождении машины заставляет его нервничать. Он садится за руль с неудобным чувством, что водитель из него неважный.

Теперь, когда туман рассеялся, все кажется непривычно четким. Голые тополя в белой изморози вдоль дороги, бросают на нее легкие тени.

Он едет чересчур медленно, сам того не сознавая. Другие водители обгоняют его – их уже целая очередь.

Он уже проехал Ардженту и повернул к Сан-Бьяджо, на дорогу, ведущую в лагуну, длинную прямую дорогу через равнинные фермерские земли. В этом пейзаже нет ничего, что пробуждало бы любовь. Изначально они хотели купить что-нибудь в Тоскане. Это было двадцать пять лет назад, когда Корделия оставила родительский дом. Что-нибудь в Тоскане. Однако выяснилось, что Тоскана гораздо дороже, чем они предполагали. Так что вместо того, чтобы довольствоваться каким-нибудь зачуханным домиком из тех, что им показывали в Кьянти, они решили расширить область поисков, и по мере того, как они двигались все дальше от Флоренции, дома, которые им показывали, начинали все больше походить на то, что они искали, – основательную элегантную виллу с прилегающим акром сформировавшегося, уединенного сада. Вот чего они хотели и в итоге получили. Чего они не учли, так это самого *местоположения* – совсем на другой стороне полуострова, в такой местности, где они не видели для себя совершенно ничего примечательного. Посреди этой отчаянно плоской равнины. (Когда в 1970-е, будучи в должности заместителя главы миссии в посольстве в Риме, он принял участие в одном мероприятии в Сан-Марино и, взойдя вместе с музыкантами и ряженными на вершину горы, увидел всю эту местность оттуда, равнину, простирающуюся на север, он содрогнулся.) Просто им уж очень понравился сам дом. Его изысканный, почти аристократический облик. Хотя не без некоторой вычурности. Так что, купив его, они поначалу задумались, не совершили ли ошибку. Но постепенно они примирились с этой местностью и даже начали испытывать к ней что-то, похожее на любовь. Вы ведь привыкаете любить то, что рядом с вами, а не где-то там. А иначе как жить?

Солнце освещает поля по обе стороны дороги и внезапно возникающие тихие водоемы. И хотя обогрев в машине не включен, ему становится жарко в пальто, и он останавливается, чтобы снять его – на сонной бензоколонке «Тамойл», без персонала, как здесь принято. За ней тянется земляная дорожка, уводящая в пустые поля, и оросительные

канавы, сейчас подмерзшие. Тишина, не считая проезжающих время от времени машин.

Лагуна, когда он добирается до нее, сияет точно лист металла. Дальше он едет по Страда-провинциале-58, петляющей в тишине через болотистую дельту реки По. Вождение приятно расслабляет его. В салоне «Пассата» тепло и комфортно. И нет напирательной сзади очереди – все в его распоряжении, пока он не въезжает на Страда-статале-309 – магистраль, идущую вдоль моря, – и плетется позади грузовика, не рискуя обгонять его. Грузовик покачивается под напором ветра, налетающего со стороны моря, хотя самого моря не видно, только указатели, сообщающие через небольшие интервалы об общественных пляжах – пляж такой, пляж другой. Лидо-делле-Национи. Лидо-ди-Воляно.

Он чуть не пропускает поворот. Видит кампанилу и внезапно понимает, что уже приехал, сразу включает поворотники и поворачивает. Время, пока он ехал, пролетело так быстро. Кажется, ему еще ехать и ехать. А он уже здесь.

Все такое незнакомое. Если он и был здесь раньше – а он был, – то все забыл. Дорожка, почти тропинка, петляющая от Страда-статале-309, сначала как будто уводит его не туда, *прочь* от высокой кампанилы, вздымающейся над деревьями, а затем поворачивает и ведет его мимо полей, простирающихся до горизонта, к маленькому озеру, мимо мусорных контейнеров у стены и парковочных мест на щебенке.

Большинство мест свободно, он паркует машину. Холодный воздух хватается его за лицо, едва он открыл дверцу. И заметно воняет собачьим дерьмом. И тут же табличка, предупреждающая, к его удивлению, об опасности воровства. Он оглядывается – кругом никого, тишина. Слышно только отдаленное движение машин по Страда-статале-309. Воры? Только не сейчас. В любом случае в его машине нет ничего интересного для воров. Он надевает шарф и закрывает машину.

До кампанилы несколько сотен метров. Она просматривается за голыми деревьями. Он направляется к ней, но что-то будто давит на него, какое-то чувство бессмысленности, никчемности. Он ощущает усталость и холод, да и не так уж ему хочется осматривать эту кампанилу. Теперь, когда он здесь, идет к ней по выбеленной морозом щебенке, стараясь шагать поживее, чтобы согреться. В самом деле – не на что тут смотреть. Кругом жидко разбросанный парк. Он проходит мимо двух совсем скромных кафе с пустыми террасами, стоящих вдоль дороги, ведущей к кампаниле. Кажется, только одно из них открыто, по крайней мере, так сообщает

табличка. И тут он думает, что, может быть, аббатство и закрыто в этот будний день в такое время года.

Тем не менее оно открыто.

Было бы на что смотреть.

Осмотрев аббатство, он заходит в это кафе. Очень простое место – совсем не похоже на то, где они ели тогда с Аланом и его женой много лет назад. В зале игровой автомат с мигающими лампочками. Старые постеры на стенах. На полках пыльные бутылки с вином на продажу. Он садится за маленький столик. Официант кладет перед ним бумажную салфетку под приборы и дает ему ламинированное меню. Кроме него в кафе только пара средних лет, они разговаривают вполголоса. Должно быть, немцы. Он быстро проглядывает меню. Он не очень голоден. Он хочет чего-то горячего. И заказывает суп.

Аббатство он осматривал не больше получаса – ряд низких кирпичных строений, очень простых, с маленькими окошками. Несколько скромных панелей резного белого мрамора. Внутри в основном просто пустые комнаты. И дворик с квадратом газона и колодцем посередине. По-своему выразительные картины. Вполне можно было представить здешний жизненный уклад тысячелетней давности, тогдашнее мироощущение. Одна сторона дворика была ограничена церковной стеной. Весь интерьер церкви заполняла настенная роспись и статуи. Он провел там какое-то время, рассматривая с интересом историка настенную роспись, изображавшую странные и часто жестокие сцены. Человек на костре. Обнаженные женщины. Дьявол с огромной овальной пастью, в которой корчились люди.

Насмотревшись всего этого, он вышел из церкви. Низкое зимнее солнце освещало глубокую паперть. В стенах имелись мраморные таблички, посвященные знаменитым покойникам. Их он тоже осмотрел, неспешно, спокойно. Надписи были, очевидно, на латыни, которую он учил очень давно. Он еще что-то помнит и порой способен сложить фразу-другую, и в одной из надписей он увидел пять слов, которые заставили его остановиться в задумчивости. Всего одно предложение на латыни, на каменной пластине, в память о каком-то человеке, умершем много столетий назад.

Официант ставит перед ним горячий суп и кладет несколько хлебных палочек, завернутых в бумагу.

– Grazie^[78], – говорит он.

– Prego^[79], – отвечает официант, удаляясь.

Немцы за другим столиком развернули карту северо-восточной Италии. Склонившись над ней, они тихо о чем-то говорят.

Официант тоже с кем-то говорит, хотя никого больше не видно. Он снова что-то произносит резким тоном. А затем откуда-то выходит маленькая девочка и, подойдя к одному из пустых столиков, садится. Ей должно быть... лет семь? Она сидит за столиком и смотрит в окно, ее ноги покачиваются над полом.

Тони ест свой суп – minestra di fagioli^[80]. Зеленые капустные листья плавают в нем и крупная, жирная фасоль.

Девочка, продолжая смотреть в окно, за которым тихий зимний день, начинает что-то шепеляво напевать мягким голоском.

Пока ест суп, он пытается разобрать слова песни. Она поет ее уже по второму разу.

– Gennaio nevicato, – поет она, губы ее едва шевелятся.

В январе идет снег.

– Febbraio, mascherato.

Февраль носит маску.

– Marzo, pazzerello.

Март безумен.

– Aprile, ancor più bello.

Апрель еще чудесней.

– Maggio, frutti e fiori. Giugno, vado al mare.

Май, фрукты и цветы. Июнь, идем на море.

– Luglio e Agosto, la scuola non conosco.

Июль и август, школа забыта... Никакой школы.

– Settembre, la vendemmia. Ottobre, con la nebbia.

Сентябрь... э-э... урожай. Октябрь, туманный.

– Novembre, un golf in più. Dicembre con Gesù.

Ноябрь, еще один джемпер. Декабрь, Иисус.

Закончив петь, она вытирает нос тыльной стороной руки. У нее золотисто-каштановые волосы и бледная кожа. Она замечает, что он смотрит на нее. Глаза у нее зеленоватые.

Он улыбается.

– Милая песенка, – говорит он ей по-итальянски.

– Я выучила ее в школе, – произносит она.

– Правда?

– Да.

– Что ж. – Он, не зная, что еще сказать, добавляет: – Молодчина.

Она пожимает плечами и начинает петь снова, глядя в окно, вероятно,

ей больше нечем заняться.

– Gennaio nevicato. Febbraio, mascherato...

Немцы оплачивают счет.

Они уходят, а официант начинает вытирать после них стол.

– *Un caffè*^[81], – говорит ему Тони, когда он проходит мимо с тарелками.

Официант кивает, давая понять, что заказ принят. Его дочка – если она ему дочка – все так же поет.

– Novembre, un golf in più. Dicembre con Gesù.

И тут неожиданно возвращаются немцы, очевидно, крайне возбужденные.

Официант занят с кофемашиной, колотит по ней ладонью.

– Polizei! – выкрикивает немец. – Polizei!^[82]

Официант продолжает заниматься своим делом. Он только поворачивает голову, а мужчина что-то говорит по-немецки, чего официант, похоже, не понимает.

Немец пробует перейти на английский.

– Пожалуйста, вы должны вызвать полицию, – просит он.

– Вы должны вызвать полицию, – повторяет его жена с безумными глазами.

Официант спрашивает на итальянском:

– Полицию? Зачем?

– Вы должны вызвать их, – говорит немец на английском. – Наша машина... Кто-то сделал...

И он рубит воздух кулаком.

– Кто-то повредил вашу машину? – спрашивает официант на итальянском. И похоже, он ничуть не удивлен.

– Да, да, – говорит немец по-английски. – Вы должны вызвать полицию.

– Хорошо, – кивает официант без особого энтузиазма. – Сейчас вызову полицию.

Но прежде он подает Тони заказанный эспрессо – Тони это приятно, хотя немцев это выводит из себя, особенно женщину, которая поворачивается к двери и демонстративно вздыхает. Официант неспешно возвращается к бару и берет трубку, закрепленную на стене, рядом с календарем, на котором видны фотографии сельскохозяйственной техники.

Тони внезапно посещает мысль, что его машина также под угрозой. И он говорит немцам, нервно топчущимся на месте.

– Можно спросить вас, где вы припарковались?

Немец смотрит на него без признаков понимания. Но затем отвечает, жестикулируя:

– Вон там, рядом с маленьким озером.

– О, – говорит Тони, – я тоже там припарковался.

Немец только пожимает плечами, давая понять, что у него есть дела поважней, чем думать о том, кто где припарковался, и поворачивается к официанту, который что-то говорит по телефону. Тони разобрал слова: «Еще один».

Когда официант вешает трубку, Тони уже стоит перед ним с купюрой в десять евро.

Опасаясь худшего, он выходит из кафе и направляется к озеру, туда, где припарковал машину, и снова чувствует запах собачьего дерьма. То предупреждение о ворах... Не следовало им пренебрегать. Вот показался его «пассат», и он ускоряет шаг. На первый взгляд все в порядке. Да, все в порядке. Неподалеку он видит «опель»-универсал с разбитым стеклом. Бедные немцы. Наверное, приехали на выходные – и вот вляпались. Когда он пытается выехать назад на главную дорогу, ему навстречу движется полиция. Возможно, ему стоило бы остаться и помочь немцам в разговоре с полицейскими, ведь они, похоже, не знают итальянского и им очень повезет, если кто-то из полицейских говорит по-английски. Здесь мало кто знает английский. Даже большинство летних туристов итальянцы. Что ж, разберутся как-нибудь. Он уже на переезде на Страда-статале-309. Нужно повернуть налево – он ждет, пока освободятся обе полосы. Он слышит, как тикает индикатор поворота, а машины все едут с двух сторон. Солнце, уже начиная садиться, светит прямо в глаза, и он опускает щиток. Отдаленные деревья тают в холодном желтоватом сиянии на горизонте. Машины все едут. Он барабанит указательными пальцами по черному пластику руля. Как это глупо. Он подавляет зевоту. Слева приближается грузовик. С другой стороны, наконец, чисто. Грузовик еще довольно далеко. Однозначно, он сумеет проехать. Если не будет тянуть. Так не тяни. Давай же. Сейчас.

Глава 3

Amemus eterna et non peritura.

Amemus – будем же любить. *Eterna* – вечное. *Et non peritura* – а не преходящее.

Будем же любить то, что вечно, а не преходяще.

Глава 4

Он в незнакомой комнате. Свет тусклый. Как будто вечер или самое раннее утро. Он лежит на кровати, глядя на потолок, очень высокий. Там что-то есть, какой-то светильник. *Maggio, frutti e fiori. Giugno, vado al mare...* Голова у него тяжелая, туманная. *Ottobre, con la nebbia.* Он не знает, где он. Откуда-то из-за двери слышит чьи-то шаги, голоса. В двери матовое стекло, и за ним иногда проплывают силуэты, неясные формы, оживляющие на секунду матовую поверхность стекла. *Amemus eterna et non peritura.*

Глава 5

Солнце ярко освещает комнату. Рядом сидит Джоанна.

– Привет, Тони, – говорит она.

– Привет, – откликается он.

– Ты не знаешь, где находишься? – догадывается она.

Она выглядит уставшей, думает он. И говорит:

– Нет. Где я?

– Ты в больнице, в Равенне.

– Разве ты не должна быть в Нью-Йорке? – спрашивает он.

– Да, должна.

Она сидит на стуле у кровати.

– И мне придется уехать через пару дней, – говорит она.

– Ясно, – произносит он, ощущая слабость, и, собравшись с силами, спрашивает: – Как я сюда попал?

– Ты ничего не помнишь?

Он пытается вспомнить.

– Я был в аббатстве в Помпозе. Так ведь?

– Произошла авария, – говорит она. – «Пассат» вдребезги.

– Какая авария?

– Кажется, они считают, – говорит она, – что ты выезжал с боковой дороги и пытался повернуть налево, а там ехал грузовик, кто-то обгонял его, и ты не видел их, пока не стало слишком поздно.

Повисает долгая пауза.

– Я ничего такого не помню, – признается он.

– Ну, тебя выбросило в поле, видимо. И если бы не подушки безопасности, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. У тебя сотрясение мозга, так сказал врач.

– Сотрясение?

– Да. Думаю, тебе хотят завтра сделать томографию, чтобы быть уверенными, что больше там ничего нет.

Он чувствует легкую дурноту. И снова опускает голову на подушку – до этого он полусидел, разговаривая с ней.

– Машина на мое имя, – говорит она. – Так меня и нашли.

Он смотрит на лампочку на потолке. Его взгляд следует за проводом, тянущимся по потолку к стене над дверью, а дальше по верху стены к отверстию в одной из других стен. Чувствует он себя странно.

– Я принесла тебе кое-чего, – говорит она. – Пижаму и так далее.

– Хорошо. Как ты? – спрашивает он рассеянно.

Вопрос звучит странно. Она отвечает не сразу.

– Отлично. – А потом добавляет, как бы почувствовав, что одного слова недостаточно: – Ты же знаешь, как я себя чувствую в это время года.

Он пытается припомнить, какое сейчас время года.

Джоанну как будто что-то нервирует, и она поворачивает голову, хотя в этой комнате, в этой блеклой маленькой больничной палате, не на что смотреть.

Ситуация какая-то неловкая. За все двадцать лет, если не больше, совместной жизни с ними еще не случилось чего-то подобного. Все это время каждый из них был занят, по большому счету, собственной персоной. И они редко обращались друг к другу за помощью, а если и обращались, это было чисто деловое сотрудничество – точно партнеры по бизнесу, связанные общим делом – долгами, профессиональными услугами. Совсем не так, как сейчас.

Тони кажется беспомощным и вялым от лекарств, когда лежит в постели, в больничной толстовке с номером, вышитым на рукаве.

– Я вылетела вчера вечером, – говорит она, снова переводя взгляд на него с неправдоподобно низкой раковины. – Рейсом «Райанэйр». Из Станстеда.

Он слушает без особого интереса.

– Да?

– Ну, знаешь – рейсом, который вылетает около полуночи.

Он знает этот рейс. Он сам прилетел им сюда, всего несколько дней назад. На такси из аэропорта в Болонье до дома, полчаса в зимних сумерках. И дом, пустовавший несколько месяцев, холодный точно холодильник, оливковое масло, мутное и вязкое. Мышиные какашки на полу. Следы влаги на стене у подножья лестницы. Все это – сущие пустяки – почему-то ошеломило его. Мышиные какашки, расползающееся влажное пятно. Не снимая пальто, он уселся на диванчик в холле, пар от его дыхания клубился в воздухе...

– Ты хочешь, чтобы я осталась? – слышит он голос Джоанны.

Она стоит у окна, глядя на улицу. А он даже не знает, что там, за окном. Не дождавшись его ответа, она продолжает:

– Врач сказал, на данном этапе тебе просто нужен отдых. Ты должен постараться поспать, так он сказал.

– Хорошо.

– Ты хочешь, чтобы я осталась? – спрашивает она снова, чуть выделяя

слово «осталась».

Она опять присаживается на стул – низкий стул с потрепанной зеленой обивкой – и ждет, что он ответит.

– Нет, все нормально, – говорит он.

– Ты должен постараться поспать, – советует она.

– Да.

Она на секунду берет его за руку. В этом тоже есть что-то нелепое, в том, как она держит его сухую руку. Она даже не знает, зачем сделала это. И теперь, когда она чувствует его руку в своей, интимность этого движения кажется ей чрезмерной. Ей ясно: она совершенно не представляет, что нужно делать в такой ситуации. Столько лет они жили как хорошие друзья. А в такой ситуации она просто не знает, как вести себя. Раньше с ней такого не случалось. Операция на сердце, когда он *так долго* пробыл в больнице, была заранее спланирована и подготовлена, и больница находилась в хорошо знакомом им западном Лондоне. Ей не нужно было лететь ночью через всю Европу, чтобы неожиданно оказаться рядом с его постелью и увидеть его удивление. Ей не нужно было объяснять ему, где он находится и что с ним случилось. Никогда прежде он не выглядел таким *беспомощным*. Пока летела в самолете, она думала, должна ли она заниматься этим, ее ли это дело. Но если этого не сделает она, то кто? Она все еще держит его руку. Она стискивает ее – из чувства неловкости по большей части – и выпускает.

– Я загляну завтра утром, – обещает она.

– Хорошо. – Он думает, какое сейчас время дня.

Она надевает пальто. Это длится целую вечность.

– Я загляну завтра.

Она уже открыла дверь, впустив шум из коридора, когда он говорит:

– Джоанна...

Она останавливается в дверном проеме и впервые чувствует, как сильно ей хочется уйти.

– Спасибо.

Она не знает, что ответить.

– Не за что, – говорит она наконец и уходит.

Через час или два – за окном уже темно, свет включен – приходит врач. Очень молодой. Больше тридцати на вид не дашь. Приятной внешности. Спрашивает Тони, как он себя чувствует.

– Хорошо, – отвечает Тони.

– Подташнивает?

- Иногда. Немножко.
- Головные боли?
- Слегка так. Не то чтобы.

Врач говорит, что утром Тони сделают томографию. Если все в порядке – если нет внутреннего кровоизлияния, – он сможет уехать домой завтра, ну или на следующий день.

- Вам очень повезло, – добавляет врач, улыбаясь.

Утром он чувствует себя вполне нормально. И в отличие от вчерашнего утра сразу осознает происходящее. Он в больнице. Теперь он это прекрасно осознает. За этот год он провел в больницах не одну неделю. Он уже пробыл в больнице больше времени за этот год, думает он, чем за всю свою жизнь. И вот он снова в больнице. Он сидит на краю высокой кровати и смотрит на вытертый серый пол. И ведь впереди всего этого будет только больше, разве нет? Больниц. Врачей. Похоже, в жизни у него теперь единственная цель – сопротивляться физическому распаду и смерти, пока хватит сил. Собственно, его жизнь, в положительном значении, как будто уже кончилась. Эта мысль очень давит на него. *Amemus eterna et non peritura*. Эти слова проплывают через его сознание. Преодолевая боль, он поднимается с кровати, становится на пол бледными ступнями. Два нетвердых шага до раковины. Над раковиной зеркало. Лицо в зеркале ужасает его. Ему никто ничего не сказал.

- Гребаный отстой, – говорит он со злобой.

Он стоит так несколько секунд, держась за раковину, пока не проходит головокружение. Кран какой-то странный – горизонтальный рычаг длиной сантиметров пятнадцать. Он вертит его, пока не начинает течь вода. Наполняет пластиковый стаканчик и подносит к своим рассеченным, перекошенным губам.

Он продолжает смотреть на себя в зеркале. На свое чудовищно расплывшееся лицо, частично обритую голову. Весь его карикатурный облик внушает жалость.

И снова эти слова.

Amemus eterna et non peritura.

Помпоза.

Воспоминания о том чаше, что он провел там, возникают в его сознании. Этот внезапный наплыв воспоминаний вызывает в нем замешательство. Он шагает по строгим пространствам аббатства. Текст, выбитый на паперти: «*Amemus eterna et non peritura*». И мысли, которые пришли к нему, пока он ждал своего супа, *minestra di fagioli*, глядя в окно на

тихий зимний день, на голые деревья в зимнем свете.

Так что же вечно?

Ничто, в этом вся проблема. Ничто земное. Сама Земля не вечна. И Солнце не вечно. И звезды в ночном небе тоже не вечны.

Все имеет свой конец.

Абсолютно все.

Теперь мы это знаем.

Глава 6

Джоанна отвозит его домой на машине, предоставленной страховой компанией. Она уже все уладила.

Он стремился поскорее покинуть больницу. Но по пути домой настроение у него неважное. Он уже не знает, к чему он так стремился. Падает легкий снег и сразу тает. Прозрачные снежинки, моментально исчезающие, едва коснутся чего-либо.

Они приезжают домой.

Они заехали в супермаркет в Ардженте и теперь вносят в дом покупки, Джоанна берет самые тяжелые.

– С этим влажным пятном тоже надо что-то делать, – говорит она.

– Да.

– И знаешь, у нас мыши.

– Да.

Они садятся обедать вместе. Так странно, что они здесь вдвоем, в этом доме. Столько лет прошло с тех пор, когда они были здесь вдвоем.

– Я должна лететь завтра, – говорит Джоанна.

– Хорошо.

– Я говорила с Корделией. Она собирается приехать к тебе на какое-то время. Обещает, что неделю сможет выкроить.

Он пытается не показывать, как рад этому.

– В этом на самом деле нет необходимости.

– Я не думаю, что ты должен жить один сейчас.

– Все будет в порядке.

– Она уже купила билет на самолет, Тони.

– Что ж, очень мило с ее стороны.

Джоанна говорит, ковыряя вилкой картофельный салат:

– Мне жаль, что я сама не могу остаться с тобой подольше.

Он как бы отгоняет ее сожаление своей вилкой.

Минуту-другую они едят молча.

– Очень жаль, что «пассат» разбился, – произносит он, оживленный новостью о приезде Корделии.

– О, да ладно тебе, это был несчастный случай. И ему давно пора было отправиться на свалку.

– Мне он нравился.

– Мне тоже, – признается Джоанна.

– Помнишь, как мы ездили в нем за город?
– Конечно.
– Было здорово.
– Есть что вспомнить, – говорит она, подливая себе вина, и в ее голосе слышны нотки флирта.

Они не раз выезжали на «пассате» за город – а раньше в старом «вольво-740» – через Францию, через туннель Монблан и дальше через Валле-д’Аосту в Пьемонт и сияющую огнями Ломбардию. Но особенно ему нравилось проезжать через Валле-д’Аосту – впечатляющий пейзаж и возникающее там чувство, что ты перемещаешься из Северной Европы в Южную.

Каким чудом кажутся теперь эти их поездки. Одна мысль о них вызывает у него щемящее чувство.

Воспоминание о свежем влажном воздухе.

Он отпивает вина. И замечет, что его рука дрожит.

Так или иначе это все прекратилось, когда «пассат» прописался в Ардженте, лет двенадцать назад. Он уже тогда был далеко не новым.

Джоанна обращается к нему:

– Корделия говорит, что поможет тебе найти новую машину.

– Правда?

Джоанна уловила нотку скептицизма в его голосе.

– В машинах она разбирается, – говорит она.

– Да, разбирается, – соглашается он.

– Она поможет тебе найти что-нибудь. В Равенне, полагаю.

– Или в Ферраре.

– Как захочешь. Ты поел?

Он кивает, она берет его тарелку и относит со своей на кухню.

Снег перестал идти – теперь на улице мерзкая слякоть. Морозный, сырой день. Джоанна разговаривает по телефону. Он не знает с кем. Она звонит нескольким людям. Похоже, говорит о работе, думает он, вслушиваясь в ее голос, сидя в ушастом кресле с «Лунатиками» Кларка на коленях. Он недалеко продвинулся с этой книгой. Просто она ему не очень интересна, в этом дело. Теперь уже мало что вызывает у него интерес.

Закончив говорить по телефону, Джоанна спрашивает, не хочет ли он посмотреть фильм.

– Фильм? – произносит он таким тоном, как будто она мешает ему читать что-то интересное. – Ну, ладно.

Он замечает полный бокал вина у нее в руке. Она пьет много вина,

думает он. Ей не по себе от этой ситуации, от того, что она застряла здесь с ним.

– Какой фильм? – спрашивает он.

– Я не знаю, – говорит она. – У нас же столько всяких дисков.

Она подходит к полке с фильмами и начинает просматривать их. На ней просторный трикотажный халат.

– «День сурка»? – говорит она.

– Мы, наверное, смотрели его раз двадцать, – бросает он недовольно.

– Хорошо. «На золотом пруду»?

– Нет.

– «Пока не сыграл в ящик»?

Он хмыкает.

– А как насчет «Шофера мисс Дэйзи»?

– Боже, нет.

Она предлагает еще несколько фильмов – и каждый он с раздражением отвергает.

– Почему ты сам тогда не выберешь? – спрашивает она, начиная терять терпение. – Иди сюда и выбери сам.

– Джоанна...

Он продолжает сидеть в ушастом кресле. Складывает руки, соединив кончики пальцев, словно собирается изречь какую-нибудь мудрость.

А затем просто вздыхает и говорит с интонацией «ну, сдаюсь»:

– Ну, что там еще?

– Да полно всего. «О Шмидте»?

Он снова вздыхает.

«О Шмидте»? – почти кричит она, поворачиваясь к нему.

– Нет!

– Ты вообще хочешь посмотреть фильм? – спрашивает она.

– Не особенно, – говорит он слегка вызывающе.

– А почему сразу не сказал?

– Ну, куда ты?

Она выходит из комнаты.

– У меня есть дела.

– Какие дела?

– Работа. Я вообще-то должна быть в Нью-Йорке.

Это выводит его из себя.

– Я не просил тебя приезжать! – кричит он ей вслед.

Оставшись один, он протирает глаза и бережно ощупывает свое изувеченное лицо, о котором успел забыть.

Она возвращается и теперь стоит перед ним.

– Послушай, – говорит она, пытаюсь как-то объясниться, – я здесь потому, что думала, тебе нужна помощь...

– Мне не нужна твоя помощь, – слышит он собственный голос.

На секунду повисает жуткая тишина.

– Ну и хрен с тобой, – говорит она тихо.

Он слышит, как она поднимается по лестнице и как хлопает дверь ее комнаты.

Через несколько минут он встает на непослушные ноги и идет за ней. На лестнице его пошатывает, и он останавливается.

Подойдя к двери, он вежливо стучит:

– Джоанна?

Нет ответа.

– Джоанна... Прости. Ну, прости. Я сегодня сам не свой.

Он не открывает дверь – это не разрешается, не разрешалось уже много лет.

– Пожалуйста, – просит он, почти касаясь лицом крашеной двери, которая когда-то была белой, – спускайся. Я заварю чай. Ну, прости. Я правда сожалею.

Спустившись, он заваривает чай – в заварном чайнике, по старинке. Никто так больше не заваривает, думает он с грустью.

Когда он входит в гостиную с подносом в руках, то с удивлением видит ее. Она сидит на диванчике, положив свои не по-женски крупные ступни на пуфик, и внимательно смотрит на свои руки.

– Такое паршивое чувство, – говорит она.

– Какое?

Он ставит поднос.

– Ну, я прилетела всего на два дня – и вот на тебе.

– Я сожалею, – говорит он. – Я виноват.

– Да, виноват.

Он присаживается в кресло, погружаясь в него так, что его ноги слегка отрываются от пола. Он сидит, тяжело дыша.

– Как самочувствие? – спрашивает она.

– Нормально, – отвечает он. – Чуть пошатывает. Но я буду в порядке.

– Тебе не следует ничего поднимать, – говорит она. – Врач сказал, тебе нельзя ничего поднимать несколько дней. Я бы сама принесла поднос.

– Все будет в порядке.

Она встает и наливает им чай.

А потом они смотрят «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических».

Он начинает клевать носом и засыпает где-то на середине.

Глава 7

Человек всегда представляет, что в конце его ждет что-то вроде безмятежности. Что-то вроде безмятежности. Но только не кошмарное смердящее месиво из дерьма, боли и слез. Что-то вроде безмятежности. Что бы это ни значило. Но на деле все оказывается несколько сложнее. *Atemus eterna et non peritura*. Это как будто разумное напутствие, если мы ищем безмятежности. Но вот загвоздка – что есть *eterna*? Что в этом мире вечно? Куда бы он ни посмотрел – начиная от обвислой кожи своих ослабших стариковских рук, которые уже не кажутся ему его руками, ведь он о себе не думает как о старике, и вплоть до солнца, изливающего белый свет на равнину, простирающуюся кругом, – куда бы он ни посмотрел, он видит только *peritura*. Только преходящее.

Джоанна уехала. Рейс у нее был ранний, и она вышла из дома на рассвете, как только небо посветлело над тополями через поле от Страда-провинциале-65. Ее ждало такси, распространяя выхлопные газы. Она снесла вниз чемодан и, остановившись в холле, сказала, что вечером к нему приедет Корделия.

Через минуту он уже остается один, на кухне, и старается не поддаваться неожиданному наплыву чувств, насыпая дрожащей рукой кофе в кофеварку.

Как мало мы понимаем жизнь, пока действительно живем. Миг за мигом, точно межевые столбы вдоль железной дороги, пролетающие за окном вагона.

Настоящее, вечно ускользающее.

Peritura.

Он садится в ушастое кресло, взяв айпад.

Печатает.

Отправляет письмо. Новых писем нет, не считая спама и всяких рассылок.

Он еще не написал Саймону о его стихотворении. Сейчас напишет. Но прежде еще раз взглянет на него.

*Мы видим на портрете – взгляд его не здесь,
Мехмед Завоеватель держит розу
Пред тюркским серпом своего носа.
Всеохватные потребности в деньгах или войне,*

*Предусмотрительность мудрого политика,
Братоубийство, спутник власти –
Все, что присуще его положению,
И он преуспел во всем. Так почему цветок?
Возможно, дань чему-то менее мирскому;
Не красоте, я думаю, как ее ни понимай,
Не любви и не «природе»,
Не Аллаху, как его ни назови –
Просто отпечаток мгновения в текстуре бытия,
Вечного бега времени.*

Эта последняя фраза... Она не произвела особого впечатления на него на прошлой неделе.

Он встает и гладит обогреватель, ощущая его тепло своими высохшими руками.

Бег времени. Вот что вечно, вот что не имеет конца. И он проявляет себя, лишь воздействуя на все вокруг, так что все воплощает в себе, в своей собственной скоротечности, то единственное, что не имеет конца.

Это кажется немыслимым парадоксом.

– Доброе утро, синьор Парсон, – говорит Клаудиа.

От неожиданности он вздрагивает.

– О, Клаудиа. Привет. Как вы?

– Все в порядке, синьор Парсон, – отвечает она, не особенно пытаясь скрыть, что устала и чем-то недовольна.

У нее тоже проблемы с суставами в такую погоду. Они как-то говорили об этом.

– Где вы хотите мне начинать? – спрашивает она.

– С кухни? – подсказывает он. – Или сверху? Я не против.

Он пытается ухватить то чувство, которое переживал мгновение назад, чувство того, что все есть воплощение чего-то бесконечного и вечного, вечного бега времени. Он переживал это одно мгновение. *Переживал.*

– Хорошо, – говорит Клаудиа. – Я начинаю сверху, хорошо?

Через эту самую скоротечность.

Лишь что-то настолько парадоксальное, думает он, может обещать надежду... на что?

– Отлично, – кивает он. – Спасибо, Клаудиа.

Он все так же стоит у окна.

Помогло.

Один миг у него было это чувство, и это помогло ему.

Корделия прибывает в четыре, когда начинает темнеть. Ей уже сорок три года. Это кажется невероятным.

– Привет, пап, – говорит она, выбравшись из такси.

Он ждет в дверях, чтобы помочь ей с чемоданом, но она ему не позволяет. Они пьют вино в гостиной. Он теперь жалеет, что выпил один бокал «Барбареско», не дождавшись ее. Он рассказывает ей об аварии, что помнит, – как ездил в аббатство в Помпозе. И опять благодарит ее за то, что она приехала.

Она на это только улыбается, а потом встает и смотрит книги на полках. Она высокая, в мать.

– Я читаю «Лунатиков» Кларка, – говорит он ей из своего ушатого кресла.

– Да? Интересно?

– Очень.

– Расскажи мне.

Он пытается пересказать ей, что понял из книги – как Европа ввязалась в эту почти самоубийственную заварушку, – а в итоге, слегка запутавшись, признается:

– Я еще не дочитал, конечно. Меньше половины одолел.

– М-м...

Он спрашивает, в свою очередь, несколько педантично:

– А что *ты* читаешь?

– «Внесите тела»^[83], – говорит она. – Наконец-то добралась.

– Она сечет в политике, – произносит он ей со знанием дела.

– Мне очень нравится, – говорит она. – А потом переходит на семейную тему: – Как мама тут побывала?

Вопрос задан явно неспроста.

– Отлично, – говорит он расплывчато, а затем добавляет с чувством: – Очень мило было с ее стороны приехать. Она должна была быть в Нью-Йорке или где-то еще.

– Я знаю.

И тогда он обращается к ней как-то чересчур учтиво:

– И *тебе* тоже спасибо, Корделия. Я знаю, сколько тебе всего приходится успевать...

– Ты, наверное, четвертый раз благодаришь меня, – улыбается она. – Хватит уже. Я уже вся благодаренная.

– Хорошо, – смеется он, как всегда до жути радуясь ее манере

выражаться.

Он испытывает к ней какое-то благоговение.

– Значит, с мамой все прошло отлично? – спрашивает она с нажимом.

Должно быть, Джоанна ей что-то сказала, думает он, позвонила из аэропорта и что-то такое сказала.

– Все было отлично, – подтверждает он и повторяет, стараясь, чтобы голос не выдал волнения: – Все было отлично.

Ненадолго повисает пауза.

И тогда он спрашивает о Саймоне. Говорит, что читал его стихотворение, которое она ему прислала.

– И? – интересуется она. – Что ты думаешь?

– Я впечатлен, – говорит он.

Корделия явно рада. Он рассчитывал на это – порадовать ее.

– Он ведь был здесь весной со своим другом, – вспоминает он.

– Да, знаю.

– Как зовут его друга?

– Фердинанд.

– Точно. Очень интересный молодой человек.

– Да, – говорит она так, как будто это замечание слегка нервирует ее. – Вероятно.

– Мне он понравился, – продолжает он, глядя куда-то в пустоту перед собой. – Мы вели такие хорошие разговоры.

Он улыбается ей.

– Ты с Фердинандом?

– И с Саймоном, конечно.

Вскоре он спрашивает:

– А э-э... *Фердинанд* тоже в Оксфорде?

Она думает, что он как-то странно, словно неспроста произносит это имя. И то, что он все время говорит о Фердинанде, тоже кажется ей странным.

– Да, в Оксфорде, – говорит она.

– В том же колледже? Где и Саймон?

– Нет, я думаю.

– Саймон в Святом Иоанне, да?

– Верно.

– Что ж, – произносит он чуть мечтательно. – С ними было так весело те несколько дней. Что думаешь насчет ужина?

– Я думала, мы куда-нибудь выберемся.

– Ну, это мысль. А куда?

– В то место в Ардженте?

Он знает, о чем она говорит, – они уже много лет туда ходят.

– Конечно. Это будет здорово. Я позвоню. Зарезервирую столик.

– Хочешь, я позвоню?

– Нет, думаю, я справлюсь, – говорит он.

Телефон на серванте. А рядом с ним пухлая записная книжка, заполненная номерами от руки. Он листает страницы в поисках нужного номера. Затем берет телефон и медленно, старательно нажимает кнопки. Пока ждет ответа, прижимая трубку к уху, он рассматривает свое перекошенное, разделенное рамой отражение в темном окне.

За несколько дней Корделия привела дом в порядок. Она вызывает рабочего, чтобы закрасить пятно у подножья лестницы. Находит и устанавливает ультразвуковой прибор, который должен отпугивать мышей, не позволяя им хозяйничать в доме. Она поручает Клаудии разные задания, и, похоже, та ценит это. Через несколько дней весь дом кажется более ухоженным и опрятным, более обжитым.

Вместе они ищут по Интернету подержанные машины, продающиеся поблизости. И находят кое-что, по ее мнению, подходящее для него – пятилетнюю «тойоту-RAV4» с автоматической коробкой передач. На следующий день они едут в Феррару посмотреть машину, и Корделия торгуется с продавцом, в итоге им уступают тысячу евро, после чего они едут назад в Ардженту – она ведет машину страховой компании, а он – свою новую «тойоту». Он обнаруживает, что в управлении она гораздо легче, чем старый «Пассат». И все выходит *так* легко только из-за нее – он знает, что сам бы совершенно растерялся в подобной ситуации. Но с ней все получается как бы само собой. Она звонит по телефону кому нужно. Помогает ему заполнить бланки на итальянском, говорит, *что* писать и *где* ставить подпись. Выбирает страховку. Да, он перед ней слегка благоговеет. В Корделии такая жизненная сила. Она обыгрывает его в скраббл пару раз зимними вечерами, начинающимися в четыре, когда на улице темнеет, так внезапно, что каждый раз ты удивляешься.

Однажды утром приезжает сын Клаудии в своем фургоне «ИКЕА», чтобы забрать ее домой. Он приезжает рано, когда она еще занята глажкой, и ждет ее в фургоне.

– Там фургон «ИКЕА» в конце дорожки, – говорит Корделия, увидев его из окна на втором этаже. – Ты что-нибудь заказывал?

– Нет, – отвечает он. – Это сын Клаудии. Он там работает. Он просто

ждет ее.

– А нам не следует пригласить его?

– Можно бы. Наверное.

Он смотрит из окна, как она подходит к фургону и, постучав по стеклу, что-то говорит водителю, молодому румыну, который выходит и идет с ней вместе к дому.

Он слышит, как она говорит с ним по пути на кухню на своем отличном итальянском с легким английским акцентом.

Вскоре он заглядывает к ним поздороваться с гостем. Но остается только на минуту, чувствуя неуместность своего присутствия. А затем возвращается в ушастое кресло к «Лунатикам», однако смысл прочитанного ускользает от него с небывалым упорством.

После того, как Клаудиа с сыном уезжают, Корделия подходит к нему, и они разговаривают об этих румынах. И сходятся во мнении, что они очень приятные люди.

– Он симпатичный, – говорит Корделия.

Отец кивает, очевидно соглашаясь. И вдруг говорит поспешно, словно раньше никогда не думал об этом:

– Ты так считаешь?

– Да, считаю.

– Он женат, я думаю, – бросает он невзначай.

– Что ж, как и я, – парирует Корделия.

– Нет, – говорит он конфузливо (зная, что его конфуз замечен, отчего только сильнее конфузится), – я же не к тому...

– Я сказала, что он симпатичный. Вот и все.

– Конечно.

Он пытается улыбнуться – и знает, что у него не очень получается.

Она смотрит на него как-то странно – он это чувствует.

– Что ж, – говорит он, – было мило с твоей стороны пригласить его.

Она как будто не слышит его – просто продолжает смотреть на него этим странным взглядом.

Он берет «Лунатиков» и смотрит невидяще на карту Европы в 1914 году.

Она *знает*, думает он.

Но *что* она знает? Что тут можно знать? Что он сам знает? Что некоторые мужчины... Какое слово подобрать? Очаровывают его? И что, будучи во власти этого очарования – если это *подходящее* слово, – он иногда... Что? Испытывает в их присутствии неизъяснимое смущение? Ну да, так и есть. Вот и все, что тут можно знать. Он даже в воображении ни

разу...

Наконец он отводит взгляд от страницы – все той же страницы, с картой Европы в 1914-м – и смотрит на дочь.

Но она уже ушла.

У него такое чувство, будто что-то случилось. Что-то произошло между ними. Ему вдруг становится не по себе, как тогда, лет двадцать назад, когда Джоанна сказала ему, что он «явно с отклонениями». Казалось немыслимым сказать ему такое. И больше Джоанна никогда не возвращалась к этой теме, даже намеком. Как раз тогда примерно они начали жить в какой-то степени отдельно. Он не знает, говорила ли она что-то такое Корделии.

Он находит дочь на кухне.

Она держит фото в рамке – ее родители. То, как они жили – по большей части врозь, – всегда печалило ее.

– В чем дело? – спрашивает он.

Она не отвечает.

И он думает, стоя за ее плечом, глядя на фото себя самого с Джоанной: *Она думает, это одна показуха.* Но это на самом деле не так. Он хочет сказать ей об этом. И не может подобрать слова.

Он ищет способ как-то сказать ей об этом, когда к нему приходит мысль, что, вероятно, и Джоанна *считает* их брак показухой, сорок пять лет их совместной жизни, относительно совместной. И, разумеется, Корделия должна в значительной мере смотреть на это глазами матери. Она должна жалеть свою мать за то, что ей пришлось так долго выносить все это. Жить с тем, у кого «явные отклонения». Но эти слова как будто не имеют к нему отношения. И тогда он думает, а знает ли Корделия о романах Джоанны? Возможно, она знает больше, чем он – он-то как раз ничего конкретного не знает. Трудно сказать, что они знают друг о друге – его жена и его дочь.

Она продолжает смотреть на фото. Он в парадном облачении, это заметно. Фото сделано в тот день, когда ему пожаловали рыцарское звание, двадцать с чем-то лет назад.

– День, когда я обзавелся титулом, – говорит он.

Но она, очевидно, думает о чем-то другом, совсем о другом, не имеющем никакого отношения к его титулу, и поэтому он придает своему голосу оттенок отстраненности, наигранного простодушия. Он это знает, как знает и то, что должен платить эту цену за возможность или хотя бы попытку увести разговор в сторону от того, о чем он не желает говорить.

Но она как будто заглотила наживку.

– Угу, – говорит она и ставит фото на место. – Сейчас не очень рано для бокала вина?

Он смотрит на часы.

Еще нет и пяти.

Она говорит, что в Лондоне сейчас сезон офисных тусовок, сезон рождественских попоек, тяжелое время для печени. Все вечера по пабам. Со всеми вытекающими.

– Я смутно припоминаю, – говорит он.

– Ты еще скучаешь по работе? – спрашивает она, явно без особого интереса, но зная, что он совсем не против разговоров о работе.

– Не так сильно, как раньше. – Он вдумчиво склоняется к винной полке. – Не так сильно, как раньше, – повторяет он. И ставит бутылку на стол. – Пришлось признать, – говорит он, как бы констатируя факт, – что моя жизнь исчерпала свой потенциал и, по сути, кончилась.

Он как будто бы пытается перекрыть этим разговором другую тему, которая волнует ее – о сорока пяти годах, прожитых в браке с ее матерью, обо всей этой истории, – разглагольствуя с необычайной деликатностью о чем-то другом.

Он думает об этом, откупоривая бутылку, сначала надрывая фольгу, а затем снимая. Она отделяется от бутылки с приятной неподатливостью.

– От меня теперь мало пользы. В практическом плане.

– Не надо так говорить.

Она все еще, кажется, где-то витает в мыслях.

– О, я ведь достиг всего, чего только хотел достичь.

– Профессионально, ты хочешь сказать?

– Да. Отчасти. То есть не вижу причин хандрить по этому поводу. Я очень горжусь тем, чего достиг.

И это правда. Однако, говоря об этом, он чувствует, какими невесомыми, какими несущественными и даже как будто мнимыми кажутся все его достижения – даже те, которыми он гордится больше всего, как, например, его определенный вклад в переговоры, длившиеся много лет, о расширении Евросоюза в 2004 году. Что-то – он даже не уверен, что это такое, – словно обесценивает их. И он говорит, стараясь сохранять философский тон:

– Я очень горжусь. Просто все так перевернулось сейчас...

– Тебе помочь? – спрашивает Корделия, имея в виду бутылку вина, которую он никак не откроет.

Секунду он колеблется, словно обдумывая дальнейшее действие, и говорит:

– Да, хорошо, пожалуйста. – Он передает бутылку ей. – Так вот, это вино, – продолжает он, очевидно решив переключиться на более приятную тему, – мы достали, мы с твоей мамой, – здесь он делает легкий нажим, чтобы показать, что они таки умели веселиться, и они действительно умели, – несколько лет назад, когда ездили в Умбрию на старом «пассате», да покойся он с миром, и мы достали это вино в Перудже, я думаю. Так или иначе, оно одно из лучших, которые здесь делают, и я думаю, пришла пора его выпить.

– Полностью поддерживаю, – говорит Корделия, хотя она еще моментами пропадает куда-то.

Он наполняет два бокала, не до краев, и передвигает один к ней.

– Ну, – говорит он, – за...

Он выжидает секунду – достаточно, чтобы она улыбнулась, – и пожимает плечами. Улыбка у нее задумчивая, грустная, за ней что-то скрывается, неубедительная улыбка.

Но он не позволяет ей смутить его.

– За жизнь? – предлагает он.

Она словно обдумывает тост и в итоге принимает:

– За жизнь.

Следующим утром они едут в Равенну. Ему нужно сделать еще одну томографию в больнице. Они едут на новой «тойоте». Корделия за рулем.

По мере того как они приближаются к морю, фермерские земли постепенно уступают место чему-то более аляповатому – туристической экономии песчаного побережья. Указатели парков развлечений. Отелей. Все закрыто на зиму. Только проститутки вдоль Страда-статале-309 стоят зимой, как и летом, хотя и в меньшем количестве. Боснийские девчонки по большей части, так он слышал.

– Несчастные, – говорит он.

Корделия молча кивает.

Они уже вблизи Равенны, и на указателях значится Area Industriale^[84]. Это к торговому порту. Она ведет машину, не напрягаясь, – по извилистым улицам с дефицитом дорожных знаков, с коварным дорожным движением, односторонним; он просто изумляется ее вождению.

– Ты ведешь замечательно, – говорит он, когда они стоят на светофоре в городе. Похоже, она знает, где они находятся, тогда как он не имеет об этом ни малейшего представления.

Она смеется, говорит ему «спасибо» и трогает машину с места с присущей ей уверенностью, так впечатляющей его.

Они решили утром, что пообедают в городе, а потом поедут в больницу на это обследование к двум часам.

Они паркуются на общественной парковке неподалеку от Zona Monumentale^[85] и идут пешком. Она хочет купить ему шляпу. Это будет ее рождественским подарком.

Виа Кавур украшена рождественскими гирляндами, и нарядные магазинчики расцвечивают тусклый день. Они заглядывают в некоторые, и в итоге он выбирает мягкую коричневую шляпу «Борсалино», хорошо сидящую на его небольшой голове. Теперь лицо его похудело и осунулось. Авария оставила на нем следы в виде невзрачных желтушных пятен. Шляпа ему явно нравится, и он не снимает ее, пока они ищут, где пообедать. Они находят подходящее место на виа Мажоре, и ему кажется, что он тут уже был когда-то, много лет назад, и, значит, здесь должны храниться хорошие воспоминания. В воздухе начинают кружиться снежинки, когда они заходят внутрь, погружаясь во внезапное тепло, и просят столик на двоих.

– Это *то самое* место, – говорит он ей, когда они усаживаются за столик, сняв верхнюю одежду.

– Ясно.

– Кухня превосходная. Была превосходной. Сейчас – как знать.

Декор определенно китчевый.

Печатное меню отсутствует. Зато к ним подруливает жизнерадостный субъект и сообщает таким голосом, словно они старые друзья, чем он готов порадовать их сегодня.

Когда они определяются с заказом, к ним подходит миниатюрная дамочка с лицом суровым и жестким, точно сухая фасоль, и ставит перед Тони бокал красного вина, а перед Корделией – зеленую бутылочку минералки.

Другие посетители – похоже, офисные клерки – спокойно обедают.

За окном тихо идет снег.

Он пробует говорить с ней об *Amemus eterna et non peritura*, о «вечном беге времени». Эти мысли не отпускают его. Сегодня он проснулся в подавленном состоянии. Лежал в постели какое-то время, не шевелясь, пока из темноты проступали бирюзовые стены. Отчасти его подавленность была связана с предстоящим посещением больницы, с томографией и возможными результатами. Последние несколько дней его беспокоили головные боли. Теперь его так же тревожат непривычные ощущения у него в голове, как и то, что уже несколько месяцев происходит с его сердцем. Ощущение физической хрупкости, пришедшее к нему ночью, напугало его,

и он пытался вернуть себе чувство, которое посетило его на прошлой неделе, чувство того, что все преходящее воплощается через самый факт своей скоротечности во что-то бесконечное и вечное.

И теперь он пытается объяснить это Корделии.

– Это так важно, – говорит он, с трудом подбирая слова и видя по ее лицу, как она пытается понять его, – чувствовать себя частью чего-то большего, чего-то... чего-то постоянного.

– Ну да, – кивает она мягко, подливая себе минералки.

Она не уловила смысла, думает он.

Да и насчет себя он не уверен. Этот смысл кажется ему настолько зыбким, если он пытается высказать его или даже если не пытается.

– Я не очень внятно говорю, – извиняется он.

– Нет, это интересно, – выражает Корделия.

Им приносят блюдо с пастой – какие-то крупные равиоли на тяжелой железной сковороде, еще шипящие, и дамочка с суровым лицом молча ставит сковороду перед ними на деревянную подставку и так же молча уходит.

– Grazie, – говорит он ей вслед.

Он все еще пытается сформулировать свои мысли, донести до Корделии то, что так волнует его.

Она с аппетитом принимается за равиоли.

– Можно есть? – спрашивает он.

– Нужно, – говорит она.

И его внезапно очень трогает ее вид.

Просто очень.

Его глаза увлажняются.

Она замечает его влажный взгляд и улыбается ему вопросительно.

Чувствуя себя глупо, он качает головой, отчаявшись что-либо объяснить, и принимается за еду. В каком-то смысле его любовь к ней только ухудшает ситуацию, а не улучшает, когда он думает о грядущем конце. Это невыразимо больно – думать о том, что когда-нибудь наступит день, когда он увидит ее в последний раз.

Сдерживая слезы, он прекращает есть и поднимает взгляд.

Он уверен, что это ощущение того, что все воплощается в чем-то бесконечном и вечном, он просто внушил себе. Страх и грусть заставляют его искать какое-то утешение. Чтобы примириться с кошмарным фактом своего старения и умирания. Эти мысли о вечном времени. Вечность времени заключает в себе только тайну – только чувство, что есть что-то, чего мы никогда не узнаем и не поймем. Пустое, непознаваемое

пространство. Как в той базилике, Сант-Аполлинаре-Нуово, рядом с мозаикой, где открывается занавес, за которым нет ничего – только ровные золотые плитки.

Корделия рассказывает о Саймоне. Обычно она говорит о нем постоянно. Но на этой неделе сдерживалась. Он это понимает. Теперь же она снова говорит о нем.

Он слушает, положив палец на ножку бокала.

Она касается таких сторон характера своего сына, из-за которых другим людям он кажется странным, и признает, против своего обыкновения, что ее это немного беспокоит.

Он пытается успокоить ее. Говорит, что нет ничего страшного, чтобы быть странным в этом возрасте, особенно для таких умных и образованных людей, как Саймон.

– Я бы не беспокоился. – Он кладет свою руку поверх ее.

Она кивает.

Она хотела услышать что-то подобное. Так ли это на самом деле, кто знает?

Только время покажет.

Он оплачивает счет, и они уходят, надев пальто и шарфы. Он надевает свою новую шляпу и смотрит в зеркало: старик.

Чтобы открыть дверь, он прилагает немалое усилие.

Он пропускает вперед Корделию и выходит за ней.

Холодный воздух кусает его лицо.

Виа Мажоре растворяется в сумерках.

notes

СНОСКИ

Так у автора. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Яичница-глазунья (нем.).

Кофейник (нем.).

4

Городская железная дорога (*нем.*).

5

Добрый вечер (*нем.*).

Роман Генри Джеймса.

Так же называется поэма Томаса Элиота.

«Посторонний» (*фр.*), повесть Альбера Камю.

Персонажи пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо».

Альтернативный (нем.).

Туз жезлов (нем.).

Церковь Святого Фомы (нем.).

Свободная комната (*нем.*).

Первые строки стихотворения У. Б. Йейтса «Плавание в Византию».

Искусство (нем.).

Топливо сегмента «премиум», разработка «Шелл».

Стив Маккуин (1930–1980) – американский актер, авто– и мотогогонщик, брал уроки карате у Брюса Ли.

Jesters – шуты (*англ.*).

Porkies – свинина, лажа (*англ.*).

Здесь: бессонная ночь (*фр.*).

Блюдо греческой кухни – смесь копченой тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока.

Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент.

Город в центральной части Ирака. Административный центр одноименного округа.

Лионель Андрес Месси (р. 1987) – аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона», с 2011 г. – капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.

«Гарри Поттер и Тайная комната» (венг.).

Бля (венг.).

«Tesco» – британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании.

Уильям Хогарт (1697–1764) – английский художник, один из основателей национальной школы живописи, известен сатирическими произведениями на темы частной, общественной и политической жизни.

Университетский колледж Лондона.

Площадь в Лондоне; примыкает с юго-востока к Гайд-парку.

Low Lander – дословно – житель низин (*англ.*). Так говорят о жителях Юга Шотландии.

Третий по счету рассказ из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера.

«Средние века 74» (лат.).

Помни о смерти (*лат.*).

Добро пожаловать в Западную Фландрию (*нидерл.*).

Архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, часть Южных Спорад, принадлежит Греции.

Глагол из староанглийского, означающий «бить, убивать», в современном английском ему соответствует глагол to slay.

Булочка с шоколадом (*фр.*).

Гостиница «Солнце» (нем.).

Мост через Рейн длиной 900 м.

Здесь: в крайних случаях (*лат.*).

Оставь Амура и следуй за Марсом! (*ит.*)

Такова война (*фр.*).

«Апартаменты Южное шале» (фр.).

Алкобольные настойки с фруктами в бутылке.

Подъемник открытого типа, также известный как «гондольный подъемник».

Красивые перышки – и птичка красива (*фр.*). Поговорка.

Неофициальное название небоскреба по проекту Нормана Фостера в Лондоне, полученное из-за формы и цвета.

Горнолыжный курорт во Франции.

Сладость жизни (*фр.*).

Блинная (*фр.*).

Французская лыжная школа (*фр.*).

Спасибо, месье (*фр.*).

Горнолыжный курорт в Швейцарии.

Магазин сыра (*фр.*).

Высшая школа бизнеса (фр.).

Великолепно (*фр.*).

Клубничный пирог (*фр.*).

Заварной крем (*фр.*).

Весенний луг (*фр.*).

Игра слов: Motherwell – «мать в порядке»; Мазеруэлл (*англ.*).

Имеется в виду отчет, выпущенный для правительства Соединенного Королевства 30 октября 2006 г. экономистом Н. Стерном, председателем Научно-исследовательского института Гранхэма по климатическим изменениям и окружающей среде.

Будем здоровы! (*хорват.*)

Денежная единица Хорватии.

Кто это? (*хорват.*)

В ор.: wake – волны за кормой, след корабля, поминки, всенощная (англ.).

Вырезка (*фр.*).

Тартатен – перевернутый французский яблочный пирог (*фр.*).

«Дасо-фалькон» (*фр.*) – реактивный самолет бизнес-класса.

Суфле по-швейцарски (*фр.*).

Разновидность камбалы.

Эдвин Ландсир Лаченс – крупнейший представитель архитектуры британского неоклассицизма. Президент Королевской академии художеств с 1938 г.

Эта картина также известна под названием «Три возраста мужчины».

У. Х. Оден. Когда б я мог сказать.

Ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе.

Добрый день, здравствуйте (*ит.*).

Уайтхолл – резиденция правительства Великобритании.

Спасибо (*ит.*).

Пожалуйста (*ит.*).

Минестра с фасолью (*ит.*).

Κοφε (*um.*).

Полиция! (нем.)

Исторический роман Хилари Мантел о Томасе Кромвеле.

Промышленный район (*ит.*).

Исторический район (*ит.*).